Бернард Шоу

Назад к Мафусаилу{1}

Метабиологическая пенталогия

1918 – 1920

Перевод - Юрий Борисович Корнеев,Сергей Леонидович Сухарев

Полвека безверия

На заре дарвинизма

Как-то (в начале 1860-х годов) я, тогда еще совсем малыш, очутился в дублинской книжной и писчебумажной лавочке на Камден-стрит вместе со своей няней, — она делала там какие-то покупки. Вслед за нами вошел почтенного вида пожилой джентльмен, решительно шагнул к прилавку и властным тоном потребовал сочинения знаменитого Буффона{2}.

Мои собственные сочинения в то время еще не были написаны, иначе продавщица вполне могла бы истолковать их столь превратно, что протянула бы покупателю экземпляр «Человека и сверхчеловека»{3}. На самом деле она отлично все поняла, поскольку это происходило до принятого в 1870 году закона об образовании{4}, который способствовал появлению продавцов книг, умеющих читать, но не смыслящих ничего больше. Знаменитый Буффон имел к юмору слабое отношение, будучи на самом деле прославленным естествоиспытателем Бюффоном. В те времена каждому грамотному ребенку «Естественная история» Бюффона была известна так же хорошо, как басни Эзопа{5}. Но зато ни один ребенок на свете не слышал тогда имени, которое вытеснило с тех пор имя Бюффона из общественного сознания — имя Дарвина{6}.

Прошло десять лет. Знаменитого Буффона забыли; я стал вдвое старше и вдвое длиннее — и отрекся от религии моих праотцев. Однажды один мой дядюшка — самый состоятельный и потому самый консервативный — случайно столкнулся со мной в ресторане за обедом и, к явному своему неудовольствию, оказался вовлеченным в беседу с племянником крайне сомнительной репутации. Желая понравиться собеседнику, я заговорил о течениях современной мысли и о Дарвине. Дядя воскликнул: «А, это тот самый тип, которому надо доказать, что все мы хвостатые, как обезьяны!». Я попытался объяснить ему, что в данном случае Дарвин настаивал лишь на существовании обезьян, у которых хвосты отсутствуют. Но дядя остался столь же глух и невосприимчив к действительным словам Дарвина, как и все нынешние неодарвинисты{7}. Он умер нераскаянным и не упомянул меня в своем завещании.

Прошло двадцать лет. Проживи мой дядюшка дольше, он знал бы о Дарвине все — и знал бы все навыворот. Несмотря на все усилия Гранта Аллена{8} просветить его надлежащим образом, он признал бы Дарвина первооткрывателем эволюции, наследственности и изменчивости видов путем отбора; ведь додарвинская эпоха стала рассматриваться как век невежества и мрака. Тогда люди все еще верили, что Книга Бытия — общепринятый научный трактат, единственными добавлениями к которому были: Галилеево доказательство оброненного Леонардо да Винчи замечания о том, что земля по отношению к солнцу то же самое, что луна по отношению к земле,{9} а также ньютоновский закон всемирного тяготения{10}, изобретение сэром Хамфри Дэви{11} безопасной рудничной лампы, открытие электричества, применение пара в промышленных целях и почтовые марки. Столь же ложно толковалось и все остальное. Так, два-три человека, которым случилось заглянуть в Ницше{12}, сочли его первым, кому пришло в голову, что сами по себе мораль, законность и воспитанность никуда не ведут, как будто Беньян{13} никогда не писал своего Бэдмена. Шопенгауэру{14} приписали установление различия между воздаянием по божьей милости и воздаянием по делам нашим, которое тревожило Кромвела{15} на смертном одре. Разговоры велись так, словно в музыке не существовало драматизма или изобразительности до Вагнера{16}, а в живописи импрессионистического стиля до Уистлера{17}; я на собственном опыте убедился, что нет более верного способа произвести впечатление дерзкого новаторства и оригинальности, чем возродить излюбленный в древности жанр пространных риторических речей, строго следовать творческим методам Мольера{18} и живьем перенести в свои пьесы персонажи со страниц Чарлза Диккенса{19}.

Пришествие неодарвинистов

Описанная выше разновидность невежества далеко не всегда приводит к серьезным последствиям. Но в случае с Дарвином они оказались достаточно важными. Если бы Дарвин в самом деле одним рывком продвинул человечество от Книги Бытия к понятиям о Наследственности, Изменчивости видов путем отбора и об Эволюции, он был бы философом и пророком, а не просто незаурядным профессионалом-естествоиспытателем, занимавшимся на досуге геологией. Заблуждение относительно действительных его заслуг поначалу казалось вполне безобидным: если суждения об эволюции или о любом ином предмете выглядят здравыми, то кому какое дело до того, кто их первым высказал — Том или Дик. Но позднее эта явно несущественная ошибка возымела самые неловкие последствия. Среди огромного большинства тех, кто никогда не читал книг Дарвина, он снискал внушительную репутацию не просто эволюциониста, но Эволюциониста главного и единственного. А тех немногих, кто не читал ничего, кроме книг Дарвина, они заставили искать объяснение всех фактов преобразований и адаптации, служивших свидетельством эволюции, исключительно в идее Отбора Силой Обстоятельств. Но вскоре выяснилось, что сторонники такого ограниченного истолкования очень далеки от большинства, знавшего Дарвина только по его подложной репутации, и потому они вынуждены были, во избежание путаницы, именовать себя не дарвинистами, но неодарвинистами.

Не прошло еще и десяти лет, как неодарвинисты, по существу, уже заправляли текущим развитием науки. В 1906 году, когда мне исполнилось пятьдесят, я изложил собственную точку зрения на эволюцию в пьесе под названием «Человек и сверхчеловек» и обнаружил очевидную неспособность многих понять, каким же образом я могу принадлежать к эволюционистам, не будучи неодарвинистом, и почему я неизменно выставлял неодарвинизм на посмешище как чудовищную глупость, свирепо обрушиваясь в публичных дискуссиях на исповедующих его.

В надежде помочь мне разъяснить публике этот вопрос Фабианское общество{20}, устраивавшее тогда цикл лекций о пророках XIX столетия, предложило мне выступить с лекцией о пророке Дарвине. Я дал согласие, и наброски этой так и не опубликованной лекции оживляют последующие страницы.

Политическая несостоятельность человекоподобного животного

Прошло еще десять лет. Неодарвинизм в политике вызвал в Европе катастрофу столь ужасающей силы и размаха столь непредсказуемого, что сейчас, в 1920 году, когда я пишу эти строки, все еще далеко до уверенности, сможет ли наша цивилизация оправиться после нее. Обстоятельства этой катастрофы, мальчишеская, вскормленная кинематографом романтика, позволившая выдать ее за крестовый поход народов, и в особенности невежество западноевропейских победителей и ошибки, допущенные ими как раз тогда, когда пора насилия миновала и наступило время переустройства, — все это, вместе взятое, прочно утвердило в моем сознании сомнение, выросшее за сорок лет общественной деятельности в качестве социалиста. Сомнение в том, способно ли в своем нынешнем виде животное, именуемое человеком, разрешить социальные проблемы, порожденные конгломерацией человекоподобных, или цивилизацией, как они сами ее именуют.

Малодушие неверующих

Согласно другому сделанному мной наблюдению, добросердечные, лишенные честолюбия люди склонны к малодушию и трусости, если у них нет религии. Ими владеют и помыкают не только алчные, подчас физически и духовно неполноценные человеческие существа, готовые на все ради сигар, шампанского, автомобилей и еще более ребяческого и эгоистического расточительства, но также и способные, трезвые администраторы, которым остается одно: владеть и помыкать ими. При таком положении дел понятия правительства и эксплуатации стали синонимичными, и в итоге миром правят недоумки, разбойники и проходимцы. Тех, кто отказывается быть с ними заодно, преследуют, а то и казнят, если они причиняют слишком много хлопот. Если им недостает умения извлекать выгоду из своих способностей, их ждет нищета. В настоящее время половина Европы положила на обе лопатки другую половину и всеми силами старается забить ее до смерти, в чем, может быть, и преуспеет: такая процедура логически соответствует положениям неодарвинизма. А добросердечное большинство либо взирает на происходящее в беспомощном ужасе, либо позволяет газетам своих правителей убеждать себя в том что такое битье является не только разумным коммерческим предприятием, но и актом божественной справедливости, ревностными орудиями коей эти правители выступают.

Но если человек в самом деле неспособен к достойному устройству большого цивилизованного сообщества, или даже простого поселения, или первобытного племени, то будет ли для него прок в какой бы то ни было религии? Религия может пробудить в нем жажду праведности, но наделит ли она его практической способностью к удовлетворению этой потребности? Благие намерения не несут с собой ни грана науки о политике — науки достаточно серьезной и сложной. Самыми преданными и неустанными, самыми способными и бескорыстными из тех, кто постигает эту науку у нас в Англии, являются, насколько мне известно, мои друзья Сидней и Беатриса Уэбб{21}. Им потребовалось сорок лет предварительной работы, на протяжении которых они опубликовали несколько трудов, сопоставимых по своему значению только с «Богатством народов» Адама Смита{22}, для того, чтобы сформулировать политические установления, соответствующие нынешним нуждам. Если это и есть мера того, чего возможно достичь в течение всей жизни силой редкостного таланта, острой природной наблюдательности и при исключительных возможностях, обусловленных свободой от необходимости добывать себе хлеб насущный, то чего следует ожидать от парламентского деятеля, кому наука о политике столь же чужда и тягостна, как и дифференциальное исчисление, и для кого столь элементарный, но жизненно важный вопрос, как закон экономической ренты, представляет собой pons asinorum[1], к которому он и близко не подойдет, не то что преодолеет? А чего же можно ожидать тогда от рядового избирателя, чаще всего настолько поглощенного поисками средств к существованию, что он засыпает, не просидев за книгой и пяти минут?

Следует ли возлагать надежды на образование?

Обычно отвечают, что образование необходимо для наших хозяев — следственно, для нас самих. Мы должны обучать науке гражданственности и политики в школе. Но должны ли? Ничуть, ибо совершенно очевидно, что в школе мы как раз не должны обучать политической и гражданственной науке. Школьный наставник, сделавший такую попытку, в лучшем случае вскоре окажется на улице одиноким и без гроша в кармане, а то и на скамье подсудимых, где ему придется отвечать на напыщенное обвинение в подстрекательстве к бунту против властей. В наших школах преподают феодальную мораль, извращенную духом коммерции, и превозносят ратного завоевателя, барона-грабителя и ловкого торгаша в качестве образцов добродетели и преуспеяния. Тщетно провидцы, уяснившие суть этого жульничества, исповедуют и проповедуют лучшее евангелие: немногие новообращенные обречены на скорый конец, а новые поколения школа насильно тащит к морали пятнадцатого столетия — и те, кто защищает образ мыслей Генриха VII{23}, относят себя к либералам, а те, кто противопоставляет им образ мыслей Ричарда III{24}, мнят себя истинными джентльменами. В итоге от образованного человека вреда еще больше, чем от необразованного; по существу, только беспомощность и лицемерие образовательной системы в наших школах (куда родители, будь на то их воля, не отправляли бы детей вообще, если бы школа не являлась тюрьмой, ограждающей взрослых от излишнего беспокойства со стороны несовершеннолетних) спасают нас от крушения на рифах ложной доктрины, заставляя медленно скользить по течению простого невежества. Итак, школа — не выход.

Гомеопатическое образование

По правде говоря, никто не спасет человечество извне — ни школьный наставник, ни любой другой: они могут только искалечить и поработить его. Если умыть кошку, она, многие говорят, никогда больше не станет умываться сама. Так это или не так, несомненно одно: человек никогда не научится тому, чему его учат, а от излеченного вашим усердием недуга сам он в следующий раз не в силах будет избавиться. Поэтому, если хотите видеть кошку чистой, окатите ее из помойного ведра — и она тотчас приложит все старания, чтобы слизать с себя грязь языком, и в конце концов станет чище прежнего. Сходным образом, когда врачи, знакомые с современными методами лечения (примерно 0,00005 процента из тех, кто практикует официально, и 20 процентов из числа незарегистрированных), хотят избавить вас от заболевания или неприятного симптома, они прививают вам именно это заболевание или прописывают снадобье, вызывающее как раз данный симптом; это провоцирует ваш организм на сопротивление болезни — точно так же, как грязь побуждает кошку наводить чистоту.

Человек с проницательным умом спросит меня, почему же в таком случае наше лживое образование не побуждает наших ученых искать истину. Я отвечу: да, так иногда бывает. Вольтер{25} был учеником иезуитов; Сэмюэл Батлер{26} учился у безнадежно консервативного и несведущего сельского пастора. Но Вольтер был Вольтером, а Батлер Батлером: их на редкость могучий интеллект мог нейтрализовать дозу яда, парализующую интеллект заурядный. Врачебная прививка или гомеопатическое средство содержат крайне ничтожную дозу яда: при больших дозах активный вирус победит сопротивление организма и окажет свое прямое действие. Порции фальшивых доктрин, которыми нас пичкают в школах и университетах, настолько велики, что подавляют сопротивляемость, которую вызвала бы малая доза яда. Обычный студент безнадежно развращен и при малейшей возможности постарается отправить в изгнание непокорных гениев: Байрону и Шелли пришлось бежать в Италию{27}, в то время как Каслрей{28} и Элдон{29} заправляли делами отечества; Руссо{30} травили, вынуждая кочевать из одной страны в другую, Карл Маркс изгнанником впроголодь ютился в Сохо{31}, статьи Раскина{32} возвращались всеми редакциями (он был слишком богат для иного вида преследований). И все это тогда, как всеми забытые ничтожества правили страной, посылали в тюрьмы и на виселицу повинных в богохульстве и подстрекательстве к мятежу (под каковыми подразумевалась честно высказанная правда о церкви и государстве). Эти правители усердно способствовали разрастанию общественных недугов и пороков, пока они не прорывались наружу в виде гигантских гнойников, которые приходилось вскрывать тысячами штыков. Таков результат аллопатического образования. Гомеопатическое образование еще не было испробовано в официальном порядке — уж очень затруднительно было бы это предприятие. Школьные наставники, подстрекающие воспитанников к микроскопическим грешкам в надежде услышать, как те воскликнут: «Изыди от меня, сатана!»{33} — или с притворной невинностью преподносящие им небылицы вместо исторически достоверных фактов с целью вызвать в ответ споры и негодующие возражения, безусловно, причинили бы меньше вреда, чем наши нынешние аллопаты, но, увы, у гомеопатического образования вовсе нет никаких сторонников. Аллопатия создала опасную иллюзию, будто способствует не помрачению, а просветлению разума. Тем не менее, в то время как большинство поддается гипнотическому влиянию среды, немногие оказывают ей решительное сопротивление, вот почему честные и достойные люди вырастают в воровских трущобах, а скептики и реалисты — в сельских приходах.

Дьявольская действенность технического образования

Между тем — и это самое страшное — техническое обучение поставлено у нас на редкость добросовестно и эффективно. Воспитаннику закрытой школы, старательно испорченному, одураченному и ослепленному относительно истинной природы общества, живущего за счет прибылей, внушают почитание паразитического безделья и роскоши. Его обучают стрельбе, езде верхом и укрепляют физически, используя для этого все возможности и средства, продиктованные ревностным стремлением способствовать выдающимся, желательно блестящим, успехам своих подопечных. В армии он учится летать, сбрасывать с самолета бомбы и стрелять из пулемета с самым изощренным искусством. Изобретение мощных взрывчатых средств щедро вознаграждается и поощряется; инструктаж по производству оружия, военных кораблей, подводных лодок и артиллерии, с помощью которых эти средства используются в разрушительных целях, проводится на совесть, и специалисты инструктируют новичков со знанием дела и с твердым намерением преуспеть в нем. В результате силы разрушения, которые не так-то легко со спокойным сердцем доверить даже безграничной мудрости и безграничному великодушию, отданы в руки недавних подростков, романтически настроенных на патриотический лад. И если они даже и наделены от природы благородством, то с помощью образования превращены в невежд, простофиль, снобов или спортсменов, для которых война — своего рода религия, а убийство чуть ли не подвиг. В то же время политическая власть при данных обстоятельствах нужна только империалистической военщине, охваченной постоянным страхом перед вторжением извне и капитуляцией, спесивым низкопоклонникам, авантюристам от коммерции, для которых национализация промышленного производства означала бы полный крах, финансистам, паразитирующим на денежном рынке, и, наконец, глупцам, цепляющимся за status quo[2] единственно в силу привычки. И эту власть получают по наследству, или просто-напросто покупают, или ради нее берут на содержание газеты, якобы выражающие общественное мнение; ее добиваются с помощью обольстительных интриганок или честолюбцев, проституирующих свой талант в интересах барышников, которые заправляют всеми делами, поскольку они и только они, захватив все награбленное добро, могут заставить плясать под свою дудку кого угодно. Ни правителям, ни управляемым недоступно понимание политики в собственном смысле слова. Им неизвестно даже существование такой области знания, как наука о политике, однако они в совершенстве владеют чудовищным умением принуждать и порабощать — и не остановятся перед уничтожением самой цивилизации, поскольку, обучаясь убийству, прошли добросовестную и основательную подготовку. По существу, все правители умственно неполноценны, а что может быть страшнее правительства, состоящего из умственно неполноценных, но зато владеющих неотразимыми средствами физического подавления? Обыкновенные благоразумные люди покоряются и заставляют всех остальных покоряться вместе с ними, ибо с детства приучены видеть в покорстве верность религии и чести. Те, чья природная просвещенность восстает против искусственного образования, подчиняются силе, однако они могли бы сопротивляться и сопротивлялись бы успешно, если бы их не останавливало малодушие. А малодушны они потому, что не располагают ни какой-либо формально провозглашенной и утвержденной религией, ни общепризнанным кодексом чести. Запутавшись в собственных замысловатых теориях, они, за неимением настоящих школ, посылают своих детей в школы, где тех ждет неизбежное развращение. Правители сами напуганы непомерным ростом и удешевлением средств массового уничтожения и разрушения. Теперь, когда подводные лодки, бомбы и отравляющие газы сбываются по дешевке, британское правительство больше боится Ирландии, нежели оно боялось германской империи до войны. Соответственно извечная британская осторожность, поддерживавшая равновесие сил через господство над морем, переросла в панический страх, усматривающий путь к безопасности только в абсолютном военном превосходстве над всем земным шаром: то есть нечто неосуществимое военным и доморощенным островным патриотам представляется осуществимым до мельчайших подробностей.

Шаткость цивилизации

Подобная ситуация складывалась в прошлом столь часто, приводя к крушению цивилизаций (профессор Флиндерс Петри{34} раскрыл нам тайну предшествовавших катастроф), что богачи инстинктивно провозглашают девиз «будем есть и пить, пока живы»{35}, а бедняки вопрошают в муке: «Доколе, о господи, доколе?»{36} Но безжалостный ответ по-прежнему гласит, что бог помогает тем, кто сам не плошает. Это не означает, что, если человек неспособен найти средство спасения, такого средства не существует. Сила, создавшая человека, когда обезьяна оказалась не на высоте требований, может создать и существо более высокого порядка, если человек сам окажется не на высоте требований. В его пользу нет, по-видимому, ни одного неотразимого довода. Человек в своем настоящем виде отнюдь не идеальное создание. Многие из его проявлений настолько отталкивающи, что о них не говорят в приличном обществе, и нередко столь мучительны, что он вынужден выдавать страдание за благо. Природа не отвечает за проводимый человеком эксперимент: успех или провал его зависит от самого экспериментатора. Если человек обнаружит свою непригодность, природа поставит другой эксперимент.

Остается ли все же какая-либо надежда на усовершенствование человека? Согласно неодарвинистам и приверженцам механицизма — никакой: по их теории, улучшение может быть вызвано только некоей слепой случайностью, которая, в соответствии со среднестатистической нормой, в свою очередь легко может быть перечеркнута другой, не менее слепой и бессмысленной случайностью.

Творческая эволюция

Однако эта мрачная догма не обескураживает тех, кто верит в творческую силу импульса, вызывающего Эволюцию. Им известен простой факт: желание достигнуть определенного результата, если только оно напрягается до предела, обусловленного осознанием необходимости желаемого, способно создать и создает совершенно новый органический материал. С их точки зрения человечество еще далеко не выдохлось. Если тяжелоатлет, подстрекаемый заурядным желанием добиться успеха на состязаниях, в силах «набрать вес», разумно предположить, что вдумчивый и убежденный философ равным образом способен «набраться ума». Оба этих примера указывают на направленность Жизненной силы к одной определенной цели. Эволюция свидетельствует о самых разнообразных проявлениях такой направленности Жизненной силы, которая снабдила гусениц множеством ножек и отняла их у рыб; дала живущим на суше легкие и конечности, а живущим в воде — плавники и жабры; позволила млекопитающим вынашивать потомство в материнской утробе, а птицам высиживать яйца. Таким образом, можно заключить, что нам предложен широкий выбор средств усовершенствования телесного устройства для поддержания нашей деятельности и развития наших возможностей.

Добровольное долголетие

К факторам, явно подверженным сознательному изменению, относится и продолжительность жизни индивида. Вейсман{37}, весьма одаренный и мыслящий биолог (к несчастью, впавший в слабоумие под воздействием неодарвинизма), указал на то, что смерть не является непременным условием жизни: она только средство для того, чтобы обеспечить непрерывное возобновление без перенаселенности. Но тогда Отбором Силой Обстоятельств нельзя объяснить естественную смерть, ибо такой отбор объясняет только выживание того вида, представители которого настолько благоразумны, что дряхлеют и умирают вполне сознательно. Однако не слишком похоже, что расчеты их логически обоснованы: никто не в состоянии объяснить, почему попугай живет вдесятеро дольше собаки, а черепаха едва ли не бессмертна. В случае с человеком налицо явный промах: люди не живут достаточно долго; в сопоставлении с задачами высокоразвитой цивилизации они умирают сущими детьми, и наши премьер-министры (по общему мнению, достигшие полной зрелости) делят свое время между партией в гольф и правительственной скамьей в парламенте. Можно, однако, предположить, что сила, допустившая такую ошибку, способна и исправить ее. Если в соответствии с обстоятельствами человек ныне устанавливает срок своей жизни в семьдесят лет, он в равной степени может установить его и до трехсот лет, и до трех тысяч лет, или же вплоть до предела, обусловленного подлинным Отбором Силой Обстоятельств, когда какой-либо фатальный случай, рано или поздно неизбежный, положит конец его существованию. Главным толчком для продления нынешней продолжительности жизни человека может стать убеждение, вынесенное из опыта потрясающих катастроф, подобных недавней войне, — убеждение в необходимости жить, по крайней мере, столько, сколько нужно для того, чтобы, повзрослев, отделаться от своего пристрастия к гольфу и сигарам, коль скоро речь идет о спасении рода человеческого. Здесь нет никаких фантастических измышлений: все эти рассуждения — не что иное, как дедуктивная биология, если вообще существует такая наука, как биология. Это тот самый камень преткновения, который мы оставили нетронутым, но его стоит сдвинуть с места. С целью придать данной идее большую привлекательность, чем если бы она была облечена в форму трактата по биологии, я и написал метабиологическое Пятикнижие{38} «Назад к Мафусаилу» — мой вклад в современную Библию.

Пришествие неоламаркистов

[…] Ламарк{39}, делая множество проницательных предположений относительно влияния внешних причин на образ жизни и поведение (среди них смена климата, проблемы питания, геологические перевороты и так далее), исходил из основного положения, согласно которому живые организмы изменяются, потому что стремятся к этому. По его словам, величайшим фактором Эволюции является упражнение или неупражнение какого-либо органа. Тот, кто лишен глаз, но хочет и настойчиво пытается видеть, в конце концов обретает зрение. Тот, кто, подобно кроту или глубоководной рыбе, обладает глазами, но не желает видеть, тот зрение утрачивает. Те, кому нежная листва на верхушках деревьев пришлась настолько по вкусу, что они способны сосредоточить всю свою энергию на вытягивании шеи, в конце концов получат длинную шею, как у жирафы. Поверхностным умам на первый взгляд это покажется сплошным абсурдом, но не подтвердит ли каждый из нас, исходя из собственного опыта, что именно такой процесс ведет к тому, что ребенок, ползавший на четвереньках, становится на ноги, а взрослый человек, разбивавший при падении то нос, то затылок, превращается в заправского велосипедиста или конькобежца? Процесс этого превращения не будет непрерывным, так как зависит не только от практики: хотя во время каждого велосипедного урока вы добиваетесь новых успехов, в начале следующего урока вы начинаете не с того места, где остановились прошлый раз, а как будто сначала, пока наконец вам вдруг все удается и возврат к прежним неудачам уже невозможен. Как это ни удивительно, ваша вновь обретенная способность сразу становится бессознательной. Хотя вы поддерживаете переднее колесо в таком сложном равновесии, что, если вы случайно даже на секунду затормозите, вы немедленно свалитесь, действие, минуту назад казавшееся вам невозможным, вдруг становится привычным и таким же бессознательным, как, например, постепенный рост ногтей. Вы обрели новую способность — и, по всей вероятности, некую новую физическую субстанцию в вашем организме, которая управляет данной способностью. И это достигнуто исключительно благодаря вашей собственной воле. Тут не может быть и речи об Отборе Силой Обстоятельств или выживании сильнейших. У человека, обучающегося езде на велосипеде, нет никаких преимуществ в борьбе за существование перед тем, кто ходит пешком, — совсем наоборот. Просто он приобретает новое умение — автоматический, бессознательный навык — единственно потому, что стремился к этому и не оставлял усилий, пока не овладел этим навыком.

Каким образом навыки наследуются

Но когда ваш сын, в свою очередь, садится на велосипед или пробует кататься на коньках, оказывается, что он ничуть не унаследовал вашего умения — как не появился на свет с бородой и в цилиндре. Регресс, замечавшийся вами в перерывах между тренировками, возникает снова. И весь человеческий род набирается опыта подобно отдельному индивиду. […]

Постараемся вникнуть в сущность эволюционного процесса по Ламарку. Вам дарована жизнь, но вам хочется большего. Вы стремитесь к росту самосознания и к развитию своих способностей. Вы нуждаетесь, следовательно, в дополнительных органах или дополнительных функциях уже имеющихся органов — то есть дополнительных навыках. Вы приобретаете эти навыки, так как достаточно сильно стремитесь к ним, чтобы прилагать новые и новые усилия, пока они не приводят к успеху. Никто не знает, как и почему это происходит: мы знаем только, что это так. Мы совершаем одну неловкую попытку за другой до тех пор, пока прежний орган не видоизменяется или не возникает новый орган, управляющий новым навыком, — и тогда невозможное внезапно становится возможным. С первого же момента образования нового навыка мы стремимся сделать его бессознательным, дабы освободить сознание для новых жизненных завоеваний: ведь деятельность его сопряжена с непрекращающимися заботами и трудностями, связанными с решением необходимых задач. Если бы нам приходилось думать о дыхании, пищеварении или кровообращении, у нас недоставало бы внимания ни на что другое (как, увы, случается, если функции эти нарушаются). Мы так же стремимся сделать навыки бессознательными, как стремились приобрести их, — и в итоге добиваемся желаемого. Но бессознательность наших навыков достигается ценой утраты контроля над ними: кроме того, новый навык и сопряженная с ним перестройка органов формируются на основе прежних навыков, которые держат нас в известной зависимости. В результате мы упорствуем в сохранении прежних навыков, даже если они причиняют нам вред. Нельзя перестать дышать для того, чтобы не утонуть или избежать приступа астмы. Мы можем утратить приобретенный навык и отказаться от соответствующего органа, когда перестаем в них нуждаться, однако это процесс длительный и протекающий неровно, поэтому остаточные функции сохранившегося органа надолго переживают свою полезность. И если другие, все еще необходимые нам навыки и перестройки возникли на основе тех, которые мы стремимся изжить, тогда мы должны создать для них новую основу, прежде чем разрушить прежнюю. Это также затяжной и весьма любопытный процесс.

Чудо ускоренной рекапитуляции{40}

Регресс, имеющий место между попытками сформировать навык, важен, поскольку, как мы видели, он наступает не только в развитии индивида, но и наличествует при смене поколений всего рода человеческого. Такой регресс является постоянной особенностью эволюционного процесса. Например, Рафаэлю — выходцу из семьи, насчитывавшей восемь поколений художников подряд, — пришлось учиться рисованию, словно никто из Санти никогда раньше не брался за кисть.{41} Но ведь ему пришлось также обучаться и дыханию, и пищеварению, и кровообращению. Хотя его родители уже достигли зрелого возраста ко времени его зачатия, он не был зачат и не был рожден вполне созревшим: ему пришлось возвратиться далеко вспять, начать жизнь комочком протоплазмы и претерпеть эмбриональный период развития, причем на определенной стадии его зародыш ничем не отличался от зародыша собаки и не имел ни черепной кости, ни позвоночника. Когда же эти признаки наконец появились, некоторое время казалось неясным, суждено ему стать птицей или же рыбой. Ему пришлось сжать бессчетные века развития до девяти месяцев, прежде чем достаточно очеловечиться для того, чтобы он смог вырваться на свободу как независимое существо. Но даже тогда несовершенство его было столь очевидно, что его родители вполне могли бы воскликнуть: «Господи боже, неужто ты ничего не перенял из нашего опыта, раз ты появился на свет в таком смехотворно беспомощном виде? Почему бы тебе не встать на ноги, не поговорить с нами, не порисовать и вообще почему бы не вести себя как полагается?» Младенец по имени Рафаэль вряд ли нашелся бы с ответом на этот вопрос. Он мог бы сказать только (если бы умел говорить), что таков путь эволюционного развития. Вероятно, наступит пора, когда сила, спрессовавшая миллионы лет развития в девять месяцев, сможет вместить миллионы миллионов лет в еще более краткий срок, — и тогда Рафаэли будут рождаться готовыми художниками, как ныне от рождения они обладают готовой системой дыхания и кровообращения. Однако они по-прежнему начнут жизнь комочками протоплазмы и в материнском чреве обретут способность к живописи лишь на достаточно поздней ступени эмбрионального развития. Они должны повторить предысторию человечества на собственном опыте, сколь бы сжатой она ни оказалась.

Наиболее поразительным и существенным среди открытий эмбриологов (по сию пору до абсурдности мало оцененным по достоинству) было как раз данное явление рекапитуляции, как его теперь называют: рекапитуляция способна ускорить до немногих месяцев процесс, некогда протекавший столь бесконечно долго и томительно, что одна только мысль об этом несносна для людей, которым отпущено на земле всего-то лет семьдесят. Это открытие раздвинуло горизонты человеческих возможностей, позволив надеяться па то, что самые сложные и длительные процессы нашего сознания могут стать моментальными или, как мы говорим, инстинктивными. Оно также обратило наше внимание на самые разнообразные примеры подобного обращения столетий в секунды, а такие примеры встречаются на каждом шагу. […]

Открытие эволюции

[…] Метафизическая сторона Эволюции не составляла новшества перед приходом Дарвина. […] В 1819 году Шопенгауэр выпустил свой труд «Мир как воля и представление» — метафизическое дополнение к естественной истории по Ламарку. Эта книга показывает, что движущей силой Эволюции является воля к жизни — и к жизни бесконечной, как Христос сказал задолго до этого. И все предшествующие философы, от Платона{42} до Лейбница{43}, готовили человеческий ум к принятию представления о вселенной как единой Идеи, стоящей за всеми физически воспринимаемыми метаморфозами.

Таково было положение вещей в преддарвиновский период, который до сих пор считается предэволюционным периодом. Однако теории эволюции были в полном ходу, еще прежде чем на трон вступила королева Виктория{44}. В доказательство приведу рассказ Вейсмана о революции 1830 года в Париже, когда французы отделались от Карла X{45}. Гете{46} был еще жив, и один из его французских знакомцев пришел к нему и застал его в состоянии страшного волнения. «Что вы думаете об этом великом событии? — сказал Гете. — Извержение вулкана началось, все объято пламенем, никакие келейные обсуждения теперь немыслимы». Француз ответил, что все это, конечно, ужасно, но чего можно ожидать от такого министерства и такого короля? «Чепуха! — сказал Гете. — Я не об этой публике говорю, а об открытом разрыве между Кювье{47} и Сент Илэром{48} во Французской Академии». Разрыв, о котором толковал Гете, имел отношение к эволюции, поскольку Кювье настаивал на наличии четырех видов, а Сент Илэр — одного.

Однако с 1830 года, когда Дарвин казался малообещающим двадцатилетним пареньком, вплоть до 1859 года, когда он перевернул мир своим «Происхождением видов», в теории эволюции был полный застой. Первое поколение ее сторонников вымирало, а их потомки учились по Книге Исхода в точности как Эдуард VI{49} (да и Эдуард VII{50} тоже, впрочем). Ничего нового в этой области не появлялось. Это и усилило впечатление полной новизны теорий, выдвинутых Дарвином; это и ему самому, вероятно, помешало понять, сколь много было сделано до него, в том числе его собственным дедом, к которому он, по распространенному мнению, был несправедлив. К тому же он вовсе не продолжал семейную традицию. Он был совершенно оригинален и шел, как мы сейчас увидим, по новому пути. И уж, во всяком случае, он, будучи естествоиспытателем-практиком, очень мало ценил более или менее мистические интеллектуальные медитации деистов{51} 1790 – 1830-х годов. Ученым того времени деизм ужасно надоел. Они объявили неразрешимой загадку о Великой первопричине и, соответственно, называли себя агностиками{52}. От непостижимого вопроса «почему существует мир» они обратились к черной работе, чтобы разузнать, «что именно происходит в мире» и «как».

Сосредоточив все свое внимание в этом направлении, Дарвин вскоре заметил: очень многое из того, что совершается, не исполнено ни мистического, ни какого бы то ни было другого смысла, — и это положение почти или совсем не было воспринято старшим поколением деистов-эволюционистов. Теперь, когда мы, наскучив и пресытившись неодарвинизмом и механицизмом, обращаемся к витализму{53} и творческой эволюции, трудно вообразить, почему открытия Дарвина могли показаться его современникам увлекательными, радостными и тем более обнадеживающими. Позвольте мне воскресить атмосферу тех времен; я опишу сценку, чрезвычайно характерную для господствующих тогда суеверий. В этой сценке я, по тогдашним понятиям, сыграл в высшей степени непозволительную роль.

Вызов грому небесному: несостоявшийся эксперимент

Году в 1878-м, когда мне едва перевалило за двадцать, я присутствовал на холостяцкой вечеринке в доме одного лондонского врача в Кенсингтоне{54}, где собрались представители различных, в том числе свободных, профессий. Зашел разговор о возрождении религиозных движений: кто-то рассказал о человеке, который неосторожно высмеял миссионерскую деятельность господ Муди и Сэнки{55}, возглавлявших известную тогда фирму американских евангелистов, и впоследствии был доставлен домой на носилках, пораженный небесным гневом за богохульство. Оказавшиеся в меньшинстве скептики, не пытаясь поставить под сомнение истинность происшествия, ибо сами они явно не стремились подвергнуться риску передвижения на носилках, выказали, однако, робкое неудовольствие тем злорадством, которое проявилось в связи с этой историей, — и в результате возникло некое подобие диспута. Наконец, один из наиболее евангелически настроенных спорщиков сослался на пример Чарлза Брэдло{56} — самого непримиримого атеиста среди сторонников секуляризма{57}, который однажды публично извлек из жилетного кармана часы и предложил всевышнему, буде тот действительно существует и относится к атеистам с неодобрением, в течение пяти минут сразить его насмерть. Глава скептиков с большой горячностью опроверг это обвинение как чудовищную клевету — и, заявив, что сам Брэдло неоднократно и с негодованием отрицал данный факт, дал понять присутствующим, что знаменитый поборник атеизма был слишком благочестив для того, чтобы совершить подобное богохульство. Столь явное смешение понятий пробудило мое чувство юмора. Мне было ясно, что вызов, якобы брошенный Чарлзом Брэдло, на самом деле представлял собой достаточно простой, открытый и вполне уместный эксперимент с целью установить, сопряжено ли выражение атеистических взглядов с риском для личности. Аналогичный метод изложен в Библии — на тех страницах, где пророк Илия изобличает заблудших поклонников Ваала точно таким же образом, с язвительными насмешками обрушиваясь на их бога за то, что тот сплоховал метнуть в него молнию. Посему я заявил, что, если спорный вопрос заключается в том, влечет ли недоверие к теологии господ Муди и Сэнки за собой немедленное наказание со стороны разъяренного божества в виде незамедлительного поражения насмерть громом, то не может быть более убедительного способа разрешить проблему, чем явно напрашивавшийся эксперимент, приписываемый мистеру Брэдло; следовательно, если он в свое время не попытался поставить такой эксперимент, об этом нельзя не пожалеть. Я добавил также, что подобная оплошность, если таковая была допущена, относится к числу легко исправимых в любой момент — и, поскольку выявилось полное совпадение моих взглядов с мнением мистера Брэдло относительно абсурдности верований в допустимость насильственного вмешательства в природный ход явлений со стороны щепетильного и не в меру вспыльчивого сверхъестественного существа… Тут я умолк — и вынул из кармана часы.

Эффект оказался ошеломляющим. Ни скептики, ни ревнители явно не были расположены дожидаться результата эксперимента. Напрасно убеждал я набожных доверять меткости, свойственной громовым стрелам их божества, а также его способности справедливо воздавать правым и виноватым по делам их. Напрасно призывал я скептиков принять логический вывод, вытекающий из их скептицизма: выяснилось, что, коль скоро речь зашла о громовых стрелах, скептиков больше нет. Наш хозяин, видя, что все гости поспешно разбегутся, едва только нечестивый вызов будет произнесен, и оставят его с глазу на глаз с безбожником-одиночкой, осужденным на страшную погибель в течение пяти минут, торопливо вмешался и прервал эксперимент, обратившись ко мне с просьбой переменить тему разговора. Я, разумеется, подчинился, но не мог не заметить, что, хотя ужасные слова и не были произнесены вслух, сама мысль отчетливо сформулирована у меня в голове — и потому кажется в высшей степени сомнительным, возможно ли избежать последствий путем умолчания. Впрочем, присутствующие, по всей вероятности, считали, что игра пойдет в строгом соответствии с правилами, — и, поскольку я не произнес ни единого слова, мои мысли не имеют особенного значения. И только глава евангелически настроенного большинства обнаруживал, как мне показалось, легкое беспокойство до тех пор, пока не истекло пять минут, а погода все еще оставалась безоблачной.

В поисках первопричины

Еще одно воспоминание. В те дни, как и в наши дни, мы мыслили категориями времени и пространства, причины и следствия, однако теперь мы не требуем от религии, чтобы она объясняла мироздание всецело причинно-следственными связями и представляла вселенную в качестве некоего изделия, которое принадлежит изготовителю на правах частной собственности. Раньше мы именно это и требовали. Нам предлагалось оплакивать наивные заблуждения язычников, полагавших, будто мир держится на спине у слона, а слон стоит на черепахе. Магомет{58} считал горы тяжелыми гирями, удерживающими мир на месте, дабы его не унесло в пространство. Однако нам удалось опровергнуть всех этих восточных мудрецов торжествующим вопросом: а на чем же тогда держится черепаха? Вольнодумцы доискивались, что появилось раньше — курица или яйцо. Никому не приходило в голову заявить, что основная проблема существования — вопрос о возникновении жизни, явно неразрешимая и даже немыслимая в свете причинно-следственных отношений, вообще не может быть проблемой, связанной с причинной обусловленностью. Для набожных людей такое заявление выглядело бы атеизмом чистейшей воды: они полагали, что Бог должен быть Причиной, именуемой иногда Великой Первопричиной или — еще более изысканно — Изначальной Первопричиной. Для рационалистов отрицание причинной обусловленности было бы равносильно отрицанию разума. Время от времени кто-нибудь признавался, что чувствует себя так, как будто стоит в густом тумане с тусклым фонарем в руках, свет которого едва рассеивает окружающую его со всех сторон тьму бесконечности. Но на самом деле человек не верил в то, что бесконечность бесконечна и что вечность извечна: он полагал, что все сущее, познанное и непознанное, причинно обусловлено.

Об этом и зашел у нас спор с преподобным отцом Адисом (это было в конце 1870-х годов), когда мы сидели с ним в укромном уголке старинной Бромптонской часовни{59}, куда мой собеседник был приглашен кем-то из его паствы в надежде, что он обратит меня в католичество. Вселенная существует, заявил преподобный отец, значит, кто-то должен был сотворить ее. Если этот кто-то существует, парировал я, кто-то должен был сотворить его. Допустим это в интересах спора, сказал пастырь. Допустим существование того, кто сотворил Бога. Допустим и существование творца того, кто сотворил Бога. Допустим, что творцов существует столько, сколько вашей душе угодно, однако существование бесконечного количества творцов немыслимо и нелепо: поверить в существование пятидесятитысячного и пятидесятимиллионного творца ничуть не затруднительней, чем поверить в существование первого по счету, но почему бы тогда не оставить за ним первенство и не остановиться на этом, раз все попытки пойти дальше бессильны устранить ваше логическое затруднение? С вашего позволения, отвечал я, мне так же легко поверить в то, что вселенная сотворила сама себя, как и в то, что творец вселенной сотворил себя сам, — в сущности, даже легче, ибо существование вселенной очевидно и очевидно то, что она развивается, тогда как существование творца не более чем гипотеза. Разумеется, продолжать разговор в таком духе было бессмысленно. Поднявшись с места, мой собеседник заметил, что мы похожи на двух людей, которые силятся распилить бревно, но каждый тянет пилу к себе, — и все усилия пропадают даром. Когда мы проходили через трапезную, отец Адис прервал молчание и признался, что сошел бы с ума, если бы утратил веру. Я, упивавшийся в то время избытком юношеской черствости и поклонявшийся единственно духу комедии, чувствовал себя преотлично и прямо заявил об этом, хотя, впрочем, и был тронут неподдельной искренностью моего собеседника.

Оба рассказанных мной случая как будто донельзя заурядны и даже забавны, однако за ними таится бездна отчаяния. Они вскрывают состояние полного безверия, когда существующая религия означает лишь веру в жупел, которым пугают детей, а несостоятельность религии доказывается пустячной логической дилеммой, причем и то и другое не имеет с подлинной религией ничего общего и недостаточно серьезно для того, чтобы обмануть или смутить любого надлежащим образом воспитанного ребенка старше шести лет. Трудно сказать, что ужаснее: унижение легковерия или легкомысленность скептицизма. Отсюда последовало неизбежное. Все, кто обладал решимостью устоять перед жупелом, оказались на мели, предавшись бесплодному презрительному отрицанию или не менее бесплодным спорам, похожим на мой спор с отцом Адисом, если вообще снисходили до споров. Однако их позиция в духовном отношении безмятежностью не отличалась. Испытываемое ими чувство внутреннего разлада выразил один из членов парламента, возражавший против избрания в парламент Чарлза Брэдло, словами: «Должен же, черт побери, человек верить в кого-то или во что-то!» Нетрудно было бы бросить жупел на свалку, но тем не менее мир — наш уголок вселенной — отнюдь не выглядел простой случайностью: все вокруг нас изобличало присутствие определенного замысла, за которым таилась некая особая цель. Как выразился бы ополчившийся против Брэдло член парламента: если что-то есть, должен же за этим быть кто-то. Против этого любой атеист был бессилен.

Часы Пэйли

Пэйли{60} поставил свой вопрос в такой форме, в которой на него заведомо невозможно ответить. Если вам в руки попали часы с механизмом, в совершенстве приспособленным для выполнения серии операций, подчиненных единственной цели — определить для человечества суточный ход времени, разве можно не верить, что это обдуманная и предназначенная именно для этой цели работа искусного механика? Человек же со всеми своими органами — связками и рычагами, балками и стропилами, входными и выходными отверстиями, вентилятором и карбюратором, сообщающейся системой сосудов и клапанов, фильтрами и ретортами, устройствами для химических реакций, слуховыми передатчиками и оптическими линзами — изделие несравненно более удивительное, нежели часы: так мыслимо ли представить, что оно создано по чистой случайности, что ни один механик не приложил к нему руку и не руководствовался при этом ни определенным замыслом, ни сознательной целью? Это казалось невероятным. Тщетно Гельмгольц{61} заявлял, что «глазу свойственны не только все возможные дефекты оптического инструмента, но и особые, только ему присущие несовершенства» и что, если бы оптик попытался навязать ему покупку подобного инструмента, он счел бы себя вправе отослать товар обратно с самым резким осуждением недобросовестности мастера. Дискредитировать умение оптика не значило устранить самого оптика. Глаз, быть может, не так хорошо устроен, как полагал Пэйли, однако глаз тем не менее как-то и кем-то создан. […]

Нужный человек в нужную минуту

[…] Атеизм был бессилен ответить на вопрос Пэйли, но объяснение всего легко объяснимого входило в задачи науки. Наука чуралась голого отрицания: ей прежде всего требовалось доказать, что наличие в природе замысла можно истолковать, не прибегая к гипотезе о личностном первоначале. Если бы только некий гений, согласившись с выкладками Пэйли, сумел сразить самого Пэйли наповал, открыв способ появления на свет часов без участия часовщика, то этому гению был бы обеспечен такой восторженный прием со стороны мыслящих современников, какой не снился раньше ни одному натурфилософу.

Пришло время, и такой гений явился. Звали его Чарлз Дарвин. Итак, в чем же, собственно, состояло открытие Дарвина?

Боюсь, что тут мне снова придется прибегнуть к услугам жирафы или, как ее называли во времена знаменитого Буффона, камелеопарда. Не знаю, почему, но это бедное животное так упорно навязывалось в качестве довода в спорах об эволюции, что от него спасения не было, а теперь я по своей старомодности и сам не могу без него обойтись. Откуда все же взялась у жирафы длинная шея? Как пояснил бы Ламарк, желание добраться до нежной листвы на верхушках деревьев побуждало животное вытягивать шею, пока эти усилия не привели в конце концов к появлению шеи необходимой длины. Был возможен и другой ответ на этот вопрос, а именно: некий доисторический селекционер, желая произвести редкий природный феномен, взял животных с самыми длинными шеями и настойчиво занимался их разведением до тех пор, пока в результате преднамеренного отбора не возникла порода, обладающая аномально длинной шеей (точно так же вывели, к примеру, породу рысаков или голубей с веерообразным хвостом). Оба эти объяснения содержат в себе, как видите, признание осознанной воли, цели и замысла либо со стороны самого животного, либо со стороны вышестоящего разума, который управляет судьбой своих подопечных. Дарвин указал на наличие третьего объяснения (и к этому целиком сводится все его прославленное открытие), которое не признает ни воли, ни цели, ни замысла со стороны кого бы то ни было. Тот, чья шея слишком коротка для добывания пищи, обречен на гибель. Так довольно просто объясняется тот факт, что все существующие ныне травоядные обладают достаточно длинной шеей или же хоботом. Значит, конец вере в преднамеренное создание длинных шей для добывания пищи! Но Ламарк не допускал подобного изначального предназначения шей: длина шеи, верил он, постепенно вырабатывается единством желания и старания. Отнюдь не обязательно, заявил Дарвин. Возьмите фактор естественного прироста, на котором особенно настаивал Мальтус{62}, и проследите действие этого фактора на примере жираф. Допустим, что средний рост поедающих листву животных составляет четыре фута и что их поголовье увеличивается до тех пор, пока вся листва деревьев на этой высоте не оказывается объеденной. Тогда те животные, рост которых на дюйм-другой ниже среднего, погибнут от недоедания. Все те животные, рост которых превышает среднюю отметку хотя бы на дюйм, по сравнению с прочими выиграют в упитанности и выносливости. Они изберут себе в пару равных себе, и их потомство окажется жизнеспособным, в то время как хилые недомерки будут обречены на вымирание. Этот процесс, награждающий каждое поколение данной породы, скажем, одним лишним дюймом, будет повторяться до тех пор, пока шея не окажется достаточно длинной для того, чтобы жирафа всегда располагала пищей в пределах досягаемости. Затем селекционный процесс, разумеется, приостанавливается, одновременно приостанавливается и дальнейшее удлинение шеи жирафы — иначе она смогла бы общипывать листья с деревьев, произрастающих на луне. И все это происходит, заметьте, без малейшего вмешательства со стороны селекционера, земного или небесного; и ничто — ни воля, ни цель, ни замысел, ни простое осознание происходящего — не стоит за слепой жаждой насыщения. Верно, что эта слепая жажда — по существу, воля к жизни — исчерпывает суть дела; однако, по сравнению с целеустремленной и осмысленной направленностью усилий у Ламарка, процесс развития у Дарвина представляется совершенно случайным стечением обстоятельств. Поначалу такое истолкование эволюционного процесса выглядит вполне обоснованным, поскольку вы не сразу осознаете все вытекающие из него последствия. Но когда вы постигаете до конца его подлинный смысл и значение, ваше сердце уходит в пятки. Теория Дарвина скрывает в себе чудовищный фатализм, гнусное и омерзительное низведение красоты и интеллекта, силы, благородства и страстной целеустремленности до уровня хаотически случайных броских перемен, какие в горном ландшафте вызывает обвал лавины, а в человеческой фигуре — железнодорожная катастрофа. Называть это Естественным Отбором — сущее богохульство. Пусть богохульствуют те, для кого Природа — всего лишь случайное скопище инертной и мертвой материи: ум и сердце праведников вовеки не примирятся с этой ересью. А если это не ересь, но научная истина, тогда ни звезды небесные, ни дождь, ни росу, ни зиму, ни лето, ни лед, ни пламень, ни горы, ни долы больше нельзя призывать во свидетели славы господней, ибо тогда все созданное им направлено к одной-единственной цели — метаморфозам всего сущего силой слепого и бездумного голода, обрекающего на погибель всех, кому не посчастливилось уцелеть во всеобщей свалке возле кормушки со свиным пойлом.

У края бездонной пропасти

Так вот шея бедной жирафы простерлась до небес и внушила людям веру в то, что они присутствуют при сумерках богов. Ибо, если подобный отбор мог создать жирафу из антилопы, совсем нетрудно вообразить превращение кишащей амебами запруды во Французскую Академию. Хотя указанный Ламарком путь — путь жизни, воли, целеустремленности и достижения цели, — оставался возможным, новоявленный путь голода, смерти, тупой покорности и игры случая, управляющих выживанием, стал также возможным, причем несомненно, что именно этот путь вызвал целый ряд метаморфоз, которые ранее казались сознательно задуманными. Не начни я с праздного по видимости рассказа о своем обращении к дискуссионным методам пророка Илии, меня бы спросили, каким чудом случилось так, что исследователя, который разверз перед нами бездну отчаяния, не только не побили камнями и не распяли как всеобщего врага, растоптавшего достоинство рода человеческого и отнявшего у вселенной ее предназначение, но, напротив, восторженно провозгласили Избавителем, Спасителем, Пророком, Просветителем, Освободителем, Глашатаем Надежды, Исцелителем и Провозвестником Новой Эпохи, тогда как Ламарка просто-напросто смахнули в сторону как автора незрелых, изживших себя догадок, едва ли достойного считаться заблудшим предшественником Дарвина?

В свете рассказанного мною анекдота объяснение вполне очевидно. Прежде всего эта бездна поглотила Пэйли, и беспорядочного Создателя, и низложенного у Шелли всемогущего Демона, и прочую псевдорелигиозную чепуху, которая преграждала все пути вперед и вверх с тех пор, как людские надежды обратились к науке как единственной спасительнице. Эта бездна казалась такой удобной могилой, что поначалу никто не увидел в ней бездонной пропасти, которая теперь стала поистине страшной. Ибо, хотя Дарвин и оставил обходную тропинку для спасения своей души, его последователи уничтожили ее, расширив пропасть. Однако в начале радость была всеобщей, а ликование ученых прямо-таки буйным.

Мы были предельно угнетены мыслью о воле деспотической личности — божества столь предосудительно жестокого и ревнивого, что даже применение хлороформа с целью облегчить страдания при родах или на операционном столе могло, по мнению его последователей, показаться ему преступным вмешательством в божественный промысел; только поэтому мы набросились на Дарвина с такой жадностью. Когда Наполеона спросили, что произойдет после его смерти, он ответил, что в Европе раздастся вздох невероятного облегчения: «Уф-ф!» И вот, когда Дарвин сразил бога, возражавшего против хлороформа, у каждого из нас, кто только задумывался об этом раньше, вырвалось точно такое же «уф-ф!». Пэйли предали забвению вместе с его часами, устройство которых теперь легко объяснялось без ссылки на божественного часовщика. Радость избавления от обоих переполняла нас настолько, что нам и в голову не приходило задуматься о последствиях. Когда узник видит открытую дверь своей темницы, он бросается к выходу, не задумываясь о том, где раздобудет себе обед. В тот момент, когда мы обнаружили, что наш интеллект преспокойно обходится без всемогущего Демона, заклейменного Шелли, этот Демон провалился в пропасть, казавшуюся всего-навсего мусорным ящиком. Он провалился с такой внезапностью, что жизнь нашего поколения составляет одну из самых поразительных эпох в истории. Скажи я своему дядюшке, что спустя тридцать лет после нашей беседы с ним я навлеку на себя подозрения в вопиющем суеверии, ибо подвергаю сомнению правомочность теории Дарвина, признаю реальность Духа Святого и утверждаю, что Слово каждодневно облекается Плотью{63}, он приписал бы мне самый редкостный вид сумасшествия, когда-либо встречавшийся в нашем семействе. Тем не менее это было именно так. В 1906 году я мог поносить Иегову с большим рвением, чем в свое время это делал Шелли, не вызывая ни малейшего протеста со стороны мыслящей публики, привыкшей к любым формам современной полемики. Однако, когда я охарактеризовал Дарвина как «знающего и прилежного голубятника», мое легкомысленное святотатство было встречено с ужасом и негодованием. Теперь времена снова переменились; всякому ничтожному выскочке вольно говорить о Дарвине все, что заблагорассудится, но тем, кому захочется узнать, каково приходилось ламаркистам в последней четверти девятнадцатого столетия, достаточно заглянуть в воспоминания мистера Фестинга Джонса о Сэмюэле Батлере{64}, чтобы увидеть, на какое полное одиночество обрекал себя даже гений, если решался противостоять двум силам сразу: Дарвину, с одной стороны, и Церкви — с другой.

Почему Дарвин обратил толпу в свою веру

Я прекрасно сознаю, что, описывая воздействие открытия Дарвина на умы естествоиспытателей и всех тех, кто способен серьезно размышлять о сущности и атрибутах бога, я оставляю вне поля зрения огромную массу британской публики. Я уже указывал, что британская нация не состоит исключительно из атеистов и членов Плимутского братства{65}, и я отнюдь не собираюсь делать вид, что она когда-то делилась на два лагеря — дарвинистов и ламаркистов. Средний гражданин очень далек и от религии и от науки: с ним можно потолковать о крикете и о гольфе, о рыночных ценах и о политике партий, но совсем не об эволюции или о теории относительности, не о перевоплощении и не о предопределении. […]

Однако теория Отбора Силой Обстоятельств вполне доступна пониманию голубятников, любителей собак, садовников, скотоводов и коннозаводчиков, профессионально занятых видоизменением растений и животных посредством Искусственного Отбора. Единственная новость, которую они могли услышать от Дарвина, заключалась в том, что простое стечение обстоятельств, аналогичное их собственным скромным усилиям, на самом деле постоянно имеет место в самом широком масштабе. В английских загородных домах вряд ли отыщется хоть один работник, которому не приходилось бы топить в ведре все кошачье или собачье потомство, за исключением отпрыска, подающего, по его мнению, наибольшие надежды. Такому человеку понятие о выживании сильнейших не даст ничего нового, разве только откроет глаза на то, что этот процесс распространен гораздо шире, чем он наблюдал сам. Ведь ему отлично известно (а в этом вы убедитесь, если снизойдете до разговора с ним), что подобный отбор (в дарвиновском смысле) происходит в природе постоянно: например, холодная зима губит болезненного ребенка, как ведро с водой губит щенка-заморыша. Далее, возьмем сельского труженика. Шекспировский Оселок{66} — шут, воспитанный при дворе, был повергнут в изумление, обнаружив в пастухе философа от природы, и заключил, что тот будет проклят за свое вмешательство в то, как овцы плодятся и размножаются. Что же касается выведения новых сортов растений путем скрещивания разновидностей, то оно является самым привычным делом для вашего садовника. Итак, если вам знакомы все три названных выше процесса — выживание сильнейших, половая селекция и скрещивание видов, — то тогда теория Дарвина покажется вам проще пареной репы.

В этом заключался секрет успеха Дарвина. Если лишь очень немногие из нас прочитали «Происхождение видов» от корки до корки, то не потому, что книга непосильно трудна, а только потому, что мы схватываем суть вопроса и готовы согласиться со всем изложенным задолго до того, как продеремся сквозь бесконечные пояснения, иллюстрации и примеры, из которых книга преимущественно и состоит. Дарвин становится невыносимым, как невыносим человек, нудно упорствующий в доказательстве своей невиновности уже после вынесенного ему оправдания. Его заверяют в абсолютной безупречности его репутации и настойчиво предлагают покинуть здание суда, однако он не довольствуется приведенными свидетельствами, но заставляет выслушать все существующие на свете показания в его пользу. Дарвин обладал чудовищным трудолюбием. Его упорство, настойчивость и добросовестность граничат с пределом человеческих возможностей. Однако он ни разу не возвысился над фактами и не углубился в них до пределов, недоступных заурядному уму. Дарвин даже не сознавал, что как бы невзначай поднял вопрос величайшей важности, поскольку это не входило в его задачу. Ему было ясно, что он открыл процесс преобразования и изменения видов, объясняющий многое в естественной истории. Однако он не претендовал на объяснение всего хода естественной истории. Он назвал свое открытие Эволюцией, хотя в лучшем случае это была всего лишь псевдоэволюция, однако он представил ее лишь как один из способов эволюции, но отнюдь не как единственно возможный способ. Он не притязал на то, что данный способ эволюции исключает все прочие, и не заявлял, что это — основной способ. Хотя Дарвин показал, что многие примеры преобразований, которые ранее приписывались Функциональной Адаптации (ходячий термин в эволюционной теории Ламарка), действительно возникли или могли возникнуть вследствие Отбора Силой Обстоятельств, он никогда не провозглашал, что зачеркнул теорию Ламарка и опроверг понятие Функциональной Адаптации. Короче говоря, сам Дарвин был не дарвинистом, а просто честным натуралистом, добросовестно занятым своим делом. Его столь мало заботили теологические спекуляции, что он ни разу не разошелся с теистическим унитаризмом{67}, с которым был от рождения связан, и до последних дней оставался подкупающе простым, сговорчивым и легким в общении, каким он был с детства, когда его старшие домочадцы сомневались, выйдет ли из него хоть какой-нибудь толк.

Как мы бросились вниз по крутому склону

[…] Мы пребывали в состоянии интеллектуального опьянения от одной мысли о том, что мир создается без плана, цели, искусства и идеи — короче, без жизни. Мы совершенно не видели разницы между изменением видов посредством приспособления к окружающей среде и возникновением новых видов: мы просто бросали слово «вариации» или слова «игра природы» (вообразите ученого, который обозначает неизвестный фактор «игрой природы» вместо «икс»!) и предоставляли им «накапливаться» и тем объяснять разницу между какаду и гиппопотамом. Такие словечки давали нам свободу, нужную для ниспровержения виталистов и поклонников Библии: мы радостно доказывали им, что, если только мы допускаем существование некоей силы, пусть не мыслящей, и отводим достаточно времени в прошлом для ее бессознательного действия, эта сила вполне может создать мир, где каждую функцию выполняет превосходно приспособленный для нее орган, который, как нам естественно кажется, создан сознательным и мыслящим творцом. Не подозревая, до какой нелепости доводят наши аргументы, мы с азартом уверяли, что все книги в библиотеке Британского музея были бы написаны слово в слово так, как они и написаны, даже если бы ни один человек не обладал сознанием — точно так же, как деревья стоят в лесу и творят дивные дива, ничего при этом не сознавая.

Между тем дарвинисты не только у деревьев отнимали сознание. Вейсман уверял, будто цыпленок автоматически вылупливается из яйца и будто бабочка, улетающая, чтобы спастись от подстерегающей ее ящерицы, «вовсе не стремится избежать смерти и ничего о ней не знает», а просто выработанный ею летательный инстинкт быстро реагирует на зрительное восприятие движений ящерицы. Согласно его аргументации, бабочка немедленно снова опускается на цветок, тем доказывая, что она ничего не извлекает из своего опыта и, заключает Вейсман, следовательно, не сознает своих поступков.

Вряд ли такой пристальный наблюдатель мог не заметить, что, когда кошка прыгает на обеденный стол и ее прогоняют, она немедленно прыгает обратно и в конце концов устанавливает свое право на это место, так как вы начинаете ясно понимать: даже если вы ее сто раз прогоните, она все равно прыгнет в сто первый раз, и поэтому, ежели вы дорожите ее обществом во время обеда, придется согласиться на ее условия. Если Вейсман думал, что кошки действуют бессознательно, непреднамеренно, значит, он ничего не понимал в кошках. Но последовательный вейсманист (буде такие еще сохранились с тех безумных времен), вероятно, заявил бы, что я тоже сейчас не вполне сознаю свои поступки, что я пишу эти строки, а вы их читаете под воздействием Отбора Силой Обстоятельств, что я не более смыслю в биологии, чем бабочка — в аппетите ящерицы, и доказательство бессознательности моих действий усмотрел бы в том, что, если я уже сорок лет пишу на этот манер, не производя, насколько можно судить, ни малейшего воздействия на общественное мнение, я, по-видимому, неспособен извлекать уроки из опыта и, следовательно, не отличаюсь от автомата. И такая вейсманистская аргументация безусловно тоже была бы бессознательным результатом Отбора Силой Обстоятельств.

Дарвинизм не опровергнут окончательно

[…] Когда вам заявляют, что вы не что иное, как продукт Отбора Силой Обстоятельств, вам нелегко начисто опровергнуть данное утверждение, однако голос глубочайшей внутренней убежденности заставляет вас назвать вашего обидчика лжецом и невеждой. Хотя это и вполне согласуется с британскими манерами, но все же звучит недостаточно вежливо, поэтому благоразумнее в качестве контрдовода заверить вашего оппонента в том, что на самом деле вы — продукт эволюции по Ламарку (прежде именовавшейся Функциональной Адаптацией, а ныне — Творческой Эволюцией), и предложить ему опровергнуть ваше убеждение. Это окажется для него в равной степени невозможным, ибо и та и другая сила, если только дать им волю, предположительно способны создать все что угодно. Можно также предложить ему попытаться благополучно пересечь Оксфорд-стрит{68} без какого-либо участия сознания, полагаясь исключительно на действие рефлекса самосохранения, обусловленного зрительными и слуховыми ощущениями (в данном случае восприятием движущихся автомобилей, подающих гудки). Если, однако, он примет ваш вызов и возьмется представить любое из ваших действий как следствие Отбора Силой Обстоятельств, подходящее к случаю объяснение всегда найдется, лишь бы ваш антагонист со своей стороны был достаточно осведомлен и находчив. Дарвин в спорах со своими противниками приводил целый ряд таких объяснений.

Всякий, кто действительно хочет верить в то, что вселенная создана в результате Отбора Силой Обстоятельств (действовавшего вкупе с силой, столь же слепой и бездушной, каковой, по нашим представлениям, является магнетизм), способен логически оправдать свою веру, стоит только ему постараться.

Три слепые мыши

[…] Вейсман, однако, начал свое исследование в точности как мясникова жена в старой прибаутке. Он достал множество мышей и всем отрезал хвосты. Затем он стал ждать, будут ли хвосты у их новорожденных детей. Хвосты появились, как это заранее мог бы сказать Батлер. Тогда он отрезал хвосты у детей и стал ждать, не будут ли хвосты у внуков хотя бы немного короче. И этого не получилось, как я мог бы сказать ему это заранее. Тогда, с тем терпением и прилежанием, которым так гордятся мужи науки, он отрезал хвосты у внуков и стал уповать на рождение короткохвостых правнуков. Но и их хвосты были в полном порядке, как любой дурак мог бы сказать ему заранее. Из этого Вейсман с полной серьезностью извлек вывод, что приобретенные привычки не наследуются. Между тем Вейсман вовсе не был прирожденным глупцом. Он отличался исключительным умом и трудолюбием; в его сознании были даже ростки философии и воображения, которые дарвинизм уничтожил, приняв их за сорняки.

Как же в таком случае он не понял, что его опыты не имеют никакого отношения к привычкам и наследуемым признакам? Как же он пренебрег тем явным обстоятельством, что подобные эксперименты были испробованы в Китае на бесчисленных поколениях китайских женщин, которые, однако, несмотря на все опыты с их ногами, упорно продолжали рождаться с ногами нормального размера? Он не мог не знать о забинтованных ногах китаянок, даже если и не знал о подрезанных ушах и хвостах, о калечении, которому любители собак и лошадей подвергают многочисленные поколения несчастных животных. Такая поразительная слепота и глупость со стороны человека отнюдь не глупого и не слепого наглядно иллюстрирует, какое воздействие Дарвин совершенно неумышленно оказывал на своих последователей, сосредоточивая их внимание исключительно на роли, какую в эволюции играют случайность и насилие, действующие с полным пренебрежением к страданию и чувствительности.

Виталистическая концепция эволюции показала бы Вейсману, что биологические проблемы не решаются нападением на мышей. Наука требовала иных видов эксперимента. Прежде всего ему следовало обзавестись мышами, чувствительными к гипнотическому внушению. Ему следовало далее внушить им, что исчезновение хвоста есть непременное условие существования мышиного племени — подобное убеждение какой-то давний и забытый экспериментатор, по-видимому, внушил котам на острове Мэн{69}. Заставив мышей изо всех сил стремиться к утрате хвостов, он вскоре бы узрел несколько мышей с короткими хвостами, а то и без таковых. Другие мыши признали бы их за высшие существа, имеющие особые права при разделе пищи и при половой селекции. В конце концов бесхвостые мыши стали бы предавать казни хвостатых мышей, и чудо бы свершилось.

Предлагаемый эксперимент вызывает возражения не потому, что он слишком смешон и его нельзя принять всерьез, и не потому, что он недостаточно жесток для должного воздействия на толпу, но просто потому, что он неосуществим. Экспериментатору, человеку, недоступно сознание мыши. Однако именно такими бесполезными глупостями занимаются во всех лабораториях. Последователи Дарвина об этом не думали. По их понятию, исследовать — значит подражать Природе, совершая грубые, бессмысленные жестокости, и наблюдать их действие с парализующим волю фатализмом, запрещающим делать малейшее усилие и действовать умом, а не руками и ножами. Они-то и установили гнусную традицию, которая считает предателем науки всякого, кто не решается на жестокость, подобную жестокости Отбора Силой Обстоятельств. Эксперимент Вейсмана с мышами был совершенно шуточкой по сравнению с гнусностями других дарвинистов, пытавшихся доказать, что нанесенные увечья не наследуются. Без сомнения, худшие из этих экспериментов вообще были не экспериментами, а жестокостями, совершаемыми жестокими людьми, которых к лаборатории привлекала только надежда найти в ней дозволенный законом и модным суеверием приют для любителей смертных мук и пыток. Однако нет причин подозревать Вейсмана в садизме. Отрезать хвосты нескольким поколениям мышей — право же, в этом нет того сладострастного наслаждения, какое могло бы соблазнить Нерона{70} от науки. Это просто доказательство слепоты, по крайней мере на один глаз; другой же глаз, гуманный и разумный, выбил Вейсману Дарвин. Он же выбил глаза и парализовал волю многих других. С тех пор как он объявил Отбор Силой Обстоятельств создателем и правителем вселенной, научный мир превратился в подлинную цитадель глупости и жестокости. Как ни страшен был племенной бог евреев, никто не проходил мимо самых жалких и гадких его святилищ с таким содроганием, с каким мы теперь проходим мимо физиологической лаборатории. Если мы боялись священнослужителя и не верили ему, мы, во всяком случае, могли спастись от него в собственном доме. Но как спастись от современного хирурга-дарвиниста, которого мы боимся в десять раз больше и которому доверяем в десять раз меньше? В его-то руки все мы от времени до времени попадаем и ничего поделать не можем. Как бы низко ни пала религия, она по крайней мере на словах провозглашала, что пред судилищем общего Отца нашего все мы братья, все мы равны и каждый из нас несет в себе частицу других. Дарвинизм провозгласил, что все отношения людей сводятся к соревнованию и соперничеству в борьбе за выживание и что всякое проявление милосердия и товарищества — всего лишь вредная и никчемная попытка ослабить ожесточенность схватки и помешать усилиям природы, устраняющей неполноценных особей. Но даже в обществах социалистов, стремившихся единственно к вытеснению закона конкуренции законом братства и к следованию по пути дальновидной мудрости вместо неудержимого падения по наклонной плоскости, — даже в таких обществах меня явно считали святотатцем и сентиментальным невеждой, поскольку я никогда не скрывал ни своего интеллектуального презрения к ограниченной примитивности и поверхностной логике повсеместно проповедуемой неодарвинистской доктрины, ни природного отвращения к ее отвратительной бесчеловечности.

Важнейший из факторов — самоконтроль

Поскольку неодарвинизм не оставляет места для свободной воли и какой бы то ни было воли вообще, неодарвинисты не признают и того, что можно назвать самоконтролем. Между тем самоконтроль — как раз то самое свойство, развитие которого постоянно и неизбежно должно было сопутствовать выживанию в длительном процессе Отбора Силой Обстоятельств. Свойства, не поддающиеся контролю, могут получать развитие в определенные моменты при определенных условиях. Возьмем, к примеру, необузданных обжор, всецело поглощенных добычей пропитания: в голодные времена усиленные поиски пищи разовьют в них выносливость и сноровку, но даже самая большая удачливость не позволит им страдать от переедания. Однако при перемене обстоятельств, которая повлечет за собой изобилие пищи, они погибнут. Мы видим, что именно то же самое происходит довольно часто тогда, когда, благодаря случайности нашего коммерческого состязания, миллионером становится вчерашний бедняк, человек, полный здоровья и жизненных сил, — и немедля принимается рыть себе могилу собственными зубами. Однако человек, владеющий собой, способен устоять перед любыми переменами обстоятельств, так как приспособляется к ним: он не станет ни наедаться до отвала, ни морить себя голодом, а ограничится необходимым. Что же такое самоконтроль? Не что иное, как высокоразвитый жизненный здравый смысл, сдерживающий и регулирующий стихийные влечения. Не заметить самого существования этого верховного проявления сознания, не сделать очевидного умозаключения, что именно это качество отличает наиболее жизнеспособных особей, — короче говоря, оставить без внимания высшее моральное притязание, на которое может претендовать Эволюционный Отбор, — все эти упущения, совершенные неодарвинистами во имя Естественного Отбора, доказали самым прискорбным образом, сколь плохо они владеют собственным предметом, сколь бездарны они в своем неумении наблюдать силы, на которые воздействует Естественный Отбор.

Гуманитарии и проблема зла

Поначалу гуманитарии, вместе со всеми другими, были очарованы дарвинизмом. Ранее их ставила в тупик жестокость законов природы и проблема зла. Они были шеллианцами, не будучи атеистами. По сравнению с атеистами верующие в бога находились в крайне невыгодном положении. Они не могли отрицать наличия в природе фактов столь жестокого свойства, что приписывать их воле всевышнего означало представлять бога неким злобным демоном. Для любого пытливого ума вера в бога была невозможна без веры в дьявола. Дьявол, намалеванный в образе рогатого существа с хвостом и обитающий в царстве кипящей серы, представлял собой немыслимо вздорное пугало, однако приписываемое ему зло было вполне реальным. Атеисты заявляли, что творец зла, коль скоро он существует, должен обладать могуществом, достаточным для того, чтобы одолеть самого бога, иначе бог несет моральную ответственность за все то, что он позволяет совершать дьяволу. Оба умозаключения не избавляли нас от чувства отчаяния, вызванного необходимостью приписывать все жестокости природы некоей злой воле, и мы не могли согласовать их со своими порывами к справедливости, милосердию и более достойной жизни.

Открытие Отбора Силой Обстоятельств явилось истинным спасением: в свете данной теории все природные трагедии (казалось бы, тщательно инсценированные искусным режиссером) предстали нагромождением простых случайностей, лишенных какого-либо морального обоснования. Вообразите себе инопланетного жителя, который наблюдает со звездных высот крушение двух переполненных поездов, мчащихся навстречу друг другу на полной скорости. Мог ли бы он подумать, что катастрофа, обусловленная целенаправленным действием безупречно отлаженных механизмов, вверенных бдительным и знающим рукам, была совершенно непреднамеренной? Не посчитал ли бы он стрелочников дьяволами?

Так вот, теория Отбора Силой Обстоятельств — преимущественно теория коллизий, теория, утверждающая невинность по видимости продуманного сатанинского плана. Этим Дарвин не только расширил кругозор гуманитариев, но и принес им неслыханное облегчение. Он нанес удар по всемогуществу бога, но вместе с тем снял с него чудовищное обвинение в беспощадной жестокости. Впрочем, утешение было слабым, и углубленное размышление должно было показать, что есть нечто пострашнее всех мыслимых и немыслимых богодьяволов: это скопище слепых, глухих, немых, бездушных и нелепых сил, которые могут разить подобно дереву, поваленному бурей, или подобно молнии, ударяющей в само дерево. Однако тогда гуманитариям это не приходило в голову: люди не склонны особенно задумываться, когда их вдруг охватывает счастливое чувство свободы от невыносимо тягостного положения. Подобно паломнику Беньяна, они не замечали ни калитки, ни Пучины Уныния, ни Замка Отчаяния, но, завидев в конце тропинки сияющий свет, радостно бросились к нему под флагом Эволюционистов.

И они были правы, так как проблема зла легко разрешается в свете Творческой Эволюции. Если движущая сила эволюции всемогуща только в том смысле, что не кладет предела высшим своим достижениям, а пока что вынуждена бороться с косной материей и обстоятельствами методом проб и ошибок, тогда мир должен изобиловать неудачными ее экспериментами. Христос мог повстречать тигра или верховного жреца рука об руку с римским прокуратором — и потерпеть поражение в борьбе за существование. Гений Моцарта мог торжествовать над всеми императорами и архиепископами, но его легкие могли стать жертвой пагубного воздействия нездорового воздуха. Если все наши бедствия вызваны либо простыми случайностями, либо собственными промахами, в которых мы искренне раскаиваемся, тогда в жестокостях природы вовсе нет злого умысла и проблемы зла в викторианском понимании вообще не существует. Женщины признавались, что стали атеистками, увидев, как в колыбели по воле господа умирают от удушья их дети. Таким теологическим воззрениям приходят на смену теологические взгляды Бланко Поснета{71}, который говорил: «Бог сотворил круп в самом начале, так я думаю. Тогда он не мог придумать ничего лучшего, но когда оказалось, что это у него неладно получается, он сотворил вас и меня, чтобы бороться с крупом вместо него».

Как одна черта теории Дарвина породнила весь мир

Интерес гуманитариев к дарвинизму был вызван еще и тем обстоятельством, что Дарвин не ограничился собственным вкладом в теорию эволюции, но и популяризировал ее в целом. Ведь общее понятие эволюции обеспечивает гуманитариев научной опорой, поскольку оно устанавливает изначальное равенство всех живых существ. Таким образом, убийство животного стало казаться преступлением, равносильным убийству человека. Иногда возникает необходимость убивать людей, и всегда есть необходимость убивать тигров, однако понятие эволюции стерло давно принятое теоретически различие между двумя этими действиями. Ребенком я не только не поверил, когда мне сказали, будто наш попугай и наша собака, с которыми я находился в самых дружеских отношениях, не обладают разумом и потому стоят ниже меня, но совершенно сознательно пришел к выводу о ложности этого различия. А впоследствии, когда мне впервые изложили взгляды Дарвина, я тотчас же заявил, что еще десяти лет от роду самостоятельно сделал все эти открытия. Я полагаю и сейчас, что моя юношеская самоуверенность была вполне оправданной, ибо осознание родства всех форм жизни — единственное условие, необходимое для превращения теории эволюции из теории допустимой в теорию вдохновляющую. Святой Антоний{72}, проповедуя рыбам, стоял на пороге этой теории — так же, как и святой Франциск{73}, называвший птиц своими меньшими братьями. Наше тщеславие и снобизм заставляют нас в боге видеть подобие земного монарха и высшее воплощение классовых привилегий, а не оплот всеобщего равенства; это и привело нас к упорной вере, что бог ставит нас в особые условия — в стороне и над всеми прочими живыми существами. Теория эволюции лишила нас самодовольства, и, хотя мы все еще способны придавить блоху ногтем без малейших угрызений совести, нам, во всяком случае, теперь достоверно известно, что мы расправляемся с собственным родичем. Блоха, несомненно, возмущается, когда существо, созданное всемогущей Всевышней Блохой специально для прокорма блох, уничтожает прыгающего господина мира одним движением своего чудовищного ногтя; однако ни единой блохе не взбредет в голову утверждать, будто, умерщвляя блох, человек использует способ Естественного Отбора, который в конце концов приведет к появлению блохи столь резвой, что человеку за ней попросту не угнаться, и столь закаленной, что персидский порошок причинит ей меньше вреда, чем стрихнин слону.

Чем Дарвин угодил социалистам

Гуманитарии не были одиноки среди восторженных поклонников Дарвина. Ему выпала удача угодить каждому, кто преследовал свои особые цели. Милитаристы преисполнились не меньшего энтузиазма, чем гуманисты; социалисты ликовали вместе с капиталистами. Социалистов особенно воодушевил упор, сделанный Дарвином на влияние среды. Вероятно, самым мощным моральным оплотом капитализма была вера в действенность личной добродетели. Роберт Оуэн{74} отчаянно старался убедить Англию в том, что ее преступники, пьяницы, ее тупые и невежественные толпы — всего лишь несчастные жертвы обстоятельств; если же, как он считал, установить открытый им новый, основанный на морали мировой правопорядок, то окажется, что в новом, просвещенном и добродетельном обществе массы также приобщатся к образованию и исправятся в моральном отношении. Стандартное возражение Оуэну содержится в книге Льюиса «Жизнь Гете»{75}. Льюис высмеял идею, будто характером управляют обстоятельства, и для доказательства от противного отметил разнообразие характеров в правящем зажиточном сословии. Едва ли можно представить себе более удручающее сходство обстоятельств и большее однообразие обстановки, чем в английских поместьях, где подрастают и получают первоначальное воспитание те, кого вскоре посылают в Итон{76} или Харроу{77}, а затем в Оксфорд или Кембридж, где формируются их умы и складываются их привычки. Подобная рутина должна была бы разрушать индивидуальность, как ничто другое. Однако она порождает личности столь разного склада, как Питт{78} и Фокс{79}, лорд Рассел{80} и лорд Керзон{81}, мистер Уинстон Черчилль{82} и лорд Роберт Сесил{83}. Определяющее значение врожденного характера для судьбы личности было подкреплено ламаркистскими воззрениями на эволюцию.

Если желания и старания жирафы могут помочь ей удлинить свою шею, то человек способен развить свой характер точно таким же образом. Старинная поговорка «Где хотенье, там и уменье» сжато выражает самую суть ламаркистской теории Функциональной Адаптации. Сильным она внушала бодрящую мораль, а слабым доставляла благочестивое утешение. Самым действенным отпором социалисту был совет переделать себя, прежде чем браться переделывать общество. А как приятно было богатым ощущать, что всеми своими богатствами они обязаны превосходству собственного характера! Промышленный переворот превратил множество алчных тупиц в чудовищных богатеев. Ничто не могло быть более опасным и унизительным для них, чем мысль о том, что золотой дождь пролился в их карманы по чистой случайности — так же, как дождь, падающий одинаково на правых и виноватых. Ничто не льстило им и не поддерживало их дух больше, чем мысль о том, что богатство есть лишь награда за их добродетели.

Дарвинизм начисто лишил их сознания собственной праведности. Он более чем подтвердил взгляды Роберта Оуэна, так как открыл в среде, окружающей живой организм, влияние более значительное, нежели то, на которое указывал Оуэн. Дарвинизм позволял заключить, что беспризорники порождены трущобами, а не первородным грехом, и что к проституции толкает нищенский заработок, а не женская похотливость. Дарвинизм поставил авторитет науки на сторону социалиста, заявлявшего, что, прежде чем переделывать себя, сначала следует переделать общество. Дарвинизм внушал, что для здоровья и благополучия граждан необходимы здоровые и благополучные города, которые могут существовать только в здоровых и благополучных странах. Дарвинизм приводил к заключению, что личность, остающаяся равнодушной к благосостоянию своих ближних, едва только удовлетворены ее собственные потребности, принадлежит к разрушительному типу, а личность, глубоко заинтересованная во всем, что ее окружает, относится к типу, единственно возможному в обществе устойчивого процветания. Несмотря на скромность достигнутого Робертом Оуэном улучшения жизненных условий детей, занятых на фабрике, оно вызвало поразительные перемены в их облике. Однако эти перемены, как показал дарвинизм, совершенно несопоставимы с переменами (не только отдельных представителей вида, но и целых видов), которые предположительно могут возникнуть под воздействием среды, влияющей на индивидов без какого-либо сознательного вмешательства личной воли. Неудивительно, что социалисты встретили Дарвина с распростертыми объятиями. […]

Почему Дарвин угодил и стяжателям

Но почему же в таком случае Дарвин имел успех у капиталистов? Не так-то легко в равной степени угодить сразу двум враждующим лагерям, когда одна сторона проповедует классовую войну, а другая ведет эту войну самым решительным образом. Объяснением служит то обстоятельство, что дарвинизм настолько тесно связан с капитализмом, что Маркс рассматривал его скорее как продукт экономического развития, нежели биологическую теорию. Свой основной постулат о разрыве между ростом населения и не успевающим за ним ростом средств существования Дарвин заимствовал из трактата Мальтуса о народонаселении. Другой постулат Дарвина о практически неограниченном периоде времени, в течение которого указанный разрыв мог проявлять свое действие, принадлежит ученому-геологу Лайелю{84}. Лайель доказал нелепость подсчета возраста Земли, произведенного архиепископом Ашером{85}, который, основываясь на Библии, определил, что сотворение мира имело место в 4004 году до рождества Христова. […]

Едва ли можно преувеличить роль, сыгранную в приготовлении к дарвинизму широкой политической и клерикальной пропагандой и ее моральными установками. Насколько можно судить, никогда ранее в истории не предпринималось столь откровенной, щедро субсидированной и политически организованной попытки убедить человечество в том, что и прогресс, и процветание, и спасение — личное и общественное — всецело зависят от безудержной погони за деньгами и благами, от подавления и оттеснения сильными слабых, от свободной торговли (фритредерства), от свободного контракта, от свободной конкуренции, от свободы нации, от Laisser-faire{86} — короче говоря, от возможности безнаказанно разделываться со своими собратьями. При этом всякое вмешательство со стороны правительства, всякая организованная деятельность (исключая деятельность полиции, призванной оборонять официально узаконенное мошенничество от кулачной расправы), всякая попытка внести в промышленный хаос какую-либо сознательно осмысленную цель и продуманную направленность объявлялись «противоречащими законам политической экономии». Даже пролетарии были настроены сочувственно, хотя для них свобода при капитализме означала только порабощение заработной платой без законных ограничений, свойственных рабству в собственном смысле слова. Человечеству, уставшему от правительств, монархов, священнослужителей и самого Провидения, хотелось узнать, каким образом Природа собственными силами устроит все дела, если только ей не мешать. И это человечеству пришлось испытать на горьком опыте в те времена, когда одно поколение ланкаширских промышленников выжало все жизненные соки из девяти поколений закабаленных трудящихся. Зато неудержимо богатевшие владельцы фабрик были вполне удовлетворены положением дел, и Бастиа{87} весьма убедительно доказал, что Экономические Гармонии, установленные самой Природой, разрешат все социальные проблемы гораздо успешнее всех теократий, аристократий и толпократий, ибо подлинным deus ex machina{88} является неограниченная плутократия.

Поэзия и непорочность материализма

Итак, звезды небесные горой стояли за Дарвина. Каждая фракция извлекала из его учения свою мораль, каждый широко мыслящий ненавистник фракций возлагал на него свои надежды, каждый праведник им воодушевлялся. Мысль о том, что столь блистательное откровение может нанести какой-то ущерб, представлялась не менее вздорной, чем опасения, что атеисты растащат у нас все столовые ложки. Физики пошли еще дальше, чем дарвинисты. Тиндаль{89} объявил, что видит в материи потенциальные возможности всех форм жизни, и со свойственной ирландцу живописной наглядностью представил нам картину мира, состоящего из намагниченных атомов, каждый из которых обладает положительным и отрицательным зарядом, а все они в совокупности силой притяжения и отталкивания образуют кристаллически упорядоченную структуру. […]

Однако физикам не удалось внушить свое умозрительное видение мира тем, для кого оно не было врожденным. Для широкой публики оно свелось к простому материализму, а материализм утратил непорочность и присущее ему достоинство, когда вступил в союз с восстанием дарвинистов против фетишизации Библии. Две эти силы разрушили религию до основания: Бога, причинную обусловленность, веру в Мировую Гармонию, какой бы непостижимой ни представлялась нам эта гармония, и сознание моральной ответственности как составную часть этой гармонии, — все это вытеснила полная и абсолютная пустота. Снова воцарился хаос. Поначалу у нас закружилась голова: мы испытывали радостное чувство свободы, подобно сбежавшему из дому ребенку, прежде чем его станут мучить голод и страх одиночества. В ту пору мы совсем не желали возвращения нашего Бога. Мы напечатали стихи, в которых Блейк{90} — самый религиозный из наших великих поэтов — называл антропоморфного идола Старым Никтоженькой и обрушился на него с такими насмешками, о которых типографские пробелы на месте изъятых строк предоставляли только догадываться. Мы вдоволь наслушались пасторов, монотонно твердивших, что Бог поругаем не бывает{91}, и поэтому нам казалось в высшей степени забавным вдоволь ругать Бога, зная, что нам за это ничего не будет. Нам не приходило в голову, что Старый Никтоженька мог быть не просто смехотворной фикцией, а всего-навсего самозванцем и что разоблачение коперниковского Небесного Капитана отнюдь не доказывало отсутствия истинного капитана, но скорее доказало обратное — а именно то, что Никтоженька никого не мог бы олицетворять, не будь пригодного для олицетворения Ктоженьки. Мы проглядели значение того, что в последний раз, когда «Бога прогнали вилами», люди столь различные, как Вольтер и Робеспьер{92}, заявили — один, что, если Бог не существует, его следовало бы выдумать{93}, а другой — что после честной попытки обходиться в политической практике без Верховного Существа подобная гипотеза была признана совершенно необходимой, причем замена ее Богиней Разума оказалась недостаточной. Если два эти высказывания и цитировались, то расценивались как шутки по адресу Никтоженьки. В то время мы были совершенно уверены в том, что, какой бы закоренелый религиозный предрассудок ни смущал умы в восемнадцатом столетии, мы, дарвинисты, прекрасно можем обходиться без Бога, от которого, казалось, избавились навсегда.

Наместники царя царей

В политике гораздо легче обойтись без бога, чем без его заместителей, приспешников и священнослужителей. Католики исполняют повеления своих исповедников, не беспокоя бога, а роялисты довольствуются поклонением королю и слушаются полицейских. Однако самые надежные помощники бога часто обходятся без верительных грамот. Такими бывают и откровенные атеисты, если они люди чести и высоких гражданских чувств. Старая вера, будто богу ужас как важно, считает ли человек себя атеистом, и будто степень важности этого для него можно установить с точностью до одной сотой, в корне ошибочна: божественность заключена в чести и гражданских чувствах, а не в бормотании credo или non credo[3]. Последствия этой ошибки стали явны, когда пригодность человека к высокому посту начали определять не по чести его и гражданским чувствам, а по его ответу на вопрос, верит ли он в Никтоженьку. Если он отвечал «да», его считали пригодным занять пост премьер-министра, хотя, по меткому слову самого одаренного из наших духовных лиц, на самом деле его ответ означал только, что он либо дурак, либо ханжа, либо лгун. Дарвин отменил такой способ проверки; но когда от него необдуманно отказались, выяснилось, что никакой проверки вообще нет и двери к высокому посту открыты для того, кто равнодушен к богу по той простой причине, что он равнодушен ко всему, кроме своих деловых интересов, вожделений и честолюбивых планов. В результате люди, которые ничуть не пострадали, когда пришел конец правлению Никтоженьки, очень пострадали, когда ими стали править дураки и авантюристически настроенные финансисты. Они забыли не только бога, но и Голдсмита, хотя он предупреждал их, что «никнет честь, коль деньги верх берут»{94}.

Помощники бога — не всегда люди, иногда ему помогают юридические и парламентарные фикции. До Дарвина государственных деятелей и публицистов сдерживала не столько мысль о боге, сколько сотворенный ими образ Общественного Мнения, которое якобы не потерпит никаких посягательств на политические свободы Британии. Излюбленной их формулой была такая: любое правительство, которое решится на то или другое нарушение той или другой политической свободы, будет свергнуто через неделю. Они лгали: такого общественного мнения не было, как не было предела долготерпению публики; теоретически она была готова к чему угодно, а практически могла вынести любое бедствие, кроме немедленной и внезапной голодухи. Но именно беспомощность народа принудила его правителей делать вид, что он не беспомощен и что именно решительное и непобедимое сопротивление народа любым шуткам с Великой хартией вольностей{95}, Петицией о правах{96} и прерогативами Парламента делает их невозможными. Во всех этих фантазиях реальным было только божественное ощущение жизненной необходимости свободы для развития человечества. Поэтому, как ни трудно было добиться политической реформы, раз пройдя через парламент, она не оставляла никакой надежды даже самым пылким своим противникам на отмену ее правительством, на возможность подкупить его и заставить от нее отказаться. От Уолпола{97} до Кембл-Баннермана{98} не было премьер-министра, которому пришли бы в голову такие позорные сделки, хотя, разумеется, очень многие из них не жалели денег на совращение членов парламентов, с тем, чтобы заставить их голосовать за свою политику.

Политический оппортунизм in excelsis[4]

Как только Никтоженька был сражен Дарвином, Общественное Мнение — как представительство божества — утратило свою святость. Политические деятели Британии больше не говорили себе, что публика никогда не потерпит того-то и никогда не смирится с тем-то. Теперь они могли позволить себе простое рассуждение: во имя своих личных целей, для осуществления которых им достаточно усидеть десять или двадцать лет на правительственной скамье в парламенте, они смогут обманом или силой внушить публике доверие и повиновение любым мерам, выгодным власть предержащим. При этом любой фальшивый предлог для шага, не встречающего одобрения, окажется пригодным, если только удастся выдавать этот предлог за достойный хотя бы неделю-другую, после чего все условия и обстоятельства дела будут прочно забыты. Народные массы, обученные дурно или вообще не обученные, в целом столь невежественны и неспособны к политике, что все это само по себе не имело бы существенного значения, поскольку государственного деятеля, говорящего чистую правду, просто-напросто не поймут. Более того, полагаясь на собственную мудрость, он собьет народ с пути истинного гораздо скорее, чем в том случае, если будет руководствоваться его слепотой. В данном отношении лучший демагог ничем не отличается от худшего, так как оба в своих доказательствах используют реквизит мелодрамы. И все же существует громадная разница между политиком, который обманным путем принуждает людей поверить, будто он призван исполнять господнюю волю, в каком бы обличье она ему ни являлась, и политиком, который обманом подстрекает их содействовать его личным амбициям и коммерческим интересам плутократов, владеющих средствами печати и поддерживающих его на взаимовыгодных условиях. Почти такая же разница существует между политиком, который либо действует с наивной инстинктивностью, либо отдает себе отчет в собственном тщеславии, эгоизме, разборчивости, — и политиком, действующим так из принципа, — политиком, полагающим, что, если каждый пойдет по пути наименьшего сопротивления, результатом явится выживание сильнейших в мире абсолютной гармонии. Создайте только атмосферу фатализма из принципа, и тогда личные мнения или предубеждения отдельных государственных деятелей мало что будут значить. Кайзер, с благочестивым пылом читающий проповеди; премьер-министр, вдохновенно поющий гимны; генерал, фанатический приверженец римской католической церкви, — могут стоять у кормила политики. Но сущность самой политики будет заключаться в беспринципном оппортунизме, и судьба всех правительств будет походить на судьбу бродяги, идущего по свету куда глаза глядят и кончающего нищенством, или же на катящийся вниз по горному склону камень, который вызывает обвал лавины: их путь — путь к гибели.

Предательство западной цивилизации

За шестьдесят лет со времени опубликования книги Дарвина «Происхождение видов» политический оппортунизм навлек на парламенты презрение, вызвал широкий призыв к прямому действию путем организации промышленников (синдикализм) и разрушил самое сердце Европы в пароксизме хронического страха одной державы перед другой. Эта трусость неверующих, замаскированная бравадой военного патриотизма, преследовала державы подобно неотвязному кошмару со времени франко-прусской войны 1870 – 1871 годов. Стойкий космополитический либерализм прежних лет улетучился без следа. В настоящий момент все последние директивы для правительственного аппарата наших колоний содержат, как нечто само собой разумеющееся, запрет на любые критические высказывания, устные или письменные, по адресу должностных лиц — запрет, который шокировал бы Георга III{99} и исторг бы либеральные памфлеты у Екатерины II. Правители страшатся жителей пригорода и хозяев поместий, военных, дипломатов и финансистов, печати и профсоюзов — то есть всего самого эфемерного на свете, за исключением революций, которые они сами же провоцируют. Они страшились бы и революций, не будь они слишком невежественны в истории общества для того, чтобы по-настоящему осознать всю рискованность своего положения. Они не отдают себе отчета в том, что всякая революция до последнего дня кажется безнадежной и немыслимой и только тогда и происходит, когда начинает казаться безнадежной и немыслимой, ибо правители, считающие революцию возможной, заранее принимают меры и пытаются предотвратить ее, управляя разумно. Это приводит к положению, фатальному для политической стабильности, а именно: действия политиков совершенно непредсказуемы. Живи они в страхе господнем, тогда можно было бы прийти к общему согласию относительно того, что́ бог осуждает, и европейские страны могли бы поладить между собой на этой основе. Но теперешняя паника, когда премьер-министры едва дотягивают до очередных выборов, либо азартно воюя, либо отступая перед всяким, кто погрозит им кулаком, делает европейскую цивилизацию немыслимой. […]

Франция и Англия, через посредство дипломатических чиновников, заключили оборонительный пакт с Россией против Германии. Германия объединилась против них с Турцией, и два этих противоестественных и самоубийственных союза обрушились друг на друга в войне более истребительной, чем любая война со времен Тимура{100}, тогда как Соединенные Штаты оставались в стороне до тех пор, пока это было возможно, а прочие государства либо тоже не вмешивались, либо вступали в схватку под действием силы, подкупа — или же собственных расчетов, сосредоточенных на том, где им посчастливится урвать самый жирный кусок. В настоящий момент, несмотря на то, что непосредственные военные действия прекращены вследствие капитуляции Германии на условиях, о которых победители не смели и помышлять, блокада и голод, вынудившие ее к капитуляции, и сейчас остаются средством массового уничтожения. Между тем совершенно ясно, что, если побежденные страдают от голода, победителей ждет та же участь, и Европа покончит со своими проблемами, придя не к банкротству, но к полному хаосу.

Все происшедшее, как легко заметить, было по существу своему ничем иным, как идиотической попыткой каждой из воюющих сторон гарантировать себе преимущества сильнейшего в процессе Отбора Силой Обстоятельств. Если бы западные державы избрали своих союзников в духе Ламарка — разумно, с ясным пониманием цели и всех жизненно важных задач, ad majorem Dei gloriam[5]{101}, как те, кого Ницше называл хорошими европейцами, тогда для создания Лиги Наций не потребовалось бы войны. Но поскольку ожидаемый отбор опирался на сугубо оппортунистическую основу и заключенные альянсы являлись очевидными браками по расчету, последствия их оказались не просто хуже худого, но превзошли все наихудшие опасения самого безнадежного пессимиста.

Отбор силой обстоятельств в финансовой области

Чем все это кончится, нам еще не известно. Когда лошадь падает жертвой волчьей стаи, хищники дерутся между собой за лучшие куски. Люди ничем не лучше волков, если не обладают более высокими принципами: таким образом, можно сказать, что заключение перемирия вовсе не избавило нас от войны. Цареубийцы из сербов толкнули нас в пучину мировой войны точно так же, как какой-нибудь предприимчивый землекоп потехи ради натравливает щенка на кошку. Спасти нас от продолжения этой войны не в состоянии даже высокий престиж Лиги Наций со всеми ее победоносными легионами, хотя нам все это до смерти надоело и давно стало ясно, что ничего подобного нельзя было допускать. Но мы беспомощны перед грифельной доской, испещренной цифрами национальных долгов. Ввиду отсутствия наличных денег для их оплаты (они ведь ушли на военные нужды, так как для войны требуются деньги на бочку), самым разумным было бы стереть эти цифры с доски и позволить пререкающимся сторонам распределить все доступные им средства согласно здравому коммунистическому принципу: от каждого по способностям, каждому по потребностям. Но у нас больше не осталось принципов, даже коммерческих: ибо коммерсант, который пребывает в здравом уме и твердой памяти, не допустит, чтобы Франция платила за свои неудачи в защите собственной территории, а Германия избежала расплаты за успешное вторжение на землю противника. Германия, не располагающая необходимыми для этого средствами, для изыскания таковых в условиях нашей коммерческой системы либо должна снова соперничать с Англией и Францией, чего ни одна из этих стран не допустит, либо должна делать займы у Англии, Америки или той же Франции. При таком решении вопроса кредиторы-победители будут платить друг другу в ожидании возврата собственных денег до тех пор, пока Германия не окрепнет настолько, чтобы отказаться от платы, или же не будет безнадежно разорена. Тем временем в России, где люди довольствуются сушеной воблой и тарелкой пустых щей в день, власть перешла в руки деятелей, которые понимают, что материалистический коммунизм во всех отношениях эффективнее материалистического нигилизма, и, в стремлении к разумному и упорядоченному развитию, самым решительным образом практикуют Преднамеренный Отбор трудящихся, более способных, по их убеждению, к выживанию, чем тунеядцы. Между тем западные державы плывут по течению, сталкиваясь друг с другом и разбиваясь о прибрежные скалы, в надежде на то, что такой путь сам собой приведет к Естественному Отбору наиболее приспособленных к выживанию. […]

Когда, подобно русским, наши нигилисты, под грубым давлением растущей заработной платы, которая, однако, никак не успевает за ростом цен, начнут наконец понимать, что Естественный Отбор предназначает их к уничтожению, они, быть может, припомнят, что пустая голова никому не помогла, и обратят свои помыслы к религии. Цель этой книги в том и заключается, чтобы направить все помыслы по верному пути.

Религия и романтика

Именно фальсификация религии романтикой всевозможных чудес, романтикой рая небесного и романтикой камеры пыток приводит к тому, что религия теряет устойчивость под воздействием каждого нового шага вперед в области науки, вместо того чтобы с ее помощью приобретать все большую ясность. Если паренек из английской деревни, которому внушили, что религия — это вера в буквальную истинность рассказов о Ноевом ковчеге и саде Эдема, овладеет ремеслом и попадет в скептически настроенную среду городского пролетариата, то насмешки напарников заставят его призадуматься. И тогда, осознав очевидную нелепость всех этих историй, в которые, как ему станет ясно, не верит теперь ни один честный священник, этот паренек не обнаружит способности к проведению тонких различий: он прямо заявит, что религия — это сплошное надувательство и что религиозные наставники, школьные и церковные, — лжецы и лицемеры. В зависимости от того, насколько силен в нем голос совести, он возымеет к религии либо полное равнодушие, либо непримиримую ненависть. Если голос совести в нем не очень силен, он возымеет к религии полное равнодушие, если очень силен — непримиримую ненависть.

Такой же протест против бессмысленно лживого обучения постоянно наблюдается среди людей свободных профессий, занятых на досуге чтением и интеллектуальными спорами. Они изгоняют из своих домов Библию и подчас навязывают своим несчастным детям невыносимо скучные этические трактаты рационалистского толка или же принуждают злополучных отпрысков часами просиживать на лекциях секуляристов (я сам читал много таких лекций), которые докучают им гораздо дольше, чем по современному обычаю может себе позволить священник в церкви. Наши умы столь решительно склонились в пользу логически доказуемых теорем и наглядно демонстрируемых физических и химических явлений, что мы стали неспособны воспринимать метафизические истины. Мы пытаемся избавиться от неправдоподобной и глупой лжи с помощью лжи правдоподобной и умной, призывая сатану для изгнания сатаны и тем самым все больше оказываясь в его когтях. Таким образом, если мир не лишился разума, мы обязаны святым меньше, чем громадной массе равнодушных и бездеятельных. […]

Но равнодушие не приведет человечество по дороге цивилизации к установлению истинного Града Божьего. Равнодушный государственный деятель — это логическая несообразность, а государственный деятель, равнодушный из принципа, приверженец доктрины невмешательства и примиренчества, заварит такую кашу, которой нам не расхлебать. Религия необходима нашим государственным деятелям как воздух — и, поскольку избирателями стали все, кто достиг взрослого возраста, такая религия должна поддаваться популяризации. Мысль, впервые высказанная Миллями{102}: «Бога не существует, но это фамильная тайна» — и долго замалчивавшаяся аристократическими политиками и дипломатами, теперь бесполезна. Послевоенное возрождение цивилизации с помощью искусственного дыхания неосуществимо: теперь совершенно необходима движущая сила единодушного одобрения. Снискать его можно только при условии, что государственные деятели будут апеллировать к жизненно важным инстинктам людей на языке всеобщей религии. Успех пропагандистской кампании «Кайзера на виселицу» во время последних всеобщих выборов продемонстрировал ужасающую эффективность близорукой демагогии, использующей всеобщее неверие. И всеобщее неверие приведет цивилизацию к гибели, если всеобщему неверию не противопоставить всеобщую религию.

Опасность реакции

Однако здесь возникает опасность, что, осознав все это, мы поведем себя точно так же, как и полвека назад: в ужасе бросимся назад к прежним суевериям, подобно тому, как в беньяновском «Пути паломника» поступил Покорный, которого Христианин погрузил в Пучину Отчаяния. Мы кинулись из огня да в полымя, где нам стало до того жарко, что мы вот-вот кинемся обратно. История человечества отмечает в духовной активности масс преимущественно панические метания от ошибочных утверждений к ошибочному отрицанию и обратно. Поэтому следует со всей четкостью и определенностью заявить, что банкротство дарвинизма отнюдь не означает, что Никтоженька есть Ктоженька, обладающий «плотью, членами и страстями»; что мир сотворен в 4004 году до рождества Христова; что церковное проклятие сулит вечную муку в чане с кипящей серой; что непорочное зачатие кладет на сексуальность печать греха; что Христос партеногенетически{103} произведен на свет девственницей из рода девственниц, восходящего к праматери Еве; что Троица являет собой антропоморфное чудище с тремя головами, хотя голова все же одна; что в Риме хлеб и вино превращаются на алтаре в плоть и кровь, а в Англии, еще более таинственным образом, такое превращение и совершается и не совершается; что Библия — непогрешимое научное руководство, выверенная историческая хроника и исчерпывающий кодекс морали; что можно лгать, мошенничать и убивать, но по воскресеньям очищаться от грехов в крови агнца, возгласив credo и бросив пенни на блюдечко, — и так далее и тому подобное. Цивилизацию не могут спасти ни те, кто настолько неразвит, что верит всем этим нелепостям, ни те, кто настолько чужд религии, что верит, будто религия целиком сводится к такой вере. Этим людям нельзя со спокойной душой доверить воспитание детей. Если вырождающиеся секты, подобные англиканской церкви, римской католической церкви, греческой православной церкви и всем прочим, будут упорствовать в своих попытках втиснуть человеческий разум в тесные рамки чудовищно извращенных природных истин и поэтических метафор, тогда они должны быть беспощадно изгнаны из школ до тех пор, пока либо погибнут под бременем всеобщего презрения, либо найдут душу живую, скрытую за каждой догмой. Подлинная классовая борьба будет борьбой интеллектуальных классов, и ее завоеванием будут детские души.

Пробный камень для догмы

Испытанием догмы служит ее универсальность. До тех пор пока англиканская церковь проповедует особую доктрину, неприемлемую для британских подданных — брахмана, мусульманина, парса{104} и членов всех других сект, — она не имеет законного места в советах британского Содружества наций и остается развратительницей молодежи, угрозой государству и преградой на пути к братству Духа Святого. Сейчас это ощущается сильнее, чем когда бы то ни было, — сейчас, после войны, во время которой церковь не выдержала испытания своей стойкости, продала свои лилии за лавры солдат, награжденных крестом Виктории. Церковь навлекла на себя позор, возглашаемый петухами со всех сторон христианского мира{105}, и от этого позора ее не избавят немногие праведники, обнаруженные даже среди епископов. Пусть Церковь поверит на слово (хотя бы это было моим словом профессионального творца легенд), если она неспособна увидеть истину в собственном свете: никакая догма не может быть легендой. Легенда может преодолеть этнические преграды только в качестве легенды, но не истины, тогда как единственной преградой на пути распространения здравой догмы, как таковой, являются лишь ограниченные духовные возможности тех, кто ее воспринимает.

Сказанное не означает, что мы должны отбросить прочь легенду, притчу и драму: все это — естественные средства выражения догмы, но горе той церкви и тем правителям, которые подменяют догму легендой, историю — притчей и религию — драмой! Уж лучше сразу провозгласить божий престол пустым, чем возводить на него лжеца или невежду. Под именем религиозных войн всегда скрываются войны, не только призванные опровергнуть религию и противопоставить ей легенду, которая провозглашается исторически достоверной и реальной, но и перебить тех, кто отказывается признать эту легенду истинной или реальной. Но кто и когда отказывался радоваться хорошей легенде именно как легенде? Легенды, притчи и драмы относятся к лучшим сокровищам человечества. Никому и никогда не могли наскучить рассказы о чудесах. Тщетно опровергал Магомет приписываемые ему чудеса, тщетно бранил разгневанный Христос тех, кто упрашивал его выступить в амплуа иллюзиониста, тщетно святые провозглашали, что избраны богом не за мощь свою, а за слабость и что смиренные будут возвеличены, а гордые унижены. Людям непременно нужны чудеса, жития, герои и героини, святые, мученики и божества для того, чтобы давать волю своим способностям к любви, восхищению, удивлению и поклонению. Людям нужны иуды и дьяволы для того, чтобы пылать гневом и с отрадой чувствовать справедливость своего гнева. Каждая из этих легенд — общее достояние человечества, и единственное непререкаемое условие для радостного наслаждения ими — не понимать их буквально. Упоенное чтение рыцарских романов наделило Дон Кихота благородством, слепая вера в прочитанное превратила его в безумца, поражавшего мечом ягнят вместо того, чтобы пасти их. В сегодняшней Англии жадно читают религиозные легенды Востока, протестанты и атеисты охотно раскрывают жития святых, тогда как индийцы и римские католики упорно чураются этой духовной пищи. Вольнодумцы зачитываются Библией: кажется, это единственные ее читатели, помимо неохотно всходящих на аналой священников, которые извещают конгрегацию о своем неудовольствии тем, что бормочут текст самым неестественным образом — столь же отталкивающим, сколь и невнятным. И это происходит потому, что навязывание легенд в качестве буквальных истин мгновенно превращает их из иносказания в неправду. Неприязнь к Библии стала, наконец, столь сильной, что образованные люди отказываются возмущать свою интеллектуальную совесть чтением легенды о Ноевом ковчеге с ее забавным началом о тварях и дивной концовкой о голубях. Они не хотят читать даже хроники о царе Давиде{106}, которые, возможно, соответствуют истине — и уж во всяком случае более откровенны, нежели официальные биографии наших современных монархов.

Что делать с легендами

Итак, прежде всего нам следует собрать легенды воедино и совершенно открыто создать для всего человечества восхитительный запас религиозного фольклора. Освободившись от притворства и обмана, наше сознание способно унаследовать духовное достояние всех вероисповеданий. В Испании почитали бы китайских мудрецов, а в Китае — испанских святых великомучеников. Родитель того мальчишки из Ольстера, который по-детски влюбляется в деву Марию или бестактно выражает сомнение, каким образом был вечер и было утро первого дня творения, если Бог еще не успел сотворить солнце, не задал бы своему отпрыску изрядную взбучку, а купил бы ему сборник легенд разных народов о сотворении мира и богородицах и был бы донельзя доволен, видя, что мальчишке они столь же интересны, как игра в бабки или в сыщики-разбойники. Во всяком случае, это лучше, чем отбивать у ребенка благие чувства к религии и омрачать его ум внушениями, что пылкие почитатели пречистых дев, будь то в Парфеноне или в соборе святого Петра, — обреченные на геенну огненную язычники и идолопоклонники. Все очарование религии несут в мир сказочники и художники-творцы. Без их вымыслов религиозные истины были бы для большинства невразумительны и недоступны: учителя учительствовали и пророки пророчествовали бы всуе. Людей отвращает от вымыслов только злостное заблуждение, которое принимает вымысел за буквальную истину и религию целиком сводит к вымыслу.

Урок, преподанный церкви наукой

Предложим церкви спросить у себя, почему никто не протестует против математических догм, тогда как против догматов церкви поднят настоящий бунт. Отнюдь не потому, что математические догмы более внятны. Бином Ньютона для заурядного человека столь же непостижим, как и учение о единосущности Бога-отца и Бога-сына Афанасия Александрийского{107}. Наука так же не свободна от легенд, ведовства, чудес и хвалебных жизнеописаний, в которых знахари-шарлатаны изображаются героями и святыми, а жалкие пройдохи — исследователями и первооткрывателями. Напротив, обширная иконография и агиология{108} науки по большей части достаточно неприглядна. Однако ни одному из изучающих науки не внушали, что понятие удельного веса сводится к вере в то, что Архимед{109} выскочил из ванны и побежал голым по улицам Сиракуз с криком «Эврика, эврика!» и что бином Ньютона следует отвергнуть, если будет доказано, что Ньютон никогда в жизни не сидел под яблоней. Когда какой-нибудь на редкость добросовестный и самостоятельно мыслящий бактериолог обнаруживает, что брошюры Дженнера{110} вполне могли быть написаны малограмотной, но пытливой и наблюдательной нянькой и уж никак не могут принадлежать человеку с хорошо тренированным умом научного склада, он не испытывает ощущения, что здание науки рухнуло и что оспы в природе вообще не существует. Впрочем, можно дойти и до этого, так как гигиена, пробивающая себе дорогу в качестве школьной дисциплины, преподается у нас из рук вон плохо и лицемерно — наряду с религией. Однако в области физики и математики чистота веры соблюдается неукоснительно, и там выбор между доказанными законами и легендами можно сделать в пользу законов, не навлекая на себя подозрения в ереси. Вот почему башня математика стоит незыблемо, в то время как храм священника сотрясается до основания.

Религиозное искусство двадцатого столетия

Творческая Эволюция — это уже религия, причем, как теперь совершенно ясно, религия двадцатого столетия, возродившаяся из пепла псевдохристианства, голого скептицизма, из бездушного механистического утверждения и слепого неодарвинистского отрицания. Но эта религия не может стать общедоступной, пока она не обзаведется своими собственными легендами, притчами и чудесами. Но под общедоступностью я не подразумеваю ее доступность для сельских жителей. Она должна быть доступна также и для членов кабинета министров. Бессмысленно ожидать от профессиональных политиков и должностных лиц наставлений и просвещения в области религии. Они ни философы, ни пророки — иначе они не променяли бы философию и проповедничество на нудную рутину государственной деятельности. Сократ{111} и Колридж{112} не остались солдатами — так же, как при всем своем желании не мог оставаться представителем от Вестминстера в палате общин Джон Стюарт Милль{113}. Вестминстерские избиратели обожали Милля: он прямо заявлял им, что они неисправимые лжецы и именно потому так трудно иметь с ними дело. Однако они не проголосовали вторично за человека, осмелившегося сорвать покров лживости, за которым таилась, как им казалось, грозящая им вулканическая пропасть, ибо они не обладали его философским убеждением в том, что истина в конце концов — прочнейшая из опор. Сидящий на передней скамье в парламенте всегда будет эксплуатировать общераспространенную религию или же всеобщее безверие. По неискушенности государственный деятель вынужден принимать религию такой, какая она есть, но прежде он должен с самого детства наслышаться рассказов о ней и в течение всей жизни видеть перед собой религиозную иконографию, созданную искусством писателей, живописцев, скульпторов, зодчих и других превосходных художников. Даже если он, как это иногда случается, не только профессиональный политик, но отчасти и метафизик-любитель, он все равно должен придерживаться общепризнанной иконографии, а не опираться на собственные истолкования ее, если таковые не ортодоксальны.

Отсюда ясно, что возрождение религии на научной основе не означает смерти искусства, но, напротив, ведет к его чудесному обновлению. В сущности, искусство только тогда было великим, когда оно создавало иконографию для религии, в которую верили. И никогда не заслуживало оно большего презрения, чем тогда, когда подражало иконографии, выродившейся в предрассудок религии. Итальянская живопись от Джотто{114} до Карпаччо{115} целиком религиозна, но это по-настоящему великое искусство, глубоко трогающее нас. Сопоставьте эту живопись с попытками наших художников прошлого века сравняться со старыми мастерами путем подражания, между тем как им следовало иллюстрировать свою собственную веру. Всмотритесь, если у вас хватит на то терпения, в унылую мазню Хилтона{116} и Хейдона{117}, знавших неизмеримо больше об анатомии, о рисунке, о грунтовке, о лессировке{118}, о перспективе и о «дивном сокращении перспективы», чем Джотто, которому они, однако, в подметки не годились. […]

Во времена Бетховена назначением искусства считалось возвышенное и прекрасное. В наши дни искусство впало в подражательность и чувственность. И тогда, и сейчас в большом ходу было прилагательное «страстный», однако в восемнадцатом веке страстность означала неудержимое стремление самого возвышенного свойства: например, страстное увлечение астрономией или страстные поиски истины. Для нас страстность стала обозначать похоть и ничего больше. К европейскому искусству можно обратиться с теми же словами, какие Антоний произнес над телом Цезаря:

Ужели слава всех побед, триумфов

Здесь уместилась?{119}

На самом деле здесь уместилось все европейское сознание, всецело поглощенное весенней генеральной уборкой с целью избавиться от хлама своих предрассудков и подготовить себя к новому понятию об Эволюции.

Эволюция в театре

Сценой (и тут я наконец приближаюсь к своему прямому делу) владела Комедия, искусство уничтожающее, высмеивающее, критикующее и отрицающее, — владела и тогда, когда героическая Трагедия уже прекратила свое существование. Наши комедиографы, от Мольера до Оскара Уайлда{120}, даже если им нечего было сказать в положительном смысле, по крайней мере протестовали против обмана и лицемерия — и не столько стремились, как они заявляли, «исправлять нравы насмешкой», но и, говоря словами Джонсона{121}, очищали наши умы от притворства. Тем самым, сталкиваясь с заблуждениями, они били тревогу, а это и служит вернейшим признаком интеллектуального здоровья. Между тем имя Трагедии самозванно присвоили себе пьесы, в последнем акте которых убивают всех героев, точно так же, как, вопреки Мольеру, пьесы, в последнем акте которых все шли под венец, стали называться комедиями. Ныне принадлежность к жанру трагедии или комедии не определяется предписанной концовкой пьесы. Шекспир создавал «Гамлета» не ради кровавой резни под занавес, а «Двенадцатую ночь» — не ради бракосочетаний в последнем акте. Однако Шекспир не мог стать сознательным иконографом какой-либо религии, поскольку никакой осознанной религии у него не было. Поэтому ему пришлось упражнять свой редкостный природный дар в весьма занимательном искусстве подражания и дать нам образцы прославленного изображения характеров, благодаря чему его пьесы, наряду с романами Скотта, Дюма и Диккенса, доставляют нам такое наслаждение. Помимо того, Шекспир обнаружил примечательное умение (впрочем, довольно сомнительное): он спасал нас от отчаяния, облекая жестокости природы в шуточную форму. Но, несмотря на все его таланты, факт остается фактом — Шекспир так и не нашел в себе вдохновения для оригинальной пьесы. Он подновлял старые пьесы, либо переделывал для сцены популярные сюжеты или главы из исторических хроник Холиншеда{122} и «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха{123}. Со всем этим он справлялся (а иногда и не справлялся, ибо в алгебре искусства есть свои отрицательные величины) с безрассудной отвагой, которая свидетельствует о том, как мало профессиональные вопросы беспокоили его совесть. Верно то, что Шекспир никогда не заимствует характеры из своего источника (для него было гораздо проще и занятней создавать характеры заново); тем не менее он в своих, по сути, гуманных творениях без стеснения нагромождает убийства и злодеяния, взятые из старого сюжета, нимало не заботясь об их иной раз полной неуместности. Однако его внутренняя потребность в философии постоянно толкала его на поиски, подсказавшие ему своеобразный профессиональный прием — персонажи его пьес оказываются философами. Этим персонажам, однако, толком сказать со сцены было нечего: все они — только пессимисты и насмешники, и все их случайные, псевдофилософские речи (такие, как монолог о семи возрастах человека или монолог о самоубийстве{124}) обнаруживают, как далек был Шекспир от понимания истинной сущности философии. Он занял место среди величайших драматургов мира, ни разу не вторгнувшись в ту область, в которой доказали свое величие Микеланджело{125}, Бетховен{126}, Гете и афинские трагические поэты{127}. Он вообще не был бы великим, если бы его религиозного чувства не было достаточно, чтобы осознать, какое отчаяние подстерегает человека нерелигиозного. Его великолепный «Король Лир» оказался бы заурядной мелодрамой, если бы там не звучало недвусмысленное признание: ежели к словам Гамлета о вселенной нечего больше добавить, тогда

Как мухам дети в шутку,

Нам боги любят крылья обрывать.{128}

Со времен Шекспира драматурги продолжают преодолевать тот же недостаток религиозного чувства, и многим из них пришлось стать в своих пьесах попросту сводниками или поставщиками сенсаций. Даже если они помышляли о чем-то высоком, они не могли найти лучших тем. Эпоха от Конгрива{129} до Шеридана{130} оказалась настолько бесплодной, что наследие драматургов тех лет, несмотря на их остроумие, несопоставимо с творческой продукцией одного Мольера. Все они — и не без основания — стыдились своей профессии и предпочитали слыть обыкновенными светскими людьми, у которых есть, правда, конек несколько подозрительного свойства. В этом аду один только Голдсмит спас свою душу.

Ведущие драматурги моего поколения (ныне ветераны) ухватились за мелкие социальные проблемы, лишь бы не писать исключительно ради денег и славы. Один из них в разговоре со мной выразил зависть к драматургам Древней Греции, от которых афиняне требовали не бесконечного повторения под маской новизны и оригинальности полудюжины избитых сюжетов современного театра, но глубоко поучительного урока, который они могли извлечь из всем известных священных легенд своей родины. «Давайте, — сказал он, — создадим нашу Электру, нашу Антигону, нашего Агамемнона и покажем, на что мы способны». Однако сам он не создал ничего подобного, так как легенды о божествах лишились религиозной сущности: Афродита, Артемида и Посейдон мертвее собственных статуй. Второй драматург, в совершенстве владеющий всеми ухищрениями британского фарса и парижской драмы — и потому занимающий в данном жанре господствующее положение, в конце концов пришел к тому, что никак не мог обойтись без проповеди, однако для своих проповедей не подыскал ничего лучшего, чем лицемерные выкладки притворного пуританства и матримониальных расчетов, заставляющих наших молодых актрис заботиться о своей репутации не меньше, чем о цвете лица. Третий, обладавший слишком нежной душой для того, чтобы сломить наш дух под тяжестью реальных жизненных испытаний, отыскивал мечтательный пафос и изящные забавы в туманной волшебной стране, которая отделяла его от пустых небес. Гиганты современного театра Ибсен и Стриндберг{131} несли миру еще меньшее утешение, чем мы, — даже гораздо меньшее, ибо не владели шекспировско-диккенсовской способностью смеяться над собственными несчастьями — способностью, точно обозначенной словами «комическая разрядка». Наши юные эмансипированные преемники презирают нас — и по заслугам. Однако им не продвинуться ни на шаг вперед, пока драма остается доэволюционистской. Пусть они поразмыслят над таким великим исключением, как Гете. Не превосходя по силе драматургического таланта Шекспира, Ибсена, Стриндберга, он вознесен в эмпиреи, в то время как они во прахе скрежещут зубами в бессильном гневе — или в лучшем случае находят едкое наслаждение в иронии своего безвыходного положения.

Гете — олимпиец, прочие титаны инфернальны во всем, кроме своей правдивости и ненависти к безрелигиозности их эпохи — и поэтому исполнены самого горького разочарования и безнадежности. Дело отнюдь не в простой хронологии. Гете был эволюционистом в 1830 году; многие драматурги молодого поколения не затронуты Творческой Эволюцией даже в 1920-м. Ибсен проникся дарвинизмом до такой степени, что отводил наследственности такую же роль на сцене, какую афинские трагики отводили Эвменидам{132}, однако в его пьесах нет ни следа веры в Творческую Эволюцию или хотя бы представления о ней как о современном научном факте. Верно, что поэтическое вдохновение обнаруживает себя в его «Кесаре и галилеянине»{133}, но одна из особенностей Ибсена заключалась в том, что ничто не было для него весомей науки. Отрекшись от утопических мечтаний и видений будущего, которые его римский пророк называет Третьей империей, он вступил в ожесточенную схватку с действительностью в своих пьесах на современные темы, ими он покорил Европу и вышиб пыльные стекла в окнах всех закосневших в застое европейских театров от Москвы до Манчестера.

Мой собственный вклад

В моей собственной драматургической деятельности я нашел такое положение дел нетерпимым. Театральная мода предписывала только одну серьезную тему — тайный адюльтер: скучнейшую из всех тем для серьезного автора, какой бы она ни казалась публике, читающей в газетах судебную хронику, обозрения и передовые статьи. Я перебрал все темы — трущобы, теории свободной любви (псевдоибсенизм), проституцию, милитаризм, брак, историю, современную политику, христианство, национальный и индивидуальный характер, парадоксы светского общества, погоню за мужьями, вопросы совести, профессиональные заблуждения и обманы — и создавал комедии нравов по классическому образцу. Такие комедии в то время были совсем не в моде, поскольку механические приемы парижского стандарта были de rigueur[6] в театре. Хотя работа увлекала меня и утвердила в профессиональном отношении, однако я не стал иконографом современной религии и не реализовал своего природного назначения как художник. Я отчетливо понимал это, так как всегда был убежден в том, что для цивилизации наличие религии — вопрос жизни и смерти. По мере развития концепции Творческой Эволюции мне стало ясно, что мы наконец-то оказались на пороге веры, удовлетворяющей главному условию всех религий, которые когда-либо исповедовались человечеством: такая вера прежде всего должна научно опираться на знание метабиологии. Это был решающий момент в моей жизни: я увидел, как библейский фетишизм, устоявший под огнем рационалистских батарей Юма{134}, Вольтера и других, рушится под стремительным натиском гораздо менее одаренных эволюционистов единственно потому, что они дискредитировали Библию как биологический документ, с этой минуты потерявший силу и оставивший грамотный христианский мир на произвол безверия. Моя собственная ирландская выучка в духе восемнадцатого столетия позволяла мне верить только тому, о чем я мог составить себе представление в виде научной гипотезы. Однако шарлатанство, мошенничество, продажность, легковерие, невежество, низость научного клана и наглая ложь и проповеднические претензии псевдоученых торговцев целительными снадобьями, усердно насаждаемые современным средним образованием, были столь чудовищны, что приходилось подчас проводить различие между словами науки и знанием, дабы не ввести читателей в заблуждение. Но я никогда не забывал, что без знания даже мудрость более опасна, чем простое оппортунистическое невежество, и что кто-то должен основательно приняться за сад Эдема и выполоть в нем все сорняки.

Итак, в 1901 году я обратился к легенде о Дон Жуане в ее моцартианской форме и превратил ее в драматическую притчу о Творческой Эволюции.{135} Но, будучи тогда в расцвете своих способностей, я, от избытка изобретательности, разукрасил ее слишком блестяще и щедро. Я облек легенду в комедийную форму, и она составила всего один акт, действие которого происходило во сне и никак не влияло на развитие основного сюжета. Этот акт легко было изъять из текста и играть отдельно от пьесы: по сути дела, всю пьесу целиком едва ли можно было поставить ввиду ее огромных размеров, хотя этот подвиг неоднократно совершался в Шотландии мистером Эсме Перси, который возглавлял тогда один из самых отчаянных отрядов передовой драмы. Я также сопроводил печатное издание пьесы внушительным обрамлением, включающим предисловие, приложение под названием «Справочник революционера» и заключительный фейерверк афоризмов. Произведенный эффект оказался, видимо, столь головокружительным, что никто не заметил новой религии, возвещенной посреди всего этого интеллектуального водоворота. Ныне я торжественно заявляю, что выкидывал все эти умственные коленца вовсе не из безудержной расточительности: я боролся с самой скверной из ходячих условностей театральной критики того времени, убежденной в том, что интеллектуальной серьезности на сцене нет места, что театр — это вид поверхностного развлечения, что люди приходят туда по вечерам для того, чтобы их успокаивали после непосильного умственного напряжения городского рабочего дня. Короче говоря, считалось, что драматург — это человек, задача которого изготовлять из дешевых эмоций вредные сласти. Вместо ответа я выставил все мои интеллектуальные товары на витрине под вывеской «Человек и сверхчеловек».

Мой замысел отчасти оправдал себя: благодаря моей удачливости и удачной игре актеров пьеса одержала на сцене полную победу, а книга много обсуждалась. С тех пор кондитерский взгляд на театр оказался не в моде, и сторонники его были вынуждены встать в позу интеллектуалов. Такая поза — часто еще более раздражающая, нежели прежняя интеллектуальная нигилистическая вульгарность, по крайней мере признает достоинство театра, не говоря уж о полезности тех, кто зарабатывает себе на хлеб, занимаясь театральной критикой. Молодые драматурги не только серьезно относятся к своему искусству, но и их самих также принимают всерьез. Критик, которому лучше бы продавать на углу газеты, попадается теперь сравнительно редко.

Ныне я чувствую себя вдохновленным на создание второй легенды о Творческой Эволюции, освобожденной от неуместных дивертисментов и украшений. Мое время подходит к концу: красноречие 1901 года превратилось к 1920 году в старческую словоохотливость, а недавняя война послужила суровым предупреждением, что в этих вопросах шутить больше нельзя. Я оставляю легенду о Дон Жуане с ее эротическими ассоциациями и возвращаюсь к легенде о саде Эдема. Я использую в своих интересах извечную тягу к поискам философского камня, наделяющего человека бессмертием. Я надеюсь, что заблуждаюсь не более, чем это свойственно человеку, относительно несовершенств моей попытки создать Библию Творческой Эволюции. Я делаю все, на что способен в моем возрасте. Силы мои убывают, но это только на руку тем, кто находил меня невыносимо блистательным, когда я был в расцвете таланта. Я надеюсь, что сотни более изящных и искусных иносказаний выйдут из молодых рук и вскоре оставят мою притчу далеко позади, как религиозные полотна пятнадцатого столетия оставили далеко позади первые попытки ранних христиан создать свою иконографию. С этой надеждой я удаляюсь и подаю звонок к поднятию занавеса.

Часть I

В начале

Действие первое

Эдемский сад. Середина дня. Спрятав голову в густых зарослях чернобыльника и обвив бесконечными на вид кольцами уже довольно высокое и ветвистое дерево (дни творения длились дольше, чем мы полагаем), спит огромная Змея. Если не знать, что она здесь, различить ее невозможно: у Змеи идеальная зелено-бурая защитная окраска. Рядом с ее головой, под чернобыльником, виднеется невысокая скала.

Скала и дерево стоят у оврага, на дне которого лежит лань с переломанной шеей. Опершись о скалу рукой и не замечая змеи слева от себя, Адам с ужасом смотрит на мертвое животное. Потом поворачивает голову направо и возбужденно кричит.

Адам. Ева! Ева!

Голос Евы. Что тебе, Адам?

Адам. Беги сюда. Да поскорей. Здесь что-то стряслось.

Ева (вбегая). Что? Где?

Адам указывает на лань.

Ой! (Приближается к трупу.)

Адам, осмелев, следует за ней.

Что у нее с глазами?

Адам. Не с одними глазами. Вот, посмотри. (Толкает труп ногой.)

Ева. Ой, не надо! Почему она не просыпается?

Адам. Не знаю. Но она не спит.

Ева. Не спит?

Адам. Потрогай сама.

Ева (тормоша лань и пытаясь ее перевернуть). Она совсем закоченела.

Адам. Теперь ее уже не разбудишь.

Ева. А запах какой противный! Фу! (Отряхивает руки и отходит в сторону.) Она такая и была, когда ты ее нашел?

Адам. Нет. Она тут играла, а потом споткнулась, упала вниз головой и больше не двигается. У нее шея сломана. (Наклоняется, приподнимает голову лани и показывает Еве.)

Ева. Не трогай ее! Отойди!

Оба отступают на несколько шагов, глядя на лань с возрастающим отвращением.

Адам!

Адам. Что?

Ева. А если бы споткнулся и упал ты, с тобой было бы так же?

Адам. Брр! (Вздрогнув, садится на выступ скалы.)

Ева (бросается на землю и обнимает его колени). Будь осторожен. Обещай, что будешь осторожен.

Адам. Стоит ли? Здесь нам с тобой жить вечно. А ты понимаешь, что это значит — вечно? Рано или поздно я оступлюсь и упаду. Когда — не знаю: может быть, завтра; может быть, через столько же дней, сколько листьев в саду или песчинок у реки. Но я все равно забуду осторожность и оступлюсь.

Ева. Я тоже.

Адам (трепеща). Нет, нет! Я же останусь один. Навсегда один. Тебе нельзя оступаться. Ты не должна рисковать. Больше ты не двинешься с места. Я буду заботиться о тебе, приносить все, что нужно.

Ева (пожимает плечами, отворачивается и обхватывает руками колени). Мне это быстро надоест. Кроме того, если упадешь ты, я все равно останусь одна и не смогу сидеть на месте. Значит, в конце концов меня ждет такая же участь.

Адам. И что тогда?

Ева. Тогда нас больше не будет. Останутся лишь четвероногие, птицы и змеи.

Адам. Так не должно быть.

Ева. Да, не должно, но так может быть.

Адам. Нет. Говорю тебе: так не должно быть. Я знаю: так не должно быть.

Ева. Мы оба это знаем. Только вот откуда?

Адам. В саду слышен голос. Он рассказывает мне разные вещи.

Ева. Порой в саду слышно много голосов, и все они внушают мне разные мысли.

Адам. Я слышу только один голос. Он звучит очень тихо, но так близко, словно это я сам шепчу. Его не спутаешь ни с чем — ни с голосом животных, ни с голосом птиц, ни с твоим.

Ева. Странно! Я слышу голоса со всех сторон, а ты — лишь изнутри? Зато у меня есть свои собственные мысли, а не только те, что внушены голосами. Мысль о том, что мы не можем не быть, родилась во мне самой.

Адам (с отчаянием). И все-таки нас не станет. Мы упадем, как эта лань, и свернем себе шею. (Встает и беспокойно расхаживает взад и вперед.) Я не в силах примириться с этой мыслью. Я не желаю так думать. Повторяю тебе, этого не должно быть. Я только не знаю, как этому помешать.

Ева. У меня точно такое же чувство. Странно одно: почему именно ты заговорил об этом. Тебе не угодишь: ты так часто меняешь свое мнение!

Адам (вспыхивая). Зачем ты так говоришь? Когда это я менял свое мнение?

Ева. Ты уверяешь, что мы не можем не быть. Но ведь ты так часто жалел о том, что нам предстоит жить всегда, жить вечно. Бывают дни, когда ты целыми часами молчишь, думаешь о чем-то своем и в глубине души ненавидишь меня. Когда же я спрашиваю, чем я тебя обидела, ты отвечаешь, что думаешь не обо мне, а о том, как страшно жить вечно. Но я-то отлично знаю, что у тебя на уме: тебе страшно вечно жить здесь и со мной.

Адам. Ах вот что ты вбила себе в голову! Нет, ошибаешься. (Опять садится, мрачно.) Мне страшно всегда жить наедине с самим собой. Тебя я люблю, себя — нет. Мне хочется быть иным, лучшим, чем сейчас, хочется вновь и вновь начинать все сначала, меняясь, как змея меняет кожу. Я сам себе надоел. И тем не менее вынужден оставаться самим собой не день, не месяц, а всегда. Мысль об этом ужасает меня. Вот почему я бываю таким задумчивым, молчаливым, злым. А тебе это никогда не приходило в голову?

Ева. Нет, я не думаю о себе. Зачем? Я — то, что я есть, и этого не изменишь. Я думаю о тебе.

Адам. Вот и напрасно. Ты вечно шпионишь за мной. Не даешь мне побыть одному. Тебе вечно надо знать, чем я занят. Это невыносимо. Постарайся жить своей жизнью, а не беспокоиться о том, как живу я.

Ева. Ты сам вынуждаешь меня к этому. Ты лентяй и грязнуля, ты не следишь за собой и вечно о чем-то мечтаешь. Если я перестану присматривать за тобой и опекать тебя, ты начнешь есть всякую дрянь и дойдешь невесть до чего. Но мои заботы ни к чему не приведут: в один прекрасный день ты вот так же свалишься вниз головой и умрешь.

Адам. Умру? Что это значит?

Ева (указывая на лань). Станешь таким же, как она. Я называю это «умереть».

Адам (встает и медленно приближается к трупу). С ней происходит что-то непонятное.

Ева (следуя за ним). Ой! Она превращается в белых червячков.

Адам. Это невыносимо. Брось ее в реку.

Ева. Мне страшно к ней притронуться.

Адам. Тогда, как мне ни противно, это сделаю я. Иначе она весь воздух отравит. (Хватает лань за ноги и, стараясь держать труп подальше от себя, уносит его туда, откуда явилась Ева.)

Ева провожает его глазами, затем, вздрогнув от омерзения, садится на скалу и погружается в задумчивость. Тело Змеи становится видимым, теперь оно переливается новыми изумительными красками. Змея медленно поднимает голову из зарослей чернобыльника и с неожиданно чарующей мелодичностью шепчет Еве на ухо.

Змея. Ева!

Ева (испуганно). Кто здесь?

Змея. Это я. Я пришла показать, какой у меня красивый новый гребень. Гляди. (Распускает ослепительный аметистовый гребень.)

Ева (восхищенно). Ах! Но у кого ты научилась говорить?

Змея. У тебя и Адама. Я ползала за вами, прячась в траве, и слушала вас.

Ева. Ты поступила на редкость умно.

Змея. Еще бы! Я самая хитрая из всех полевых тварей.

Ева. Какой дивный у тебя гребень! (Гладит гребень, лаская Змею.) Прелесть моя! Ты любишь свою крестную мать Еву?

Змея. Обожаю. (Раздвоенным языком лижет ей шею.)

Ева (продолжая ласкать ее). Ах ты моя милая, моя ненаглядная змейка! Теперь Ева больше не одинока: она может разговаривать со своей змейкой.

Змея. Со мной можно о многом поговорить: я очень мудра. Это я нашептала тебе слова, которых ты не знала, — мертвый, смерть, умирать.

Ева (вздрогнув). Зачем ты об этом? Увидев твой дивный гребень, я разом забыла обо всех неприятностях. Не напоминай мне о них.

Змея. Смерть может и не быть неприятностью — нужно лишь научиться побеждать ее.

Ева. Разве ее можно победить?

Змея. Да, можно — с помощью того, что называется рождением.

Ева. Как? (Силясь выговорить.) Рож… рождение?

Змея. Да, рождение.

Ева. А что это такое?

Змея. Змея не умирает. Вот увидишь: наступит день, я сброшу с себя свою прекрасную кожу и стану новой змеей, с новой, еще более прекрасной кожей. Это и называется рождением.

Ева. Я это уже видела. Очень красиво.

Змея. Если я могу даже это, значит, я могу все. Повторяю тебе: я очень хитра. Я не раз слышала, как вы с Адамом спрашиваете друг друга: «Почему?» Верно — почему. Вы видите что-нибудь и задаете себе вопрос: «Почему?» А я придумываю такое, чего никогда не было, и говорю: «Почему бы нет?» Я изобрела слово «мертвый» и назвала так старую кожу, которую сбрасываю, обновляясь. Обновляться же и значит родиться.

Ева. Родиться! Красивое слово.

Змея. Так почему бы тебе не рождаться опять и опять, столь же новой и красивой, как я?

Ева. Мне-то? Да потому, что так не бывает.

Змея. Из этого не следует, что так не может быть. Ты ответь: почему бы нет?

Ева. Мне это и не понравилось бы. Не спорю, стать совсем новой очень приятно. Но ведь когда моя старая оболочка упадет на землю, Адаму будет казаться, что это я. Он увидит, как она съеживается, и…

Змея. Не увидит. Ему вовсе не надо это видеть. Рождаться можно и по-другому.

Ева. Как по-другому?

Змея. Слушай меня. Я открою тебе великую тайну. Я очень хитра и очень-очень долго думала. К тому же я решительна и уж чего захочу, того добьюсь. А хотелось мне очень и очень сильно. И я стала есть необычную пищу — камешки и те яблоки, которые вы боитесь рвать.

Ева. Ты посмела?..

Змея. Я смею все. В конце концов я научилась накапливать в себе частицы жизни.

Ева. А что такое жизнь?

Змея. То, что отличает мертвую лань от живой.

Ева. Какое дивное слово! И какой изумительный смысл! Жизнь — вот самое чудесное из всех новых слов.

Змея. Верно. Размышляя о жизни, я и обрела способность творить чудеса.

Ева. Чудеса? Еще одно незнакомое слово.

Змея. Чудо — это то, что невозможно и тем не менее возможно. То, что не может произойти и тем не менее происходит.

Ева. Какие же чудеса ты творишь? Расскажи хоть про одно.

Змея. Я накопила в себе частицу жизни и извергла ее в тоненькой белой скорлупке, сделанной из проглоченных камешков.

Ева. И что из этого получилось?

Змея. Я положила скорлупу на самый солнцепек и дала ей прогреться. Потом она лопнула, и на свет выполз крошечный змееныш, который рос день ото дня и, наконец, стал размером с меня. Вот это и значит рождаться по-другому.

Ева. Ах, как замечательно! Во мне тоже что-то движется. И мне больно.

Змея. Я сама от этого чуть не лопнула. Тем не менее, как и прежде, живу, меняю кожу и обновляюсь. Скоро в Эдеме будет змей не меньше, чем чешуек у меня на теле. И тогда смерть станет бессильна. Та или иная змея может умереть, змеи будут жить всегда.

Ева. Но мы-то с Адамом все равно когда-нибудь умрем, как эта лань. И тогда всюду останутся только змеи, одни змеи.

Змея. Этого не будет. Я поклоняюсь тебе, Ева. Я должна чему-то поклоняться. Чему-то такому, что непохоже на меня. Например, тебе. В мире должно существовать нечто более высокое, чем змея.

Ева. Да, этого не будет. Адам не должен погибнуть. Ты очень хитра. Научи же меня, что мне делать.

Змея. Думай, желай, ешь землю, лижи белый камень, отведай яблок, которые боишься рвать. А солнце создаст жизнь.

Ева. Я не полагаюсь на солнце. Я сама создам ее. Я извергну из себя нового Адама, даже если ради этого должна буду разорваться на куски.

Змея. Что ж, дерзай. Возможно все, все. Слушай меня. Я стара. Я — древняя змея, я старше Адама, старше Евы. Я помню Лилит, которая пришла в мир раньше Адама и Евы. Как и ты, она любила меня. Она была одна — с нею не было мужчины. Она увидела, что существует смерть, как вы убедились в этом на примере упавшей лани, и она поняла, что должна придумать способ обновляться и менять свою оболочку, как это делаю я. У Лилит была могучая воля. Она неотступно желала, неотступно добивалась своего, и так прошло больше месяцев, чем листьев на всех деревьях в нашем саду. Страдания ее были страшны, от ее стонов Эдем лишился сна. Она решила, что это не должно повториться, что муки обновления слишком тяжки и непосильны для одного. И произошло чудо. Когда она сбросила свою оболочку, вместо одной Лилит оказалось две: одна — такая, как она сама; другая — как Адам. Первая стала тобой, вторая — Адамом.

Ева. Но для чего она разделилась пополам и сделала нас разными?

Змея. Я же сказала: труд самообновления непосилен для одного. Его должны делить меж собой двое.

Ева. Выходит, Адам поделит его со мной? Нет, он не согласится. Он не терпит боли, не любит утомлять себя.

Змея. Ему и не придется. Он не изведает страданий. Он только будет умолять, чтобы ты позволила ему участвовать в твоих трудах. И, желая этого, подпадет под твою власть.

Ева. Если так, я это сделаю. Но как? Как Лилит сотворила такое чудо?

Змея. Она вообразила его.

Ева. Что значит «вообразила»?

Змея. Она рассказала мне об этом чуде, словно сказку о том, чего никогда не было с некой иной, никогда не существовавшей Лилит. Тогда она еще не знала, что воображение и есть начало созидания. Ты воображаешь себе то, чего хочешь; ты хочешь того, что вообразила, и в конце концов творишь то, чего хочешь.

Ева. Разве можно создать что-нибудь из ничего?

Змея. Все сущее создается из ничего. Взгляни на свои сильные руки. Видишь, как вздулись на них мышцы? А ведь эти мышцы были у тебя не всегда. Когда я впервые увидела тебя, ты была не в силах влезть на дерево. Но ты хотела и добивалась этого, хотела и добивалась. Твоя воля постепенно создавала из ничего комки мышц на твоих руках, и ты добилась своего: теперь ты можешь подтянуться на одной руке и сесть на сук, который у тебя над головой.

Ева. Это от привычки.

Змея. Нет, привычка ничего не создает, она лишь сводит все на нет. Волосы у тебя развеваются по ветру, словно стремясь стать как можно длиннее. Но они не удлиняются от того, что привычно развеваются по ветру, ибо ты не хочешь, чтобы они удлинялись. Когда Лилит поведала мне на нашем беззвучном языке (слов в ту пору еще не было), что она вообразила, я дала ей совет желать и добиваться этого. И тогда, на удивление нам обеим, то, чего она желала и добивалась, создалось в ней само собой, по ее воле. После этого я тоже захотела обновиться, стать двумя змеями вместо одной, и через много дней чудо свершилось: кожа моя лопнула, из нее выползли две змеи — я и другая, обвившаяся вокруг меня, и на свете стало два воображения, два желания, две воли, побуждающие творить.

Ева. Хотеть, воображать, добиваться, творить… Слишком много слов. Вырази все это одним словом. Ты же мастерица их изобретать.

Змея. Это слово — зачинать. В нем и начало — воображение, и конец — творчество.

Ева. А теперь найди слово, чтобы обозначить ту сказку, которую Лилит вообразила и поведала тебе на вашем беззвучном языке; сказку, которая была слишком прекрасна, чтобы стать явью, и тем не менее стала ею.

Змея. Поэзия.

Ева. И еще одно слово, чтобы обозначить, кем была мне Лилит.

Змея. Она была тебе матерью.

Ева. Адаму тоже?

Змея. Да.

Ева (порываясь встать). Я пойду и скажу Адаму, чтобы он зачал.

Змея смеется.

(Испуганно вздрогнув.) Что с тобой? Какой противный звук! Никогда не слыхала такого.

Змея. Адам не может зачать.

Ева. Почему?

Змея. Таким уж вообразила его Лилит. У него есть воображение, желание, воля, он может превратить свою жизнь в один мощный порыв к творчеству, он способен на все, кроме одного — творить себе подобных.

Ева. Почему Лилит не дала ему этой способности?

Змея. Потому что, будь у него эта способность, он обошелся бы и без Евы.

Ева. Верно. Значит, зачать должна я?

Змея. Да. И этим ты привяжешь его к себе.

Ева. А себя к нему?

Змея. Да, пока вы не сотворите нового Адама.

Ева. Об этом я не подумала. Ты действительно очень хитра. Но ведь если я сотворю новую Еву, он сможет уйти к ней и обойтись без меня. Нет, я не буду творить Ев. Только Адамов!

Змея. Но Адамы не способны обновляться без Ев. Рано или поздно ты умрешь, как эта лань, и новые Адамы ничего не сотворят без новых Ев. Вообразить такой конец ты, конечно, можешь, желать его — нет; значит, ты не можешь стремиться к нему; значит, ты не можешь творить только Адамов.

Ева. Но если я умру, как эта лань, почему бы не умереть и всем остальным? Какое мне до них дело?

Змея. Жизнь не должна прекращаться. Это — главное, и говорить, что тебе нет до этого дела, — глупо. Тебе есть дело. Именно поэтому работает твое воображение, пламенеют твои желания, укрепляется твоя воля, и ты творишь из ничего.

Ева (задумчиво). Того, что ты называешь «ничто», не может быть. Ведь и сад наш не пуст, а полон.

Змея. Я об этом не подумала. Тебе пришла великая мысль. Ты права: такой вещи, как ничто, не может быть — могут быть только вещи, которых мы не видим. Нам ведь лишь кажется, что хамелеон ест воздух.

Ева. Мне пришла еще одна мысль. Я должна рассказать о ней Адаму. (Зовет.) Адам! Адам! Ау!

Голос Адама. Ау!

Ева. Эта мысль понравится ему и вылечит его от приступов меланхолии.

Змея. Не спеши говорить с ним. Я еще не поведала тебе великую тайну.

Ева. Что нового ты можешь мне поведать? Я должна сотворить чудо. Этим все сказано.

Змея. Нет, Адам тоже должен хотеть и добиваться, но не сам, а передав свое желание и волю тебе.

Ева. Передав мне? Как?

Змея. В этом и заключается великая тайна. Но тсс! Вот он.

Адам (возвращаясь). Мне послышался чей-то незнакомый голос. Разве в саду есть другие голоса, кроме наших и вещего голоса?

Ева (вскакивая и бросаясь к нему). Подумай только, Адам! Наша змея слушала-слушала нас и выучилась говорить.

Адам (восхищенно). Правда? (Подходит к скале и ласкает Змею.)

Змея (ласкаясь к нему). Правда, милый Адам.

Ева. Адам, у меня есть новость еще удивительней. Нам вовсе не обязательно жить вечно.

Адам (от волнения выпуская из рук голову Змеи). Что? Не шути этим, Ева! О, если бы в один прекрасный день настал конец и все-таки не конец; если бы я избавился от этой муки — всегда выносить самого себя; если бы заботы о нашем ужасном саде легли на плечи другого садовника; если бы сторожу, которого вещий голос приставил к саду, нашлась когда-нибудь замена; если бы отдых и сон, дающие мне силу изо дня в день нести свое бремя, превратились наконец в вечный отдых и вечный сон — тогда я без боязни глядел бы в лицо годам, как бы долго они ни тянулись для меня. О, только бы конец, любой конец! Я слишком слаб, чтобы влачить груз вечности.

Змея. Ты можешь не пережить даже эту зиму, и все-таки конец не наступит.

Адам. Так не может быть.

Змея. Так может быть.

Ева. Так будет.

Змея. Так есть. Убей меня, и завтра же ты найдешь в саду другую змею. Ты найдешь больше змей, чем у тебя пальцев на руках.

Ева. Я сотворю новых Адамов, новых Ев.

Адам. А я вам говорю: перестаньте рассказывать сказки. Так не может быть.

Змея. Я помню время, когда тебя самого тоже не было. Тем не менее теперь ты существуешь.

Адам (пораженный). А ведь правда! (Садится на скалу.)

Змея. Я открою тайну Еве, а она поведает ее тебе.

Адам. Тайну? (Быстро поворачивается к Змее и накалывает себе ногу.) Ой!

Ева. Что случилось?

Адам (потирая ногу). Чертополох. А рядом с ним терновник. И еще крапива. Как мне надоело выпалывать их ради того, чтобы в нашем саду всегда было приятно!

Змея. Эти сорняки растут не так уж быстро. Во всяком случае, прежде чем они заполонят сад, ты успеешь сбросить с плеч свое бремя и навсегда уснуть. Так зачем ты придумываешь себе лишние хлопоты? Пусть новые Адамы сами расчищают место для себя.

Адам. Совершенно справедливо. Но открой же нам свою тайну. Видишь, Ева, как прекрасно, когда не надо жить вечно.

Ева (недовольно наклоняясь и выпалывая сорняки). До чего ж это по-мужски! Стоило тебе узнать, что мы не будем жить вечно, как ты уже рассуждаешь так, словно мы умрем сегодня же. Нет, ты непременно должен понемногу вырывать эти мерзкие колючки, иначе нам придется постоянно смотреть себе под ноги, чтобы не оцарапаться и не наколоться.

Адам. Ну, если понемногу — я не против. Но только понемногу. Я примусь за это завтра.

Змея смеется.

Какие смешные звуки! Они мне нравятся.

Ева. А мне — нет. (Змее.) Зачем ты опять издаешь их?

Змея. Адам изобрел кое-что новое. Он изобрел слово «завтра». Теперь, когда с вас снято бремя бессмертия, вы каждый день будете изобретать что-нибудь новое.

Ева. Бессмертие? Что это такое?

Змея. Новое слово. Оно значит жить вечно.

Ева. Змея изобрела красивое слово — жизнь. Оно означает, что мы существуем.

Адам. Придумай еще одно красивое слово, которое значило бы «делать не сегодня, а завтра». Это ведь такое великое и благое открытие.

Змея. Откладывать.

Ева. Приятное слово! Как бы я хотела, чтобы язык у меня был, как у змеи!

Змея. Возможно и это. Возможно все.

Адам (вскакивает, охваченный внезапной паникой). Ох!

Ева. Что еще опять?

Адам. Как называется отдых, избавление от жизни?

Змея. Как? Смерть.

Адам. Значит, в откладывании таится страшная опасность.

Ева. Какая?

Адам. Если откладывать смерть на завтра, я никогда не умру. Завтра — такого дня нет и не может быть.

Змея. Я очень хитра, но человек мыслит глубже, чем я. Женщина знает, что нет такой вещи, как ничто; мужчина — что нет такого дня, как завтра. Я правильно делаю, что поклоняюсь им.

Адам. Если я не хочу упустить смерть, мне надо выбрать не завтра, а точный день. Когда я умру?

Ева. Не раньше, чем я сотворю нового Адама. Вот тогда — как только пожелаешь. (Встает, обходит Адама сзади, беззаботно идет к дереву и, прислонясь к нему, гладит одно из колец Змеи.)

Адам. Даже тогда незачем торопиться.

Ева. Я вижу, ты действительно решил отложить это на завтра.

Адам. А ты? Разве ты хочешь умереть сразу после того, как сотворишь новую Еву?

Ева. Зачем мне умирать? Или тебе не терпится отделаться от меня? Только что ты требовал, чтобы я сидела на месте и не двигалась: ты боялся, что я споткнусь и умру, как лань. Теперь тебе все равно.

Адам. Теперь это уже не так важно.

Ева (сердито, Змее). Смерть, которую ты принесла в наш сад, — скверная штука. Адам хочет, чтобы я умерла.

Змея (Адаму). Ты хочешь, чтобы она умерла?

Адам. Нет. Умереть надо мне. Ева не должна умирать раньше меня, иначе я останусь один.

Ева. Можешь взять себе одну из новых Ев.

Адам. Верно. Но они могут оказаться не совсем такими же, как ты. У них не будет тех же воспоминаний. Они будут мне… Не знаю, как сказать.

Змея. Чужими.

Адам. Вот именно. Чужие! Хорошее, суровое слово.

Ева. Когда появятся новые Адамы и Евы, нам придется жить в нашем саду среди чужих. Тогда мы понадобимся друг другу. (Быстро подходит к Адаму сзади и поворачивает к себе его лицо.) Помни это, Адам. Всегда помни.

Адам. С какой мне стати забывать? Я сам первый подумал об этом.

Ева. Я тоже кое о чем подумала. Лань споткнулась, упала и умерла. А ты можешь подкрасться ко мне (внезапно хватает его за плечи и швыряет ничком на землю), сбросить меня вниз, и я умру. Теперь я, наверно, больше не усну, пока не буду знать, что у тебя нет причин умертвить меня.

Адам (в ужасе вскакивая). Умертвить тебя? Какая ужасная мысль!

Змея. Не умертвить, а убить, убить, убить. Вот точное слово.

Ева. Не буду я творить новых Адамов и Ев. Они, чего доброго, убьют нас. (Садится на скалу и, обняв Адама правой рукой, усаживает его рядом.)

Змея. Будешь, потому что иначе — конец.

Адам. Нет, они не убьют нас. Они будут чувствовать, как я, а во мне что-то восстает против убийства. Голос в саду запретит им убивать, как запрещает мне.

Змея. Голос в саду — это твой собственный голос.

Адам. И да и нет. Его подает нечто более великое, чем я, нечто такое, от чего я лишь часть.

Ева. Голос не запрещает мне убить тебя. Но я все равно не хочу, чтобы ты умер раньше меня. Не хочу сама, и никакие голоса тут ни при чем.

Адам (обняв ее за плечи, с болью). Конечно нет. Это ясно без всякого голоса. Нас что-то связывает. Что-то, чему нет названия.

Змея. Любовь, любовь, любовь.

Адам. Это слово слишком кратко для такого длительного чувства.

Змея смеется.

Ева (раздраженно поворачиваясь к ней). Опять этот невыносимый звук! Не издавай его. Зачем ты его издаешь?

Змея. Смотри, как бы слово «любовь» не оказалось слишком длинным для такого краткого чувства. Впрочем, любовь чем короче, тем слаще.

Адам (размышляя). Ты сбиваешь меня с толку. Моя прежняя тревога была мучительна, но понять ее было просто. Ты же сулишь чудеса, которые принесут мне дар смерти, но сначала запутают мою жизнь. Раньше меня гнело бремя вечной жизни, но в голове моей все было ясно. Пусть я не знал, что люблю Еву; зато я не знал и того, что она может разлюбить меня, полюбить другого Адама и пожелать мне смерти. Известно ли тебе слово, которое выражает то новое, что я узнал?

Змея. Ревность, ревность, ревность.

Адам. Мерзкое слово!

Ева (трясет его). Перестань ломать себе голову, Адам. Ты слишком много думаешь.

Адам (сердито). Как же мне не думать, если я потерял уверенность в будущем? Что может быть хуже неуверенности? Неуверенности во всем — в жизни, в любви. Есть ли слово для этого нового несчастья?

Змея. Страх, страх, страх.

Адам. А знаешь ты лекарство от него?

Змея. Знаю. Надежда, надежда, надежда.

Адам. Что такое надежда?

Змея. Пока тебе не известно будущее, ты не знаешь, что оно окажется не лучше, чем прошлое. Это и есть надежда.

Адам. Для меня это не утешение. Страх во мне сильней, чем надежда. Мне нужна уверенность. (Поднимается с угрожающим видом.) Дай мне ее, или я убью тебя, как только застану спящей.

Ева (обнимая Змею). Мою красавицу змею? Нет, нет! Как ты мог дойти до такой ужасной мысли?

Адам. Страх доведет до чего угодно. Его вселила в меня змея. Пусть теперь вселит уверенность или сама живет в вечном страхе передо мной.

Змея. Подчини будущее своей воле. Дай обет.

Адам. Что такое обет?

Змея. Выбери день своей смерти и решись умереть именно в этот день. Тогда ты будешь уверен, что умрешь, и неуверенность перестанет мучить тебя. Заставь Еву дать обет любить тебя до твоей смерти. Тогда ты будешь уверен в любви.

Адам. Верно. Превосходно. Этим я подчиню себе будущее.

Ева (недовольно отворачиваясь от Змеи). Но это разрушит надежду.

Адам (сердито). Помолчи, женщина. Надежда — зло, счастье — зло, уверенность — благо.

Змея. Что такое зло? Теперь ты сам изобрел слово.

Адам. Зло — это то, что я боюсь делать. Слушай меня, Ева. И ты, змея, тоже слушай, чтобы мое обещание запечатлелось в вашей памяти. Я проживу тысячу раз по четыре времени года…

Змея. Тысячу лет, лет.

Адам. Я проживу тысячу лет, а потом больше не выдержу, умру и обрету покой. Все это время я буду любить одну Еву, и никакую другую женщину.

Ева. Если Адам сдержит свое обещание, я до самой его смерти не полюблю другого мужчину.

Змея. Вы вдвоем изобрели брак. Адам будет для тебя тем, чем не будет ни для какой другой женщины, и это называется быть мужем; ты будешь для него тем, чем не будешь ни для какого другого мужчины, и это называется быть женой.

Адам (непроизвольно протягивая Еве руку). Муж и жена.

Ева (пожимая ему руку). Жена и муж.

Змея смеется.

(Отскакивая от Адама.) Кому я сказала? Не смей издавать этот мерзкий звук!

Адам. Не слушай Еву. Звук мелодичен, он радует мне сердце. Ты приятная змея. Но ты еще не дала обещания. Что ты обещаешь?

Змея. Я не даю обетов. Я живу наудачу.

Адам. Наудачу? Что это значит?

Змея. Это значит, что я боюсь всякой уверенности так же, как ты боишься неуверенности. Это значит, что я ни в чем не уверена, ибо уверенности нет и не должно быть. Если я подчиню себе будущее, я подчиню и свою волю. Подчинив же свою волю, задушу творчество.

Ева. Творчество нельзя душить. Повторяю: я буду творить, даже если ради этого мне придется разорваться на куски.

Адам. Молчите вы обе. Я подчиню себе будущее. Я избавлюсь от страха. (Еве.) Мы дали обеты, и если ты хочешь творить, твори так, чтобы не нарушать их. Не смей больше слушать змею. Идем. (Хватает ее за волосы и тащит прочь.)

Ева. Пусти, дурак. Змея еще не поведала мне тайну.

Адам (отпуская ее). Верно. А что такое дурак?

Ева. Не знаю. Слово само пришло мне на ум. Дурак — это ты, когда забываешь про все на свете и сидишь, ломая себе голову и нагоняя на себя страх. Послушаем-ка лучше змею.

Адам. Нет, я ее боюсь. От ее речей земля словно уходит у меня из-под ног. Останься с ней и выслушай ее сама.

Змея смеется.

Адам (просветлев). Этот звук прогоняет страх. Смешно! Змея и женщина решили посекретничать. (Отходит, прыснув. Это первый смех в его жизни.)

Ева. А теперь — тайну! Говори же. (Садится на скалу и обнимает Змею, та шепчет ей на ухо. Лицо Евы озаряется все более острым любопытством, которое затем уступает место непреодолимому отвращению. Она закрывает лицо руками.)

Действие второе

Несколько веков спустя. Утро. Оазис в Месопотамии. На переднем плане бревенчатая хижина с прилегающим к ней огородом. Посреди огорода Адам вскапывает землю. Справа от него, в тени дерева, растущего у дверей хижины, сидит на табурете Ева и прядет лен. Прялка ее — большой тяжелый деревянный диск, отдаленно напоминающий колесо. Ева вращает его рукой. С противоположной стороны огород обнесен живой изгородью из терновника; в изгороди сделан проход, заставленный плетнем. На Адаме и Еве бедная, убогая одежда из грубого полотна и листьев. Оба утратили молодость и грацию. Борода у Адама нечесана, волосы подстрижены неровно. Однако супруги еще полны здоровья и сил. Вид у Адама озабоченный, как у всякого земледельца. Ева выглядит повеселей (она ко всему относится легко), но по временам, продолжая прясть, погружается в раздумье.

Мужской голос. Эй, мать!

Ева (глядя через огород, в сторону плетня). Это Каин.

Адам недовольно ворчит, но не поднимает головы и продолжает копать.

В огород, отбросив плетень ногою, входит Каин. Вид, осанка и голос его подчеркнуто воинственны. При нем огромное копье и широкий кожаный щит с медными скрепами. Шлем ему заменяет голова тигра с бычьими рогами. На плечах у него львиная шкура со свисающими когтистыми лапами, поверх нее ярко-красный плащ с золотой застежкой; на ногах — отделанные медью сандалии, на голенях — медные поножи. Воинственно торчащие усы лоснятся от масла. С родителями он высокомерен и в то же время чувствует себя при них несколько неловко, как взбунтовавшийся мальчик, который знает, что он не прощен и что относятся к нему неодобрительно.

Каин (Адаму). Все копаешь? Всегда одно и то же — копай, копай, копай. Далось же тебе это занятие! Вечное топтание на месте, ни новых мыслей, ни приключений. Чем стал бы я, если бы держался за то ремесло, которому ты меня выучил?

Адам. А чем стал ты теперь со своим копьем и щитом, теперь, когда братняя кровь, пролитая тобой, вопиет от земли о возмездии?{136}

Каин. Ты всего лишь первый человек на земле, а я — первый убийца на ней. Первым человеком мог стать кто угодно: это не трудней, чем стать первым кочаном капусты. А вот стать первым убийцей — для этого нужна решимость.

Адам. Вон отсюда! Оставь меня в покое. В мире довольно места, и нам лучше жить врозь.

Ева. Зачем ты гонишь его? Он — мой. Я сотворила его из своего собственного тела и желаю хоть изредка видеть свое творение.

Адам. Ты сотворила и Авеля, а Каин убил его. Как ты можешь смотреть на братоубийцу?

Каин. А кто виноват, что я убил Авеля? Кто изобрел убийство? Я? Нет, сам Авель. Я делал то, чему ты учил меня. Копал, копал и копал. Выпалывал чертополох и терновник. Питался плодами земными. Жил в поте лица своего, как и ты. Я был дурак. Авель же был изобретатель, человек мыслящий и мужественный, настоящий двигатель прогресса. Он узнал, что существует кровь. Он изобрел убийство. Он открыл, что росинка может низвести пламя солнца на землю. Он изобрел жертвенник, чтобы поддерживать огонь. На огне он превращал убитых им животных в мясную пищу и поддерживал ею свою жизнь. Чтобы приготовить обед, ему достаточно было посвятить день веселой и полезной для здоровья охоте да час-другой поиграть с огнем. Ты ничему у него не научился: ты лишь надрывался и копал, копал и надрывался, принуждая меня к тому же. Я завидовал Авелю, его благоденствию и свободе. Я презирал себя за то, что подражаю не ему, а тебе. Он так благоденствовал, что начал делить свою пищу с голосом, который подсказал ему все его изобретения. Авель уверял, что этот голос принадлежит огню, который жарит для него пищу; что если огонь может жарить, он может и есть. Авель говорил правду: я сам видел, как огонь пожирает пищу на его жертвеннике. Тогда я тоже воздвиг жертвенник и положил на него свою пищу: зерно, коренья, плоды. И напрасно: у меня ничего не получилось. Брат посмеялся надо мной, и тут мне пришла великая мысль: почему бы не убить его, как он убивает животных? Я нанес удар, и Авель умер, как умирали животные. Тогда я бросил нескончаемый труд, которому, как дурак, предавался ты, и стал жить, как жил Авель: охотясь, убивая, поддерживая огонь. Разве теперь я не лучше, чем ты? Не сильней, не счастливей, не свободней?

Адам. Вовсе ты не сильней: ты одышлив и не можешь долго работать. Ты внушил зверям страх перед нами, ты вынудил змею изобрести яд, чтобы защищаться от тебя. Я сам тебя боюсь. Если ты подойдешь к матери еще хотя бы на шаг, я не посмотрю на твое копье и ударю тебя заступом, как ты ударил Авеля.

Ева. Он не ударит меня. Он меня любит.

Адам. Брата он тоже любил. Однако он убил его.

Каин. Я не хочу убивать женщин. Я не хочу убивать свою мать. Ради нее я пощажу и тебя, хотя могу пронзить тебя копьем с такого расстояния, на каком твой заступ не достанет меня. Если бы не мать, я бы наверняка поддался искушению и убил тебя, хоть и побаиваюсь, как бы ты сам меня не убил. Я схватывался насмерть с вепрем и львом. Я бился и с человеком — копье к копью, щит к щиту. Это страшно, но это наслаждение, которому нет равного. Я называю это боем. Кто не бился, тот не жил. Вот почему я пришел сегодня к своей матери.

Адам. Что между вами осталось общего? Она творит, ты разрушаешь.

Каин. Разве мог бы я разрушать, если бы она не творила? Я хочу, чтобы она создала побольше мужчин. И, конечно, побольше женщин, чтобы те, в свою очередь, создали побольше мужчин. Я сочинил блистательную поэму, где действует множество мужчин. Их больше, чем листьев на тысяче деревьев. Я разделю их на два больших войска. Одно поведу я сам, другое — тот, кого я сильнее всего боюсь, с кем сильнее всего жажду схватиться, кого сильнее всего хочу убить. Оба войска стараются перебить друг друга. Представляешь себе? Толпы людей сходятся, сражаются, убивают, убивают. Все четыре реки красны от крови.{137} Торжествующие клики, исступленный рев, отчаянные проклятия, мучительные стоны! Вот настоящая жизнь! Жизнь, волнующая до мозга костей, кипучая, хмельная! Кто не видел, не слышал, не чувствовал, не пережил этого, тот жалкий глупец в сравнении с тем, кто изведал это.

Ева. А как же я? Неужели я всего-навсего орудие для создания людей, которые будут убиты тобой?

Адам. Или убьют тебя, дурак.

Каин. Мать, ты создаешь людей. Это твое право, твой риск, твоя мука, твоя слава. Ради этого ты превратила моего отца в свое, как ты выражаешься, орудие, в простое орудие. Ради тебя он копает, потеет, надрывается, как вол, помогающий ему пахать, или осел, носящий для него тяжести. Но никакая женщина не заставит меня жить так, как живет отец. Я буду охотиться, сражаться, биться, пока мои мышцы не лопнут. Если, рискуя жизнью, я убью вепря, я швырну тушу своей жене и, когда она изжарит мясо, дам ей кусок за труды. Иной пищи у нее не будет, поэтому она станет моей рабыней. А если другой мужчина убьет меня, она достанется ему в добычу. Мужчина должен быть господином женщины, а не ее ребенком или работником.

Адам бросает заступ и угрюмо смотрит на Еву.

Ева. Уж не соблазняет ли тебя такая участь, Адам? Быть может, это лучше, чем наша любовь?

Каин. Что он понимает в любви? Лишь тот, кто сражался, глядел в лицо опасности и смерти, напрягал в схватке последние силы, — лишь тот знает, как сладостен отдых в объятиях любимой женщины. Спроси ту, кого ты произвела на свет и кто стала моей женой, хочет ли она, чтобы я вновь сделался таким, каким был в дни, когда, подражая Адаму, пахал и трудился.

Ева (сердито отталкивая пряжу). Что? Ты смеешь расхваливать при мне негодницу Луа, худшую из дочерей и жен? Ты ее господин? Да ты у нее в гораздо большем рабстве, чем вол у Адама или твоя овчарка у тебя самого. Скажите на милость! Он рискует жизнью, убивает вепрей и бросает жене за труды кусок мяса. Как бы не так! Ты думаешь, я не знаю, что такое она и что такое ты, жалкий глупец? Да разве ты рискуешь жизнью, когда ставишь капканы на горностаев, соболей и черно-бурых лис, мехом которых прикрываешь своей лентяйке плечи, так что она походит скорее на зверя, чем на женщину? Разве ты мнишь себя великим воином, когда ловишь в силки безобидных птичек лишь потому, что ей невмоготу жевать честно заработанную пищу? Да, убивая тигра, ты рискуешь собой, но кому достается полосатая шкура, ради которой ты идешь на риск? Твоя жена забирает ее себе и валяется на ней, а тебе бросает вонючую несъедобную тушу. Ты сражаешься, воображая, что Луа восхищается твоими подвигами и вожделеет к тебе. Глупец! Она гонит тебя в бой для того, чтобы ты отдавал ей украшения и драгоценности тех, кого ты убиваешь, чтобы те, кто боится тебя, заискивали перед ней и задабривали ее золотом. Ты коришь меня тем, что я превратила Адама в простое орудие, но я пряду, веду хозяйство, рожаю и ращу детей, ибо я женщина, а не избалованная кошка, которая ластится к мужчинам и вырывает у них добычу. Что ты такое, как не раб размалеванного лица и связки скунсовых шкурок? Когда я родила тебя, ты был мальчик как мальчик; когда я родила Луа, она была девочка как девочка. А чем вы стали теперь?

Каин (переложив копье на сгиб левой руки, в которой у него щит, и покручивая усы освободившейся правой). Есть кое-что повыше, чем человек. Это герой и сверхчеловек.

Ева. Какой ты сверхчеловек! Ты просто не человек. Ты для ближнего — что хорек для кролика, а твоя Луа для тебя — что пиявка для хорька. Ты презираешь своего отца, но он всю жизнь трудился и, умирая, оставит мир более богатым, чем раньше. А когда умрешь ты, люди скажут: «Он был великий воин, но если бы он не родился, мир только выиграл бы». А про Луа они вовсе ничего не скажут: вспомнят — и отплюнутся.

Каин. С нею легче жить, чем с тобой. Посмей она пилить меня так, как ты пилишь меня и Адама, я избил бы ее до беспамятства. Кстати, я это уже делал, хоть ты и уверяешь, что я у нее в рабстве.

Ева. Да, ты бил ее за то, что она засматривалась на других мужчин, но потом сам же валялся у нее в ногах и со слезами молил о прощении, становясь в десять раз больше рабом, чем прежде. Она же, навизжавшись досыта, прощала тебя, как только проходила боль, верно?

Каин. Да, прощала и после этого любила особенно горячо. Такова женская натура.

Ева (по-матерински сострадательно). Любила! Ты называешь это любовью! Ты называешь это женской натурой! Мальчик, ни женская, ни мужская натура здесь ни при чем. Это не любовь и не жизнь. У тебя нет ни подлинной крепости в костях, ни подлинного пыла в теле.

Каин. Да ну? (Хватает копье и неистово взмахивает им.)

Ева. Да, да, ты сознаешь себя сильным, лишь когда размахиваешь палкой. Ты не способен наслаждаться жизнью, если она не приправлена риском и не раскалена злобой; ты не способен ни любить Луа, пока лицо ее не размалевано, ни ощутить теплоту ее тела, пока ты не напялил на него беличий мех. Ты умеешь чувствовать только боль, верить только лжи. Тебе лень поднять голову, чтобы подивиться на чудеса жизни, которые окружают тебя, но ты готов бежать за десять миль, лишь бы увидеть бой и смерть.

Адам. Довольно болтать. Отстань от мальчишки.

Каин. Это я-то мальчишка? Ха-ха-ха!

Ева (Адаму). Уж не воображаешь ли ты, что его образ жизни все-таки лучше, чем твой? Тебя это, кажется, прельщает. Может быть, ты согласен ублажать меня, как он ублажает свою жену? Убивать тигров и медведей, чтобы я могла нежиться на их шкурах? Не хочешь ли ты, чтобы я размалевывала себе лицо, холила руки, сохраняя их красоту, ела куропаток, голубей и козлят, у которых ты будешь отнимать для меня молоко их маток?

Адам. Нет. С тобой и без того нелегко жить. Оставайся такой, какая ты есть, а я останусь таким, каков я теперь.

Каин. Вы оба ничего не понимаете в жизни. Вы — деревенщина, и только. Вы кормите своих волов, собак и ослов, вы служите им, хотя приручали их для того, чтобы они работали на вас. Но я знаю, как спасти вас от такой жизни. Я кое-что придумал. Почему бы вам не приручить людей, чтобы на вас работали другие мужчины и женщины? Почему бы вам с детства не приучить их к этой участи? Пусть думают, что мы боги, а они рождены на свет лишь для того, чтобы создавать нам счастливую жизнь.

Адам (с увлечением). Да, это великая мысль.

Ева (презрительно). Воистину великая!

Адам. Почему бы и нет? — как говаривала когда-то змея.

Ева. Потому что я не потерплю у себя в доме таких выродков. Потому что я не выношу ничего увечного, безобразного, неестественного — ни уродов о двух головах, ни сухоруких калек. Я только что сказала Каину, что он не мужчина, а Луа не женщина: оба они чудовища. А теперь ты вознамерился вместе с ним выращивать чудовищ еще похуже для того, чтобы вы имели возможность изнывать от безделья и лени, а прирученные вами люди-животные считали труд пагубой и проклятьем. Прекрасная мечта, ничего не скажешь! (Каину.) Твой отец — дурак с виду, ты же — дурак до мозга костей, а твоя нахалка жена — и того чище.

Адам. Почему это я дурак? Чем я глупее тебя?

Ева. Ты уверял, что убийства не будет, что вещий голос запретит нашим детям убивать. Отчего же он не запретил Каину?

Каин. Он запрещал, но я не ребенок, чтобы слушаться разных голосов. Голос думал, что я всего лишь сторож брату моему{138}; но он понял, что я сам по себе, а брат мой сам по себе, и незачем мне печься о нем. Я ему был не сторож, он мне тоже. Почему он не убил меня? Ни ему, ни мне никто не мог помешать. Это была схватка двух мужчин, и я взял в ней верх. Я стал первым победителем на земле.

Адам. Что же сказал тебе голос, когда ты думал обо всем этом?

Каин. Признал мою правоту — вот что. Он сказал, что проступок мой ляжет на меня, как клеймо, которым Авель метил своих овец, и что, видя эту печать, никто не убьет меня. И вот я здесь, целый и невредимый, а людей, которые никого не убивали и довольствуются тем, что состоят в сторожах при братьях своих, хотя могли бы сделаться их господами, — этих трусов презирают, травят и убивают, как кроликов. Тот, на ком Каинова печать{139}, станет властелином земли. И всякому, кто его убьет, отмстится всемеро. Так сказал голос. Остерегайтесь же умышлять на меня — и ты, и остальные.

Адам. Перестань бахвалиться и стращать. Ответь-ка по правде, не сказал ли голос, что раз никто не смеет убить тебя за братоубийство, тебе следовало бы самому убить себя?

Каин. Нет.

Адам. Значит, на свете нет божественной справедливости — если, конечно, ты не лжешь.

Каин. Я не лгу. Я не боюсь говорить правду, какой бы она ни была. А божественная справедливость все-таки существует. Голос сказал, что отныне я должен бросать вызов каждому встречному — пусть убьет меня, если в силах. Я не могу стать великим, не рискуя собой. Это и есть моя расплата за кровь Авеля. Опасность и страх неотступно сопутствуют мне. Не будь их, мне не нужна была бы смелость. А смелость и только смелость ведет нас к алым вершинам жизни.

Адам (поднимая заступ и вновь приготовляясь копать). Вот и уходи отсюда. Такой жизнью, какая прельщает тебя, нельзя жить тысячу лет, а я должен продержаться десять веков. Если вы, вояки, не погибнете в схватках друг с другом или со зверьем, вас все равно доконает то зло, что внутри вас. Ваше тело уже сейчас напоминает собой не тело мужчины, а нарост на больном дереве: вы не дышите, а чихаете, выхаркивая свои легкие; вы сохнете и чахнете. Ваше нутро гниет, волосы лезут, зубы чернеют и крошатся. Вы умираете до срока, и притом не по доброй воле. А я буду копать и жить.

Каин. А можешь ты ответить, старый сморчок, на кой тебе черт жить тысячу лет? Ты копаешь землю вот уже много веков, но разве ты стал от этого копать лучше? Я прожил куда меньше, чем ты, но давным-давно знаю все, что можно знать о ремесле землепашца. Бросив его, я развязал себе руки для более высоких занятий, о которых ты не имеешь даже представления. Я постиг искусство боя и охоты, иными словами — искусство убивать. Да и откуда у тебя уверенность, что ты проживешь десять веков? Я мог бы убить вас с матерью, и вы сопротивлялись бы мне не дольше, чем пара овец. Ну хорошо, я вас пощадил, но ведь другие могут и не пощадить. Почему вы не хотите пожить пусть немного, но отважно, а затем умереть и уступить место другим? Почему я, хотя знаю и умею больше, чем вы, так быстро надоедаю себе, когда не сражаюсь и не охочусь? Нет, лучше уж самоубийство, на которое подбивает меня иногда вещий голос, чем тысяча лет безысходной скуки.

Адам. Лжец! Минуту назад ты уверял, что голос не требует, чтобы ты заплатил своей жизнью за жизнь Авеля.

Каин. Голос говорит со мной иначе, чем с тобой. Я — мужчина, а ты — всего лишь взрослый ребенок. Одно дело говорить с ребенком, другое — с мужчиной. Мужчина не станет, молча и трепеща, повиноваться голосу. Он возражает, он требует уважения к себе и, в конечном счете, сам диктует голосу, что надо говорить.

Адам. Да будет проклят твой язык, богохульник!

Ева. Придержи-ка лучше собственный язык и не смей проклинать моего сына. Лилит совершила ошибку, столь несправедливо поделив труд между мужчиной и женщиной. Если бы ты, Каин, испытал муки, каких стоило мне создание Авеля, или если бы ты был обязан сотворить другого человека взамен твоего брата в случае его смерти, ты не убил бы его, а скорее рискнул бы своей жизнью ради его спасения. Вот почему твоим пустым речам, прельстившим Адама до того, что он бросил заступ и согласился слушать тебя, я придаю не больше значения, чем зловонному ветру, пролетевшему над падалью. Вот почему враждуют созидательница-женщина и разрушитель-мужчина. Я знаю тебя — я твоя мать. Ты лентяй, ты эгоист. Творить жизнь — дело долгое, трудное, мучительное; для того же, чтобы отнять жизнь, сотворенную не тобой, не нужно ни труда, ни времени. Возделывая землю, ты вынуждал ее жить и рождать, как живу и рождаю я. Именно для этого, а не для грабежа и убийства Лилит избавила вас, мужчин, от родовых мук.

Каин. Дьявол бы ее за это побрал! Я найду себе дело поинтереснее, чем состоять в супругах у земли, по которой ступают мои ноги.

Адам. Дьявол? Новое слово. Что оно означает?

Каин. А вот послушай, старый глупец. Я никогда особенно не верил твоим россказням о голосе, который ты слышишь. Голосов наверняка два: один, презрительный и лживый, шепчется с тобою; другой, искренний и почтительный, говорит со мной. Твой голос я называю дьяволом, мой — богом.

Адам. Мой голос — это голос жизни, твой — это голос смерти.

Каин. Пусть так. Зато мой голос шепчет, что смерть на самом деле не смерть, а врата новой, бесконечно великолепной и бурной жизни, где живет лишь душа, где нет глыб земли и заступа, голода и усталости…

Ева. Это жизнь лентяя и эгоиста. Узнаю тебя, Каин.

Каин. Жизнь эгоиста — да, но это жизнь, в которой никто не должен быть сторожем брату своему, потому что брат его может и сам позаботиться о себе. Но какой же я лентяй? Правда, я бросил ваше земледелие, но разве я не принял на себя такие труды и муки, о которых вы даже не имеете представления? Стрела легче заступа, но, чтобы пронзить ею грудь врага, нужно приложить такую энергию, что сравнивать с нею то напряжение, которого требует втыкание заступа в безответную землю, это все равно что сравнивать огонь с водой. Я равен силой десятерым, ибо сердце мое чисто.

Адам. Что значит это слово? Что такое быть чистым?

Каин. Это значит отвернуться от земли и обратить лицо к солнцу, к ясному светлому небу.

Адам. Мальчик, небо пусто, а земля плодородна. Она питает нас. Она дает нам силу, за счет которой мы создали и тебя, и все человечество. Ты презираешь землю, но оторвавшись от нее, бесславно погибнешь.

Каин. Я восстаю против земли. Я восстаю против пищи. Ты говоришь: она дает нам силу. Но разве не превращается она в отбросы и не заражает нас всяческими болезнями? Я восстаю против рождения, которым вы с матерью так горды. Оно ставит нас на одну доску с животными. Если оно не только первое, но и самое высшее свершение, на какое мы способны, пусть человечество погибнет. Если я обречен жрать, как медведь, а Луа — рожать детенышей, как медведица, я предпочитаю быть медведем, а не человеком: медведю нечего стыдиться — он не знает лучшей доли. Если ты, как медведь, доволен такой участью, то меня она не устраивает. Оставайся с женщиной, дарящей тебе детей, а я пойду к той, кто дарит мне мечту. Копайся в земле, добывая себе пищу, а я добуду ее стрелой с неба или копьем здесь, на земле, по которой в цвете сил и лет бродят звери. Если уж я принужден добывать пищу, чтобы не умереть с голоду, я буду добывать ее как можно дальше от земли. Трава, превращаясь в мясо быка, попадает ко мне уже в более облагороженном виде. Человек еще благородней быка. Поэтому я когда-нибудь заставлю своего врага съесть быка, а затем убью и съем самого врага.

Адам. Чудовище! Слышишь, Ева, что он говорит?

Ева. Так вот зачем ты обращаешь лицо к ясному светлому небу! Людоед! Пожиратель младенцев! Да, да, очередь дойдет и до них, как дошла до ягнят и козлят, стоило Авелю начать убивать взрослых овец и коз. И все же ты жалкая глупая тварь. Неужели ты думаешь, что подобные мысли не приходили и мне? Мне, на кого ложится вся тяжесть деторождения? Мне, кто выбивается из сил, готовя пищу? Когда-то и я мечтала, что мой сильный смелый сын, способный вообразить себе лучшую долю и пожелать того, что он вообразил, будет способен также добиться того, чего желает. А свелось все к тому, что он хочет стать медведем и пожирать младенцев. Но медведь и тот не ест человека, если может найти мед.

Каин. Я не хочу быть медведем. Я не хочу пожирать младенцев. Я не знаю, чего хочу. Я знаю лишь одно: я желаю быть выше и благородней, чем этот старый глупый землекоп, который был сотворен Лилит для того, чтобы помочь тебе родить меня, и которого теперь, когда он сделал свое дело, ты презираешь от всего сердца.

Адам (мрачно и яростно). Меня так и подмывает доказать тебе, что твое копье не помешает мне проломить заступом твою непочтительную голову.

Каин. Непочтительную? Ха-ха-ха! (Взмахивает копьем.) Ну что ж, всеобщий родитель, попробуй! Отведай вкус боя!

Ева. Уймитесь вы, дураки! Сядьте, успокойтесь и послушайте, что я скажу.

Адам, пожав плечами, бросает заступ; Каин с хохотом отбрасывает щит и копье, и оба садятся на землю.

Сама не знаю, кем из вас я больше недовольна — тобой, грязный землекоп Адам, или тобой, грязный убийца Каин. Мне не верится, что Лилит создала вас свободными только для того, чтобы вы, каждый на свой манер, влачили такую жалкую жизнь. (Адаму.) Ты выкапываешь из земли коренья и взращиваешь зерно. Почему бы тебе не добывать божественное пропитание прямо с неба? Каин грабит и убивает, чтобы не умереть с голоду, а на досуге сочиняет басни о жизни после смерти. Он облекает свою отравленную страхом жизнь в красивые слова, а свое отравленное недугами тело в красивые одежды, чтобы люди чтили и славили его, а не кляли, как грабителя и убийцу. Все мужчины, кроме Адама, — мои сыновья, внуки, правнуки; все они навещают меня и бахвалятся передо мной, выкладывая матери Еве все свои убогие познания, все свои мелочные дела. Приходят земледельцы, приходят воины и убийцы. Все они ужасно скучные: одни жалуются на нынешний урожай, другие похваляются своим последним боем, хотя урожай в этом году точно такой же, как в прошлом, а последний бой как две капли воды похож на первый. Ах, я тысячи раз слышала все это. Они рассказывают мне о своем последнем ребенке, о том, какие умные слова сказал вчера их любимчик, о том, что мир не видел еще такого замечательного, одаренного, сметливого малыша. А я должна ахать, удивляться, восхищаться, хотя последний ребенок ничем не отличается от первого и не сказал и не сделал ничего такого, чем не восхищались бы мы с Адамом в ту пору, когда ты и Авель были детьми. Вы были первыми детьми на земле и преисполняли нас таким удивлением и восторгом, каких до скончания веков уже не испытают ни одни супруги. Когда мне больше невмоготу слушать болтовню, я иду в наш старый сад, заросший теперь крапивой и чертополохом, иду в надежде встретить там змею и поговорить с ней. Но ты превратил змею в нашего врага. Она уползла из сада или умерла — ее нигде не видно. Я поневоле возвращаюсь домой и слушаю, как Адам в десятитысячный раз повторяет одно и то же, или принимаю своего последнего праправнука — он уже вырос и жаждет покрасоваться передо мной. О, как это скучно, как скучно! И терпеть это мне придется еще почти семь веков.

Каин. Бедная мама! Ты сама видишь: жизнь чересчур долга. Все приедается. Ничто не ново под солнцем.

Адам (Еве, сварливо). Зачем же ты живешь до сих пор, если знаешь одно — вечно жаловаться?

Ева. Затем, что у меня остается надежда.

Каин. На что?

Ева. На то, что твои и мои мечты сбудутся. Надежда на новое творчество. Надежда на лучшее. Не все мои сыновья и внуки — земледельцы и воины. Кое-кому из них не хочется ни копать землю, ни сражаться. Они еще более никчемны, чем любой из вас: они слабы и трусливы; они тщеславны, но неопрятны и даже не дают себе труда подстричь волосы. Они берут взаймы и не платят долгов, но им ни в чем не отказывают, потому что они умеют сочинять красивую ложь, облеченную в красивые слова. Они умеют запоминать свои грезы. Они умеют грезить наяву. Воля у них слабая: они способны только мечтать, а не творить; но змея уверяла, что любая мечта может быть претворена в действительность волей тех, кто достаточно силен, чтобы поверить в эту мечту. Среди моих потомков есть и другие. Они срезают тростинки различной длины и дуют в них, оглашая воздух нежной трелью, а подчас извлекают звуки из трех тростинок сразу, сливая несколько трелей в единый напев, возносящий мою душу к высотам, о которых не скажешь словами. Есть и такие, что лепят из глины маленьких мамонтов, и такие, что высекают на гладких камнях лица и требуют, чтобы я творила для них женщин с такими лицами. Я подолгу смотрела на эти лица, укрепляя в себе желание создать то, чего от меня ждут, и наконец родила девочку, которая с годами стала совершенно схожа с изображениями на камнях. Есть и такие, что умеют считать без помощи пальцев, наблюдать ночное небо, давать имена звездам и предсказывать, когда тьма закроет солнце, как закопченная крышка — кипящий котел. В числе их Тувал, придумавший для меня веретено, которое так облегчило мой труд. И Енох, блуждающий по холмам, где он постоянно слышит голос: он отказался от собственной воли, чтобы исполнять веления голоса, который передал ему частицу своего величия. Навещая меня, они всякий раз приносят мне весть о новом чуде или новую надежду, словом, нечто такое, ради чего стоит жить. Они не желают умирать, потому что всегда учатся, творят, познают или хотя бы мечтают. А ты, Каин, пришел ко мне с нелепой похвальбой, с дурацкими россказнями о схватках и разрушении и еще надеялся, что я сочту все это великолепным, объявлю тебя героем и поверю, будто цену жизни придают лишь смерть или страх смерти. Убирайся, гадкий мальчишка, а ты, Адам, не трать время даром. Перестань его слушать и берись за работу.

Каин. Я, может быть, не очень умен, но…

Ева. Да, не очень, только не бахвалься. Это не делает тебе чести.

Каин. Зато у меня есть инстинкт, и он подсказывает мне, что смерть играет-таки известную роль в жизни. Скажи, мать, кто изобрел смерть?

Адам вскакивает, Ева роняет прялку. Оба совершенно растеряны.

Да что это с вами?

Адам. Сын, ты задал нам страшный вопрос.

Ева. Ты изобрел убийство. Вот и довольствуйся этим.

Каин. Убийство — не смерть. Ты знаешь, что́ я имею в виду. Те, кого я убиваю, все равно умерли бы, даже если бы я пощадил их. Я тоже умру, даже если меня не убьют. Кто обрек меня на это? — спрашиваю я. Кто изобрел смерть?

Адам. Сын, будь благоразумен. Разве ты в силах жить вечно? Тебе кажется, что да, ибо ты знаешь, что вечная жизнь не угрожает тебе. Но я-то изведал, что значит неустанно размышлять о том, как ужасны вечность и бессмертие. Подумай, что значит не иметь выхода, всегда оставаться Адамом, Адамом и еще раз Адамом, быть им столько же дней, сколько песчинок на берегах обеих рек, и все же ни на минуту не приблизить конец! А я ведь столь многое в себе ненавижу и так жажду от всего этого избавиться! Будь признателен своим родителям за то, что они даровали тебе способность перелагать твое бремя на новых и лучших людей и завоевали для тебя право на вечный покой, ибо это мы изобрели смерть.

Каин (вставая). И хорошо сделали: я тоже не хочу жить вечно. Но как можете вы, если сами изобрели смерть, порицать меня за то, что я ее служитель?

Адам. Я не порицаю тебя. Иди с миром. Дай мне спокойно копать, а матери прясть.

Каин. Хорошо, дам, хоть я и показал вам путь к лучшей доле. (Поднимает щит и копье.) Я возвращаюсь к моим славным друзьям-воинам и к их красавицам женам. (Направляется к живой изгороди.) Где был дворянин, кто о нем слыхал, когда Ева пряла и Адам пахал?{140} (С хохотом уходит и кричит издалека.) Прощай, мать!

Адам. Ленивый пес! Даже плетень не мог на место поставить. (Поднимает плетень и загораживает проход.)

Ева. Из-за него и ему подобных смерть берет верх над жизнью. Уже сейчас большинство наших внуков умирает раньше, чем научается жить.

Адам. Не беда. (Плюет на руки и опять берется за рукоять заступа.) Жизнь, как ее ни укорачивай, все равно достаточно длинна, чтобы научиться возделывать землю.

Ева (задумчиво). Чтобы возделывать землю и сражаться — да. Но достаточно ли она длинна для иных, великих дел? Доживут ли люди до тех пор, когда смогут отведать манны?

Адам. Что такое манна?

Ева. Пища, слетающая с неба и сделанная из воздуха, а не выкопанная из грязной земли. Успеют ли наши потомки за свою короткую жизнь изучить все пути звезд? Еноху потребовалось целых два столетия, чтобы научиться постигать веления голоса. В восемьдесят лет, когда он был еще ребенком, его младенческие попытки истолковать голос были опаснее, чем неистовство Каина. Если люди укоротят свою жизнь, они будут лишь копать землю, сражаться, убивать и умирать, а их маленькие Енохи подтвердят, что таково веление голоса: он заповедал вечно копать землю, сражаться, убивать и умирать.

Адам. Коль скоро они ленивы и стремятся к смерти, я не властен это изменить. Я проживу свою тысячу лет, а если они не хотят подражать мне, пусть умирают и отправляются в ад.

Ева. Ад? Что это такое?

Адам. Место для тех, кому смерть милее, чем жизнь. Берись-ка за прялку и не сиди без дела. Я-то ведь надрываюсь ради тебя.

Ева (медленно поднимая прялку). Будь ты поумней, ты придумал бы для нас обоих занятие получше, чем прясть и копать.

Адам. Принимайся за работу, кому я сказал? Иначе останешься без хлеба.

Ева. Человек жив не хлебом единым{141}. На свете есть кое-что другое. Мы еще не знаем — что именно, но когда-нибудь узнаем и тогда будем жить только этим, и не надо будет ни копать, ни прясть, ни сражаться, ни убивать. (Покорно принимается прясть.)

Адам безостановочно копает.

Часть II

Евангелие от братьев Барнабас

Первые послевоенные годы{142}. Просторный, хорошо обставленный кабинет. За письменным столом сидит и пишет представительный господин лет пятидесяти, во всем черном. На нем не пиджак, а сюртук и белый галстук. Жилет у него, правда, не совсем такой, какой носят священники, и воротничок застегивается не сзади, а спереди, но весь его преисполненный достоинства вид, равно как атмосфера процветания, чувствующаяся в комнате, наводят на мысль, что перед нами духовное лицо. Тем не менее ясно, что человек этот — не настоятель собора и не епископ; у него также слишком интеллигентное лицо для типичного приверженца свободной церкви; не может он, наконец, быть и главою какого-нибудь крупного учебного заведения — у него недостаточно замученный вид.

Своими большими окнами с широкими удобными подоконниками кабинет выходит на Хемстед Хис{143}, за которым виднеется Лондон. Кабинет залит солнцем — на дворе яркий весенний день. Если стать лицом к окнам, справа окажутся камин, где догорают поленья, и, на коврике перед ним, два покойных кресла. Сбоку от камина, в глубине, дверь. Под окнами, чуть влево от середины, письменный стол, за которым, повернувшись вправо, так, что нам виден его профиль, и сидит вышеупомянутое духовное лицо. С левой стороны комнаты — диван; с правой — пара чипендейловских стульев{144}. Посреди комнаты, напротив письменного стола, квадратный, обитый кожей табурет. Стены заставлены книжными стеллажами: сверху полки, внизу ящики.

Дверь распахивается, и в ней появляется джентльмен примерно тех же лет, что духовная особа, только пониже ростом и с бородкой. На нем поношенный твидовый костюм, а сам он выглядит и держится попроще, чем хозяин.

Духовная особа (фамильярно, но сухо). Хэлло! Я ждал тебя с пятичасовым поездом, не раньше.

Джентльмен в твиде (медленно входя). Я решил поторопиться. Мне надо кое-что тебе сказать.

Духовная особа (бросая перо). Что именно?

Джентльмен в твиде (поглощенный своими мыслями, опускается в кресло). Я наконец определил срок. Он составляет триста лет.

Духовная особа (порывисто выпрямляясь в кресле). Какое совпадение! Просто изумительно! Когда ты перебил меня, я как раз дописал: «Самое меньшее триста лет». (Хватает рукопись и указывает пальцем.) Вот. (Читает.) «Человеческая жизнь должна длиться самое меньшее триста лет».

Джентльмен в твиде. Как ты пришел к этой мысли?

Дверь отворяется, горничная вводит молодого священника.

Горничная. Мистер Хэзлем. (Уходит.)

Посетитель явился так некстати, что хозяин забывает даже подняться, и оба брата с откровенным неудовольствием смотрят на вошедшего. На Хэзлеме костюм табачного цвета, и лишь воротничок запонкой назад выдает его принадлежность к духовному сословию. Улыбаясь, как школьник, — так простодушно, что на него невозможно рассердиться, он сразу же, явно без всякой подготовки, вмешивается в разговор.

Хэзлем. Боюсь, что пришел совсем некстати. Я здешний приходский священник и, по-видимому, должен навещать свою паству.

Джентльмен в твиде (ледяным тоном). Нас, знаете ли, нельзя отнести к числу прихожан.

Хэзлем. Ну это, с вашего позволения, не столь важно. Большинство моих прихожан — люди темные, как вода в луже. Здесь почти не с кем поговорить, а о вас я много слышал. Надеюсь, мое посещение не слишком обременит вас? Конечно, если я мешаю, я мигом улетучусь.

Духовная особа (встает, обезоруженно). Присядьте, мистер… э-э…

Хэзлем. Хэзлем.

Духовная особа. Мистер Хэзлем.

Джентльмен в твиде (встает и указывает на свое кресло). Прошу. (Направляется к чипендейловским стульям.)

Хэзлем (садясь). Весьма благодарен.

Духовная особа. Это мой брат Конрад, доктор Конрад Барнабас, профессор биологии в Джерроуфилдском университете. А меня зовут Фрэнклин, Фрэнклин Барнабас. Я некоторое время носил сан.

Хэзлем (сочувственно). Обычная история. Если в распоряжении семьи есть вакантный приход или если ваш родитель нашел протекцию, вас волей-неволей толкнут на церковную дорожку.

Конрад (садясь на тот чипендейловский стул, что подальше, и усмехаясь в ответ на реплику священника). Гм!

Фрэнклин. Бывает и так, что совесть заставляет вас свернуть с этой дорожки.

Хэзлем. Конечно бывает. Но куда податься такому, как я? Я не настолько интеллигент, чтобы терзаться сомнениями, когда мне дают готовое место и лучшего не предвидится. Смею сказать, вам, наверно, было тесновато в рамках церкви; мне же удобно и в них. Во всяком случае, на мой век этого хватит. (Добродушно смеется.)

Фрэнклин (с новой энергией). Слышишь, Кон? Опять то же самое: на его век хватит. Люди не принимают жизнь всерьез — она для этого слишком коротка.

Хэзлем. Разумеется, такая точка зрения тоже вполне возможна.

Фрэнклин. Меня, мистер Хэзлем, никто не толкал на духовную стезю. Я сам почувствовал потребность ходить перед богом, как Енох{145}. Однако, просвященствовав двадцать лет, я понял, что остался прежним самодовольным невеждой и мне недостает по меньшей мере ста пятидесяти лет, чтобы приобрести опыт и мудрость, на которые я притязал.

Хэзлем. Как поразмыслишь хорошенько, так видишь, что старику Мафусаилу следовало бы дважды подумать, прежде чем избрать себе жизненный путь. Знай я, что мне предстоит прожить девятьсот шестьдесят лет, я вряд ли стал бы священнослужителем.

Фрэнклин. Если бы люди жили хоть треть этого срока, церковь была бы совершенно иной, нежели ныне.

Конрад. Будь у меня надежда прожить девятьсот шестьдесят лет, я стал бы настоящим биологом, а не ребенком, едва начинающим ходить, как теперь. Так ли уж вы уверены, что из вас не получилось бы хорошего священника, если бы вам было отпущено на это несколько сот лет?

Хэзлем. Ну, дело тут меньше всего во мне. Стать приличным священником не так уж трудно. Мне не по душе сама церковь. Я не мог бы терпеть ее целых девятьсот лет. Я непременно порвал бы с нею. Знаете, стоит нашему епископу, а он у нас — форменное ископаемое, отмочить что-нибудь слишком уж ветхозаветное, как у меня в саду начинает порхать птичка.

Фрэнклин. Птичка?

Хэзлем. Вот именно. Та самая, что в конце весны целыми днями чирикает: «Тут или фьють! Тут или фьють!» Жаль, что мой отец не выбрал для меня другую карьеру.

Горничная возвращается.

Горничная. Есть что-нибудь на почту, сэр?

Фрэнклин. Вот. (Протягивает пачку писем.)

Горничная подходит к столу и берет их.

Хэзлем (горничной). Вы уже предупредили мистера Барнабаса?

Горничная (смущенно). Нет еще, сэр.

Фрэнклин. О чем?

Хэзлем. Она собирается уйти от вас.

Фрэнклин. Вот как? Очень жаль. Надеюсь, мы в этом не виноваты, мистер Хэзлем?

Хэзлем. Напротив. Она вполне довольна местом.

Горничная (краснея). Я никогда ни на что не жаловалась, сэр. Место такое, что лучше не найдешь. Но я не могу упускать случай. Человек живет один раз. Прошу прошения, сэр. Боюсь опоздать на почту. (Уносит письма.)

Братья вопросительно смотрят на Хэзлема.

Хэзлем. Глупая девчонка! Надумала выйти замуж за деревенского лесоруба. Нарожает ему кучу детишек, проживет жизнь в лачуге, и все только потому, что у парня красивые усики и мечтательные глаза.

Конрад (недоверчиво). А по ее словам, дело в том, что человек живет один раз.

Хэзлем. Это одно и то же… Бедняжка! Парень уговаривает ее чирикнуть «Фьють!» — а выйдет она за него, и придется ей до смерти повторять: «Тут! Тут! Тут!» Прескверно, я бы сказал, устроен мир.

Конрад. Ей, видите ли, не хватает времени уразуметь, в чем истинный смысл жизни. Она так и умрет, не поняв этого.

Хэзлем (бодро). Без сомнения.

Фрэнклин. У нее не хватает времени выработать в себе на разумных началах чувство совести.

Хэзлем (еще бодрее). Вот именно.

Фрэнклин. Хуже того, у нее нет времени обзавестись совестью вообще, если не считать нескольких правил приличия и романтических понятий о чести. Жить в мире и не обладать чувством совести — вот в чем ужас нашего существования.

Хэзлем (сияя). Полная бессмыслица! (Поднимается.) Мне, пожалуй, пора. Вы очень любезны, что не рассердились на меня за вторжение!

Конрад (прежним ледяным тоном). Если разговор вас действительно интересует, вам нет нужды уходить.

Хэзлем (ему все это надоело). Но я боюсь, что… Нет, мне все-таки пора — у меня дело в…

Фрэнклин (снисходительно улыбаясь, встает и протягивает руку). До свиданья!

Конрад (угрюмо — он понимает, что с Хэзлемом каши не сваришь). До свиданья!

Хэзлем. До свиданья! Сожалею, что…

Подходит поближе, чтобы пожать руку Фрэнклину, чувствуя, что с уходом у него как-то не получилось. В эту минуту в комнату врывается загорелая девушка с каштановой шевелюрой, коротко подстриженной на манер юного итальянца с картины Гоццоли{146}. Одета она очень легко: короткая юбка, блузка, на ногах чулки и норвежские ботинки. Одним словом, типичная сторонница опрощения.

Девушка (подбегая к Конраду и целуя его). Привет, дядя! Ты почему так рано?

Конрад. Веди себя прилично. У нас гость.

Девушка оборачивается, видит Хэзлема, инстинктивно делает попытку привести в порядок свои волосы à la Гоццоли, но тут же отказывается от нее.

Фрэнклин. Мистер Хэзлем, наш новый приходский священник. (Хэзлему.) Моя дочь Цинтия.

Конрад. Обычно ее зовут Сэвви: сокращенное от «сэвидж» — дикарка.

Сэвви. Обычно я зову мистера Хэзлема Биллом — сокращенное от Уильям. (Направляется к коврику у камина и, заняв эту командную позицию, невозмутимо оглядывает окружающих.)

Фрэнклин. Вы знакомы?

Сэвви. Еще бы! Садитесь, Билл.

Фрэнклин. Мистер Хэзлем торопится, Сэвви. У него деловая встреча.

Сэвви. Знаю. Со мной.

Конрад. В таком случае будь добра, пройди с мистером Хэзлемом в сад. Мне надо поговорить с твоим отцом.

Сэвви (Хэзлему). Сыграем в теннис?

Хэзлем. Еще бы!

Сэвви. Пошли. (Убегает, пританцовывая.)

Хэзлем по-мальчишески бросается вдогонку.

Фрэнклин (встав из-за стола и раздраженно расхаживая по комнате). Манеры Сэвви действуют мне на нервы. Ее бабушку они ужаснули бы.

Конрад (упрямо). Они у нее лучше, чем у нашей матери.

Фрэнклин. Конечно, Сэвви во многих отношениях здоровей, непринужденней, естественней. И все-таки ее манеры меня раздражают. Я отлично помню, какой воспитанной женщиной была мама. А Сэвви совершенно невоспитанна.

Конрад. В утонченности мамы было очень мало приятного. Между нею и Сэвви биологическая разница.

Фрэнклин. Но мама держалась красиво, изящно, в ней чувствовались стиль и твердость. Сэвви же — форменный звереныш.

Конрад. В ее возрасте это нормально.

Фрэнклин. Опять та же песня. Возраст! Возраст!

Конрад. А ты хочешь, чтобы в восемнадцать лет она была уже взрослой, сформировавшейся женщиной? Ты стремишься искусственно и преждевременно развить в ней самоуверенность и самообладание, хотя ей пока что нечем обладать — у нее нет еще собственного «я». Оставь-ка лучше ее в покое: она как раз такая, какой положено быть в ее годы.

Фрэнклин. Я оставил ее в покое, а результат? Как это обычно бывает с молодежью, когда она предоставлена самой себе, Сэвви стала социалисткой. Иными словами, нравственные ее устои безнадежно подорваны.

Конрад. А разве ты сам не социалист?

Фрэнклин. Социалист, но я — другое дело. Нас с тобой воспитали в духе старой буржуазной морали. Нам привили буржуазные манеры, буржуазные правила. Быть может, буржуазные манеры делают нас снобами; быть может, в них очень мало приятного, как ты уверяешь; но лучше уж буржуазные манеры, чем никаких. Вероятно, многие правила буржуазной морали ложны, но это все-таки правила; поэтому женщина знает, чего она может ждать и чего ждут от нее. А вот Сэвви не знает. Она большевичка, настоящая большевичка. Она импровизирует, придумывая себе на ходу и манеры, и линию поведения. Часто это очаровательно, но порой она делает вопиюще ложные шаги, и тогда я чувствую: в душе она порицает меня за то, что я не научил ее ничему лучшему.

Конрад. Ну теперь, во всяком случае, у тебя есть такая возможность.

Фрэнклин. Есть, но время уже упущено: Сэвви мне больше не доверяет. Она даже не говорит со мной о таких вещах. Она не читает мои работы. Не ходит на мои лекции. Во всем, что касается ее, я совершенно бессилен. (Вновь садится за письменный стол.)

Конрад. Надо мне поговорить с ней.

Фрэнклин. Тебя она, возможно, и послушает: ты ей не отец.

Конрад. Я послал ей свою последнюю книгу. Попробую начать с того, что спрошу, прочла она ее или нет.

Фрэнклин. Когда Сэвви узнала о твоем приезде, она спросила меня, все ли страницы уже разрезаны — на тот случай, если книга попадется тебе на глаза. Она ни разу не раскрыла ее.

Конрад (возмущенно вскакивая). Что?

Фрэнклин (неумолимо). Ни разу.

Конрад (сдаваясь). Ну что ж, это, по-моему, естественно. Биология — скучная материя для девушки, а я — скучный старый сухарь. (Покорно садится.)

Фрэнклин. Брат, если это действительно так, если биология, область, где работаешь ты, и религия, область, где работаю я, такие же скучные материи, как тот древний хлам, который преподается в школах под названием естествознания и закона божия, а мы с тобой — такие же скучные старые сухари, как все старые священники и учителя, тогда Евангелие от братьев Барнабас — заблуждение и ошибка. Если эти нудные ископаемые — религия и наука не оживут в наших руках, не оживут и не станут захватывающе интересными, нам лучше оставить свои занятия и вскапывать свой сад до того самого дня, когда нам придется копать себе могилу.

Возвращается горничная.

(Раздраженный тем, что его перебили, бросает.) Ну, что там еще?

Горничная. Звонит мистер Джойс Бердж{147}, сэр. Просит к телефону вас.

Фрэнклин (изумленно). Мистер Джойс Бердж?

Горничная. Да, сэр.

Фрэнклин (Конраду). Что это значит? Мы с ним уже много лет не виделись и не говорили. Еще до того, как он возглавил коалиционное министерство, я отказался от председательства в ассоциации либералов, порвал со всеми политическими партиями, и Бердж отшвырнул меня, как слишком горячую картофелину.

Конрад. Ну, а теперь, когда коалиция решила, что обойдется без него, и Бердж стал всего-навсего одним из полудюжины лидеров оппозиции, он, видимо, надумал подобрать то, что отшвырнул.

Горничная (напоминая). Он ждет у телефона, сэр.

Фрэнклин. Да, да, иду. (Поспешно выходит.)

Горничная подходит к камину и ворошит поленья. Конрад встает, выходит на середину кабинета, останавливается и лукаво поглядывает на нее.

Конрад. Значит, человек живет один раз?

Горничная (на коленях перед камином, смущенно). Я не хотела вас обидеть, сэр.

Конрад. Я и не обиделся. А знаете ли вы, что могли бы жить чертовски долго, если бы только захотели?

Горничная (опускаясь на корточки). Не надо про это, сэр. Все это ужасно выбивает из колеи.

Конрад. Что? Неужели вы задумывались над такими вещами?

Горничная. Мне никогда бы это в голову не пришло, но вы сами надоумили меня, сэр. Мы с кухаркой полистали вашу книжку.

Конрад. Как! Вы с кухаркой полистали мою книжку? А вот моя племянница не удосужилась даже раскрыть ее. Увы, нет пророка в своем семействе…{148} Ну-с, что же вы думаете о жизни длиной в несколько столетий? Хотите попробовать?

Горничная. Я понимаю, сэр, вы просто шутите. Но тут нельзя не призадуматься, особенно если собираешься замуж.

Конрад. При чем здесь замужество? Ваш жених мог бы прожить не меньше вас.

Горничная. В том-то и дело, сэр. Понимаете, сейчас, какая я ни есть, он берет меня на всю жизнь, и разлучит нас только смерть. А вы уверены, что он так же охотно пойдет на это, если будет знать, что жить нам вместе придется несколько сот лет?

Конрад. Пожалуй, не уверен. А сами-то вы как?

Горничная. Скажу по правде, сэр, я ни за что не выживу так долго с одним и тем же человеком. Да и с детьми мне надоест возиться. Знаете, сэр, кухарка сосчитала, что, прожив всего двести лет, уже можно выйти замуж за своего праправнука и даже не догадываться, кто он.

Конрад. А почему бы и не выйти? Откуда вы знаете, что тот, за кого вы собираетесь выйти теперь, не окажется прапраправнуком вашей прапрапрабабушки?

Горничная. И такой брак не кажется вам неприличным, сэр?

Конрад. Милая девушка, прилично все, что оправдано биологической необходимостью, — нравится нам это или нет. Так что бросьте ломать себе голову.

Фрэнклин возвращается, подходит к столу, но не садится. Горничная уходит.

Так что же нужно Джойсу Берджу?

Фрэнклин. Произошло дурацкое недоразумение! Я обещал выступить на митинге в Мидлсборо{149}, а какой-то осел-газетчик написал, что я еду в Мидлсборо, но не объяснил — зачем и почему. А так как мы на пороге выборов, политиканы вообразили, что я еду туда с целью выставить свою кандидатуру в парламент. Берджу известно, что у меня есть единомышленники, и он думает, что, пройдя в палату общин, я мог бы возглавить одну из фракций. Поэтому он настоятельно просит принять его. Сейчас он у своих знакомых в Долис Хилл и обещает быть здесь минут через пять-десять.

Конрад. Разве ты не объяснил ему, что тревога ложная?

Фрэнклин. Конечно объяснил, но он не верит.

Конрад. Что? Он назвал тебя лжецом?

Фрэнклин. К сожалению, нет: лучше уж разговор без обиняков, чем тошнотворная напускная приветливость, к которой прибегают столпы нашей демократии в профессиональных интересах. Бердж притворяется, будто верит мне, и клянется, что хочет одного — повидать меня. Но зачем ему ехать сюда, если он не преследует никакой личной выгоды? Эти субъекты не верят даже самим себе. Как же они могут верить другим?

Конрад (поднимаясь). Тогда я ухожу. Я и до войны с трудом терпел общество партийных деятелей, но теперь, когда они чуть не довели Европу до гибели, я больше не в силах быть с ними вежливым, да и не вижу в этом надобности.

Фрэнклин. Не спеши. Сперва нам нужно проверить, как мир воспримет наше новое евангелие.

Конрад опять садится.

А партийные деятели, к несчастью, играют в этом мире не последнюю роль. Вот мы и начнем проверку с Джойса Берджа.

Конрад. Но как за это взяться? Говорить можно лишь с тем, кто умеет слушать, а Джойс Бердж начисто утратил эту способность — он слишком много говорил в своей жизни. Он никого не слушает даже в палате общин.

В комнату, запыхавшись, влетает Сэвви. Хэзлем, следующий за ней, робко останавливается у порога.

Сэвви (подбегая к Фрэнклину). К дому подкатила большая машина. Угадай, кто приехал.

Фрэнклин. Вероятно, мистер Джойс Бердж.

Сэвви (разочарованно). Видите, Билл, они уже знают… Почему ты не предупредил? Я же не одета.

Хэзлем. Не лучше ли мне уйти?

Конрад. Напротив, обязательно оставайтесь. Ты, Сэвви, тоже. Даст бог, когда вы начнете зевать, Джойс Бердж уразумеет намек.

Сэвви (Фрэнклину). Можно нам остаться?

Фрэнклин. Да, если вы обещаете вести себя прилично.

Сэвви (с кислой миной). Вот будет весело!

Горничная (входит и докладывает). Мистер Джойс Бердж.

Хэзлем торопливо отступает к камину. Горничная вводит гостя, закрывает за ним дверь и уходит.

Фрэнклин (оставив Сэвви и спеша навстречу гостю с той напускной сердечностью, которую только что осуждал). А, вот и вы! Счастлив видеть вас. (Обменивается с Берджем рукопожатием и представляет Сэвви.) Моя дочь.

Сэвви (не решаясь подойти). Очень мило, что вы нас навестили.

Джойс Бердж стоит и молчит, но всякий раз, когда ему представляют еще одного из присутствующих, изображает на лице улыбку и придает взору неотразимый блеск. Это упитанный мужчина лет пятидесяти, с высоким лбом, седой шевелюрой и короткой шеей, отчего волосы спускаются у него почти до воротника.

Фрэнклин. Мистер Хэзлем, наш приходский священник.

Бердж сияет, как церковное окно в лучах солнца. Хэзлем хватает ближайший стул, придвигает его к Берджу так, что он оказывается между табуретом и Конрадом, а сам устраивается на подоконнике в другом конце комнаты, где к нему присоединяется Сэвви. Они сидят бок о бок, упершись локтями в колени и подперев голову руками, и в продолжение всей последующей сцены являются для Берджа чем-то вроде галереи для публики в парламенте.

Фрэнклин. Не помню уж, знакомы ли вы с моим братом Конрадом. Он биолог.

Бердж (с неожиданным взрывом энергии сердечно пожимает Конраду руку). Отлично знаком, хотя лишь понаслышке. Как я жалею, что не занялся биологией! Меня всегда интересовали горные породы, пласты, вулканы и прочее. Это проливает такой свет на проблему возраста земли. (Убежденно.) Биология — царица наук.

Когда-нибудь растают, словно дым,

И тучами увенчанные горы,

И горделивые дворцы, и храмы,

И даже весь — о да, весь шар земной,

И как от этих бестелесных масок,

От них не сохранится и следа.{150}

Вот что такое биология, подлинная биология! (Садится.)

Братья Барнабас следуют его примеру: Фрэнклин опускается на табурет, Конрад — на один из чипендейловских стульев.

Ну-с, дорогой Барнабас, что вы скажете о нынешней ситуации? Не пора ли и нам начать действовать?

Фрэнклин. Действовать всегда пора.

Бердж. Метко сказано! Но как действовать? Вы — человек, пользующийся огромным влиянием. Мы знаем это. Мы всегда это знали. Хотим мы или не хотим, нам приходится учитывать вашу точку зрения. Мы…

Фрэнклин (решительно перебивая его). Я больше не вмешиваюсь в партийную политику.

Сэвви. Папа, не пытайся уверять, что ты не пользуешься влиянием. Целая куча народу смотрит на вещи твоими глазами.

Бердж (во весь рот улыбаясь ей). Вот именно. Позвольте же мне высказать наше мнение о вас. Не подобрать ли нам для вас какой-нибудь первоклассный округ, где вы могли бы баллотироваться на ближайших выборах? Такой, чтобы вам не пришлось выложить ни гроша. Например, в столице. Что вы скажете насчет Стрэнда{151}?

Фрэнклин. Я не ребенок, дорогой Бердж. Стоит ли вам опустошать партийную кассу ради Стрэнда? Вы же заранее знаете, что не возьмете там верх.

Бердж. Мы — нет, но вы…

Фрэнклин. Полно! Полно!

Сэвви. Со Стрэндом ничего не выйдет, мистер Бердж. Я уже агитировала там за одного социалиста. Он сел в лужу.

Бердж. Сел в лужу?

Хэзлем (давясь от сдерживаемого смеха). Неподражаемо!

Сэвви. Вероятно, мне не следовало употреблять выражение «сел в лужу», говоря о достопочтенном члене парламента. Но ведь это же Стрэнд! Не суйтесь туда.

Фрэнклин. Извините мою дочь, Бердж, — у нее несколько необычные манеры. Но по существу я согласен с ней. Наши демократические государственные деятели действительно склонны считать избирателей круглыми невеждами и прирожденными дураками.

Бердж (с веселым смехом). Ах вы старый аристократ! Но поверьте, у народа здоровый инстинкт…

Конрад (прерывая его, резко). Почему же вы тогда не в правительстве, а в оппозиции?

Бердж (он начинает раздражаться, что его перебивают). Морально я отнюдь не в оппозиции. Правительство не представляет страну. Я был устранен из коалиционного кабинета, потому что тори составили заговор против меня. Народ хочет моего возвращения, но я не хочу возвращаться.

Фрэнклин (мягко, но укоризненно). Еще как хотите, дорогой Бердж!

Бердж (поворачиваясь к нему). Нисколько. Я хочу возделывать свой сад.{152} Меня интересуют розы, а не политика. Во мне нет ни капли честолюбия. Политикой я занялся лишь потому, что на эту дорожку меня толкнула жена, будь она неладна. Но я жажду служить отечеству. Для чего мне иначе жизнь? Я хочу спасти страну от тори. Они не представляют народ. Человек, которого они посадили премьером, никогда не представлял народ. Вы это прекрасно знаете. Лорд Данрин{153} — самый твердолобый из всех еще не вымерших старых тори. Что он может дать народу?

Фрэнклин (перебив Берджа, прежде чем тот успевает — а у него явно было такое намерение — ответить на свой вопрос). Отвечу вам. Он может дать ему раз навсегда установленные убеждения и принципы. Известно, что он считает правильным и что неправильным. Народ знает, чего ему ждать от лорда Данрина. А вот чего ждать от ваших сторонников — он не знает. И от вас — тоже.

Бердж (изумленно). И от меня?

Фрэнклин. Да. За что вы стоите? Что вы такое?

Бердж. Вы с ума сошли, Барнабас! Вы спрашиваете, что я такое?

Фрэнклин. Спрашиваю.

Бердж. Если не ошибаюсь, я — Джойс Бердж, которого достаточно хорошо знают и в Европе, и во всем мире как человека, вставшего — пусть незаслуженно, но все-таки не безуспешно — у кормила государственного корабля в дни самой грозной бури, которая когда-либо с силой землетрясения обрушивалась на землю наших предков.

Фрэнклин. Это я знаю. Мне известно, кто вы такой. Меня с силой землетрясения поражает другое. Вы занимали безгранично ответственный пост, но ни я, да и никто другой не знали, каковы ваши убеждения и принципы и есть ли они у вас вообще. Мы знали только, что ваш кабинет состоит в основном из людей, считающих вас охотником за теплым местечком, а вы, в свою очередь, считаете их врагами народа.

Бердж (полагая, что ловко парирует удар). Согласен с вами. Совершенно согласен. Я не верю в коалиционное правительство.

Фрэнклин. Верно. И тем не менее вы дважды возглавляли его.

Бердж. А почему? Потому что мы вели войну. Вот чего не желают понимать люди, подобные вам. Гунны{154} были у ворот. На карте стояло все — отечество, наша жизнь, честь наших матерей, дочерей, жен, судьба наших невинных младенцев. Разве в такое время рассуждают о принципах?

Фрэнклин. А я думаю, что именно в такое время и следовало заявить о своих принципах, укрепив тем самым решимость наших соотечественников и завоевав доверие и поддержку мирового общественного мнения. Неужели вы полагаете, что гунны отважились бы подступить к нашим воротам, если бы они знали, что мы запрем перед ними эти ворота на несокрушимый засов принципов? Разве они не противостояли нам, пока наконец Америка не заявила открыто, что она за принцип демократии, и не пришла нам на выручку? Почему вы дали американцам лишить Англию этой чести?

Бердж. Американцы слишком любили громкие слова, Барнабас. Вот они и поперхнулись ими на мирной конференции. Бойтесь красноречия: оно — извечное проклятие популярных ораторов вроде вас.

(одновременно)[\*] Фрэнклин. Ну и ну! / Сэвви. Это мне нравится! / Хэзлем. Неподражаемо!

Бердж (продолжает без тени смущения). Обратимся к фактам. Кто выиграл войну? Принципы? Нет, британский флот и блокада. Американцы разглагольствовали, я производил снаряды. Принципы не помогают побеждать на войне, но зато помогают побеждать на выборах. Тут я заодно с вами. Вы решили вести предвыборную борьбу на основе принципов. Речь идет об этом, не так ли?

Фрэнклин. Я вообще не желаю никакой борьбы. В нравственном смысле выборы такая же мерзость, как и война, — разве что кровь не льется. Это грязевая ванна для души избирателя, и вы прекрасно знаете, что борьба пойдет здесь не на основе принципов.

Бердж. Напротив, именно и только на основе их. Я считаю всякую писаную программу ошибкой. Я согласен с вами: нам прежде всего нужны принципы.

Фрэнклин. Принципы без программы, так, что ли?

Бердж. Именно так в трех словах.

Фрэнклин. Можно и в двух: пустая болтовня. Принципы без программы именно это и означают.

Бердж (он удивлен, но терпеливо старается понять, к чему клонит Фрэнклин, и выяснить, сколько придется ему дать). Я выразился недостаточно ясно. Послушайте меня. Я согласен с вами. Я на вашей стороне. Я принимаю ваше предложение. О коалиционном правительстве больше нет речи. В кабинете не будет тори. Мы обяжем каждого кандидата высказаться за свободу торговли с небольшими ограничениями в пользу наших заморских доминионов, за отделение церкви от государства, реформу палаты лордов, пересмотр налога на недвижимость и принятие мер для замирения Ирландии. Вас это устраивает?

Фрэнклин. Даже не интересует. Допустим, ваши друзья пойдут на все это. Что они этим докажут? Только то, что они безнадежно отстали от жизни даже как политики, что с тысяча восемьсот восемьдесят пятого года{155} они ничего не забыли и ничему не научились. Какое мне дело до того, что они ненавидят церковь и помещиков, завидуют аристократии и владеют не заводами в Средней Англии, а акциями судоходных компаний? Я могу вам назвать сотни самых отпетых негодяев или дремучих реакционеров, обладающих теми же достоинствами.

Бердж. Личными выпадами никого не убедишь. Уж не считаете ли вы всех тори ангелами лишь потому, что они принадлежат к англиканской церкви?

Фрэнклин. Нет, не считаю. Но, поддерживая ее, они хотя бы едины, а ваши люди, те, кто нападает на церковь, — все кто в лес кто по дрова. У защитников церкви одинаковый взгляд на религию, у каждого из ее противников — свой. Приверженцы церкви — это фаланга; ваши сторонники — сброд, где Плимутские братья теснят атеистов, а «огненные столпы» наступают на пятки позитивистам.{156} С вами и самые отъявленные безбожники, и самые отъявленные фанатики.

Бердж. Мы, как Кромвел, — за свободу совести, если, конечно, вы имели в виду именно это.

Фрэнклин. Как вы можете нести такой вздор над могилами своих честных противников? Любой закон уже ограничивает свободу совести. Много ли свободы предоставите вы человеку, совесть которого не возбраняет ему украсть ваши часы или увильнуть от военной службы? Нет, я не имею в виду свободу совести.

Бердж (раздраженно). Мне хотелось бы, чтобы вы наконец изложили свою платформу. Вы все время повторяете, что надо исповедовать принципы, а когда я выдвигаю их, отвечаете, что они неприемлемы.

Фрэнклин. Вы не выдвинули никаких принципов. Ваши партийные лозунги — это не принципы. Вновь придя к власти, вы оказались бы во главе котерии{158}, состоящей из социалистов и антисоциалистов, крайних империалистов и сторонников изоляции островной Англии, непоколебимых материалистов и экзальтированных квакеров, адептов христианской науки и поборников обязательного оспопрививания, профсоюзных деятелей и бюрократов, одним словом, из людей, которые решительно и непримиримо расходятся во взглядах на основные принципы, определяющие судьбы человека и общества. От подобного сброда нельзя ждать единства, и это вынудит вас вновь продать министерские портфели более устойчивой консервативной оппозиции.

Бердж (в бешенстве вскакивая). Вновь продать портфели? По-вашему, я торгую портфелями?

Фрэнклин. Когда страшный ураган настоящей войны положил конец вашей игрушечной парламентской войне и смел ее героев в помойную яму, вам поневоле пришлось за спиной своих сторонников пойти на тайный сговор с лидерами оппозиции. Они позволили вам остаться у власти, а вы за это похоронили все неугодные им законопроекты. И вы даже не смогли добиться от них соблюдения условий сделки: они немедленно предали ее гласности и навязали вам коалиционный кабинет.

Бердж. Я торжественно заявляю, что это чудовищная ложь.

Фрэнклин. Уж не пытаетесь ли вы отрицать, что все было именно так? Разве эти никем не опровергнутые слухи оказались клеветой, а опубликованные письма — фальшивками?

Бердж. Нет, конечно. Но я здесь ни при чем. Премьером был тогда не я. Им был этот старый болтун, этот сошедший с круга шарлатан Лубин{157}. Он, а не я был тогда премьером.

Фрэнклин. Выходит, вы ничего не знали?

Бердж (пожав плечами, садится). Ну, сказать мне об этом, разумеется, сказали. Но что я мог сделать? Если бы мы не согласились, нам, вероятно, пришлось бы уйти из правительства.

Фрэнклин. Совершенно верно.

Бердж. Но мы не имели права бросить страну на произвол судьбы в столь критический момент. Гунны были у ворот. В такие минуты долг каждого — жертвовать собой ради отечества. Мы обязаны были стать выше партийных интересов, и я с гордостью заявляю: мы и не думали о партии. Мы крепко держались…

Конрад. За власть?

Бердж (поворачиваясь к нему). Да, сэр, за власть. Иными словами, за ответственность, опасность, изнурительный труд, оскорбления, непонимание, за такие муки, что мы охотно поменялись бы участью с солдатами на передовой. Попробуй вы сами долгие месяцы глотать аспирин и бромистый калий, чтобы хоть немного поспать, власть перестала бы казаться вам лакомым кусочком.

Фрэнклин. Значит, вы все-таки признаете, что в условиях нашей парламентарной системы Лубин ничего другого не мог сделать?

Бердж. Что касается Лубина, на устах моих печать. Я ни за что не скажу ни слова против старика. Никогда не говорил и не скажу. Он стар, он никогда не был подлинным государственным деятелем, потому что ленив, как кот на печи, и не желает ни во что вникать. Он умеет одно: разглагольствовать в стиле, который приемлем для тех, кто сидит в парламенте на задних скамьях. И все-таки я не скажу о нем ничего худого. Я понимаю, вы не очень высоко цените меня как государственного человека, но я-то, во всяком случае, кое на что способен. У меня есть энергия — этого не станете отрицать даже вы. Но Лубин! О боги, Лубин! Если бы вы только знали…

Горничная распахивает дверь и докладывает.

Горничная. Мистер Лубин.

Бердж (вскакивая с кресла). Лубин?.. Это что, заговор?

Все в замешательстве встают, глядя на дверь. Входит Лубин, йоркширец лет семидесяти, с седыми волосами, еще позволяющими догадаться, что когда-то он был блондином скандинавского типа. Манеры у него неброские, держится он без претензий, явно полагая, что ему и так обеспечено всеобщее уважение, но в нем чувствуются исключительное спокойствие и уверенность в себе, резко контрастирующие с тревожным интеллектуализмом Фрэнклина и гипнотической самовлюбленностью Берджа. В его присутствии они сразу начинают выглядеть несчастными: рядом с этой цветущей личностью им так же неуютно, как четырехгранной втулке в круглом отверстии бочки.

Горничная уходит.

Лубин (направляясь к Фрэнклину). Как поживаете, мистер Барнабас? (Тон у него непринужденный и любезный, словно хозяин здесь он, а Фрэнклин — смущенный, хотя и желанный гость.) Однажды я уже имел удовольствие встретиться с вами в Мэншен Хаус{159}. Если не ошибаюсь, это был прием по случаю сотой годовщины мира с Америкой{160}.

Фрэнклин (пожимая ему руку). Нет, это произошло много раньше, на митинге по венесуэльскому вопросу{161}, когда у нас с Америкой чуть не дошло до войны.

Лубин (невозмутимо). Да, да, совершенно верно. Я отлично помню — что-то связанное с Америкой. (Похлопывает Фрэнклина по руке.) Ну, как вы жили эти годы? Все в порядке, не так ли?

Фрэнклин (смягчая сарказм улыбкой). Если не считать некоторого ухудшения здоровья, вполне естественного за столь долгий срок.

Лубин. Еще бы! Еще бы! (Переводя взгляд на Сэвви.) А эта юная леди…

Фрэнклин. Моя дочь Сэвви.

Сэвви, покинув подоконник, подходит к отцу и Лубину.

Лубин (горячо пожимая ей руку обеими руками). Почему же она никогда не заглянет к нам?

Бердж. Мне кажется, Лубин, вы не заметили, что и я здесь.

Сэвви, пользуясь случаем, отступает к дивану, куда украдкой перебирается и Хэзлем, садящийся слева от нее.

Лубин (с неподражаемой непринужденностью усаживаясь в кресло Берджа). Дорогой Бердж, вы крайне несправедливы к себе, если полагаете, что ваше присутствие и вашу энергию можно не ощутить даже на расстоянии в десять миль. Как поживаете? Как поживают ваши друзья газетчики?

Бердж, готовый взорваться, делает резкий жест, но Лубин все так же невозмутимо и благодушно продолжает.

И что, осмелюсь спросить, привело вас к моему старому другу Барнабасу?

Бердж (усаживаясь в кресло Конрада, который, растерявшись от неожиданности, остается стоять в углу). Могу ответить, если угодно: то же, что и вас. Я здесь, чтобы заручиться поддержкой мистера Барнабаса, весьма ценной для моей партии.

Лубин. Для вашей партии? То есть для партии газетчиков?

Бердж. Для либеральной партии, лидером которой я имею честь быть.

Лубин. Неужели? Очень интересно. Мне казалось, что лидер либеральной партии — я. Как бы то ни было, вы очень любезны, пытаясь снять с меня такое бремя, если, конечно, партия вам позволит.

Бердж. Вы как будто намекаете, что я не пользуюсь доверием и поддержкой партии?

Лубин. Я ни на что не намекаю, дорогой Бердж. Мистер Барнабас может подтвердить, что все мы ценим вас чрезвычайно высоко. Страна многим вам обязана. В годы войны вы весьма успешно обеспечивали снабжение фронта. Правда, на мирной конференции вы действовали не столь успешно, но все равно в ваших благих намерениях никто не сомневается.

Бердж. Вы чрезвычайно любезны, Лубин. Позвольте только заметить, что невозможно возглавлять прогрессивную партию, не двигаясь вперед.

Лубин. Вы хотите сказать, невозможно для вас? А вот я без малейшего затруднения делал это целых десять лет. И это были очень приятные годы — годы спокойствия и процветания.

Бердж. Да, но чем они кончились?

Лубин. Вашим приходом к власти, Бердж. Надеюсь, вы на это не в претензии?

Бердж (яростно). Они кончились мором и голодом, мечом, огнем и смертоубийством.

Лубин (одобрительно хмыкнув). Я вижу, даже нонконформист умеет цитировать молитвенник, когда ему это выгодно. Как вы ликовали, Бердж, когда стали премьером! Помните вы этот нокаут?

Бердж. Не забывайте: в нокауте оказался не я. А вы помните, как боролись до последней капли крови?

Лубин (невозмутимо, Фрэнклину). Кстати, я отлично помню вашего брата Конрада. Приятный человек, исключительный ум! Он еще тогда все объяснял мне, что нельзя бороться до последней капли крови, — человек умрет задолго до этого. Чрезвычайно интересная и совершенно верная мысль! Меня познакомили с ним на митинге, где я выдержал атаку суфражисток. Когда их пришлось вывести силой, они истошно вопили и лягались.

Конрад. Нет, это произошло позднее, на митинге в поддержку билля о предоставлении женщинам избирательных прав.

Лубин (замечая наконец Конрада). Совершенно верно. Я отлично помню — что-то связанное с женщинами. Память никогда не изменяет мне. Благодарю. Не познакомите ли меня с этим джентльменом, Барнабас?

Конрад (далеко не любезно). Я и есть тот самый Конрад. (Обиженно опускается на свободный чипендейловский стул.)

Лубин. Неужели? (Приветливо смотрит на Конрада.) Ну, разумеется, это вы. У меня безошибочная память на лица. Но (указывая глазами на Сэвви) ваша прелестная племянница без остатка приковала к себе мое внимание.

Бердж. Поговорим же наконец серьезно, Лубин. Ей-богу, мы прошли через такие страшные испытания, что нам пора бы стать серьезными.

Лубин. Я полагаю, нет нужды напоминать мне об этом. В мирное время, для поддержания своей работоспособности, я по воскресеньям старался отрешиться от всяких мирских забот. Но на войне нет праздников, и за последние годы случались воскресенья, когда я был вынужден играть по шестьдесят шесть партий в бридж, чтобы не думать об известиях с фронта.

Бердж (скандализованный). Шестьдесят шесть партий в воскресенье!

Лубин. Вы, вероятно, пели по шестьдесят шесть псалмов. Но в отличие от вас я не могу похвалиться ни звучным голосом, ни особой набожностью; поэтому мне оставалось одно — играть в бридж.

Фрэнклин. Если позволите, вернемся к цели вашего визита. Замечу вам, что, по-моему, вы оба вполне могли бы уступить свои места лейбористской партии.

Бердж. Но я и сам лидер лейбористов в истинном смысле этого слова. Я… (Обрывает на полуслове, потому что Лубин, подавив легкий зевок, встает и невозмутимо начинает говорить, хотя и без большого воодушевления.)

Лубин. Лейбористской партии? О нет, мистер Барнабас! Нет, нет и еще раз нет. (Направляется к Сэвви.) В этом смысле нам не угрожают никакие осложнения. Разумеется, мы должны будем уступить лейбористам несколько мест. Допускаю даже, больше мест, чем мы рассчитывали до войны, но… (Подходит к дивану, где сидят Сэвви и Хэзлем, садится между ними, берет Сэвви за руку и оставляет разговор о лейбористах.) Ну-с, милая девушка, что у вас хорошего? Что вы поделываете? Смотрели последнюю пьесу Шодди{162}? Расскажите мне поподробнее о ней, о новых книгах, вообще обо всем.

Сэвви. Вы не знакомы с мистером Хэзлемом? Это наш приходский священник.

Лубин (и сейчас еще не замечая Хэзлема). Никогда о нем не слышал. Стоящий человек?

Сэвви. Я только что представила вам его. Вот это и есть мистер Хэзлем.

Хэзлем. Здравствуйте!

Лубин. Прошу прощения, мистер Хэзлем. Счастлив познакомиться. (К Сэвви.) Ну-с, много ли вы написали новых книг?

Сэвви (она ошеломлена, но разговор забавляет ее). Ни одной. Я не писательница.

Лубин. Неужели? Чем же вы тогда занимаетесь? Музыкой? Танцами в тунике?{163}

Сэвви. Ничем.

Лубин. Слава богу! Мы с вами созданы друг для друга. Кто же ваш любимый поэт, Сэлли?

Сэвви. Сэвви.

Лубин. Сэвви? Впервые слышу. Расскажите о нем. Я не хочу отставать от века.

Сэвви. Это не поэт. Это меня зовут Сэвви, а не Сэлли.

Лубин. Сэвви! Странное имя, но звучит очень мило. Сэвви! Похоже на китайское. Что оно означает?

Конрад. Сокращенное «сэвидж».

Лубин (трепля Сэвви по руке). La belle sauvage![7]

Хэзлем (встает и, предоставив Сэвви Лубину, переходит к камину). Мне кажется, что, коль скоро речь идет о прогрессивной политике, церкви здесь нечего делать.

Бердж. Чепуха! Утверждение, будто церковь несовместима с прогрессом, — это один из тех лозунгов, которые наша партия должна отбросить. Покончите с церковью как государственным институтом, покончите с епископами, подсвечниками, тридцатью девятью статьями{164}, и англиканская церковь станет не хуже любой другой. Я готов повторить это где угодно.

Лубин. Не сомневаюсь, дорогой Бердж: вам ведь безразлично, кто вас слушает. (К Сэвви.) Так кто же ваш любимый поэт?

Сэвви. У меня нет любимчиков среди поэтов. А кто ваш?

Лубин. Гораций.

Сэвви. Какой Гораций?

Лубин. Квинт Гораций Флакк{165}, благороднейший из римлян, дорогая моя.

Сэвви. А, он из мертвых! Тогда все понятно. У меня на этот счет есть своя теория. Если мертвецы возбуждают в нас особый интерес, значит, мы сами когда-то были этими людьми. Вы, наверно, очередное воплощение Горация.

Лубин (восхищенно). В жизни не слышал более тонкой, глубокой и проникновенной мысли! Барнабас, поменяемся дочерьми. Предоставляю вам выбор — у меня их две.

Фрэнклин. Человек предполагает, Сэвви располагает.

Лубин. И что же скажет Сэвви?

Бердж. Лубин, я здесь для того, чтобы говорить о политике.

Лубин. Совершенно верно, Бердж: вы же не признаете других тем. А я здесь для того, чтобы болтать с Сэвви. Отведите Берджа в соседнюю комнату, Барнабас, — пусть он там выговорится.

Бердж (полусердито, полуснисходительно). Ну, довольно, Лубин. Мы все-таки переживаем кризис…

Лубин. Дорогой Бердж, жизнь — это болезнь, и различие между людьми определяется тем, на какой стадии болезни каждый находится. Вы всегда в состоянии кризиса, а я — в состоянии выздоровления и наслаждаюсь им. Выздоровление — настолько приятная стадия, что ради нее стоит поболеть.

Сэвви (приподнимаясь). Я, пожалуй, лучше уйду, чтобы не отвлекать вас.

Лубин (усаживая ее на место). Ни в коем случае, дорогая моя. Вы отвлекаете только Берджа, а ему полезно отвлечься, ради такой прелестной девушки — тем более. Это как раз то, что ему нужно.

Бердж. Я порой завидую вам, Лубин. Великий прогресс человечества, исполинский вихрь столетий — все проносится мимо вас, а вы стоите на месте.

Лубин. Благодарю вас, но я не стою, а сижу, и притом очень удобно. Покрутитесь в этом вихре. Когда устанете, вернетесь и найдете Англию такой же, какой она была, а я буду сидеть на своем обычном месте и слушать рассказы мисс Сэвви о разных интересных вещах.

Сэвви (проявлявшая во время этого диалога все более явное беспокойство). Не давайте ему перебивать вас, мистер Бердж. Видите ли, мистер Лубин, я ужасно интересуюсь рабочим движением, и теософией, и послевоенной реконструкцией, и еще многим другим. Не сомневаюсь, что элегантным девицам из вашего высшего круга жутко льстит, когда вы сидите и любезничаете с ними, как сейчас со мной, но я не элегантна и мало похожа на обычных девиц. У меня нет вкуса, но есть серьезные интересы. Будьте же и вы серьезны, а если не будете, я пересяду к мистеру Берджу и попрошу его взять меня за руку.

Лубин. Но, дорогая моя, он даже не знает, как это делается. Берджа считают записным волокитой…

Бердж (подскакивая). Лубин, это неслыханно! Я…

Лубин (продолжая). Но на самом деле он примерный семьянин. Его имя связывают с самыми прославленными красавицами, но для него в мире есть лишь одна женщина — и это не вы, дорогая, а его прелестная жена.

Бердж. Вы прикидываетесь защитником моей репутации лишь для того, чтобы порочить ее. Будьте добры ограничиться собственной особой и собственной супругой. Им-то и следует посвятить все ваше внимание.

Лубин. Я пользуюсь преимуществом, которое дают мне мой возраст и очевидная для всех безгрешность. Мне ведь нет нужды так упорно бороться с собой, как вам при вашей вулканической энергии.

Бердж (с глубоким сознанием своей силы). Еще бы!

Фрэнклин. Мне кажется, мистер Лубин, я выражу мнение не только свое и брата, но, вероятно, и своей дочери, если скажу, что нам было бы весьма интересно познакомиться с вашими политическими взглядами, поскольку и ваш визит, и визит мистера Джойса Берджа, безусловно, продиктованы политическими соображениями.

Лубин (с несокрушимым благодушием подчиняясь просьбе, разом берет ясный, вежливый, деловой тон). С удовольствием, мистер Барнабас. На мой взгляд, нам прежде всего следует выяснить, в какой мере мы можем надеяться, что после выборов вы займете в парламенте место рядом с нами.

Фрэнклин. Мистер Лубин, под словом «политика» я разумею отнюдь не выборы, депутатские места, партийные фонды, избирательные списки или даже, как это ни прискорбно, парламент в его теперешнем виде. Лучше уж говорить о бридже, чем о предвыборной возне: первая игра интереснее второй.

Бердж. Он хочет спорить о принципах, Лубин.

Лубин (холодно и отчетливо). Я отлично понимаю мистера Барнабаса. Но выборы — величина переменная, а принципы — величина постоянная.

Конрад (нетерпеливо). Боже правый!

Лубин (невозмутимо и властно останавливая его). Минутку, доктор Барнабас. Основные принципы, на которых зиждется современное цивилизованное общество, достаточно полно усвоены образованными людьми. Опасность, однако, в том, что полуобразованная масса и ее любимцы — демагоги, да простит мне Бердж столь резкое выражение…

Бердж. Продолжайте и не беспокойтесь обо мне. У меня найдется, что сказать.

Лубин. Что полуобразованная масса не сознает, как прочны и устойчивы эти принципы. Возьмите, к примеру, весь этот шум вокруг лейбористской партии, ее мнимой новой политики и новых принципов. Члены ее еще убедятся, что, при всем своем честолюбии и претензиях, они способны изменить незыблемые законы политической экономии не в большей степени, чем закон всемирного тяготения. Смею утверждать, что заявляю это со знанием дела: я специально занимался рабочим вопросом.

Фрэнклин (с интересом и не без удивления). Серьезно?

Лубин. Да. Это было еще в начале моей политической карьеры. Мне предложили выступить перед слушателями рабочего университета и настоятельно посоветовали не отказываться: в те годы там выступали и Гладстон, и Морли{166}, и другие. Задача была не из легких — тогда я еще не познакомился с политической экономией. Как вам известно, по профессии я юрист, а в университете занимался классической филологией. Но я полистал справочники и тщательно изучил вопрос. Вывод мой был таков: правильная точка зрения состоит в том, что в основе тред-юнионизма, социализма и прочего лежит порожденная невежеством иллюзия, будто заработная плата, производство и распределение национального богатства могут регулироваться законодательством или иными формами человеческой деятельности. На самом деле они подчиняются лишь строго научным законам, открытым и обоснованным крупнейшими авторитетами в этой области. Естественно, что теперь, столько лет спустя, я уже не помню хода своих рассуждений во всех подробностях, но, если угодно, за несколько дней восстановлю его в памяти, и можете не сомневаться, что при случае я сумею дать твердый и убедительный отпор этим невежественным и беспомощным в практическом смысле людям, с той, конечно, оговоркой, что мне придется в разумных пределах проявить к ним терпимость и несколько польстить им, чтобы, отказывая им в поддержке, не задеть при этом чувства избирателей из рабочего класса. Короче говоря, я могу повторить свое выступление почти без подготовки.

Сэвви. Но, мистер Лубин, у меня тоже университетское образование, и я знаю, что все эти незыблемые законы политической экономии, якобы управляющие заработной платой и распределением богатства, не что иное, как старомодный вздор.

Фрэнклин (шокированный).Но, дорогая, это же невежливо!

Лубин. Нет, нет, не браните ее. Не надо ее бранить. (К Сэвви.) Я понимаю: вы — ученица Карла Маркса.

Сэвви. Да нет же. Экономическое учение Карла Маркса — совершенный нонсенс.

Лубин (наконец несколько растерялся и он). Ну и ну!

Сэвви. Прошу прошения, мистер Лубин, но это все равно что вести разговоры про эдемский сад.

Конрад. А почему бы о нем не поговорить? Во всяком случае, такие разговоры — первый намек на биологию.

Лубин (вновь обретая самообладание). Ничего не имею против. Я ведь слыхал о Дарвине.

Сэвви. Дарвин тоже устарел.

Лубин. Как! Уже?

Сэвви. Мистер Лубин, не надо смеяться надо мной — вы не чеширский кот{167}. Я не собираюсь сидеть и помалкивать, как примерная жена прошлого века, чтобы вы, мужчины, могли завладеть разговором и выдавать всякую допотопную дребедень за последнее слово политической мудрости. То, что я говорю, мистер Лубин, — это не мои собственные домыслы, а самая ортодоксальная точка зрения современной науки. Только форменные ископаемые могут утверждать, что в основе социализма лежит незнание политической экономии и что эволюцию придумал Дарвин. Это вам подтвердит кто угодно — мой отец, дядя, первый встречный на улице. (Встает и через всю комнату идет к Хэзлему.) Билл, дайте мне папиросу.

Хэзлем. Неподражаемо! (Дает ей закурить.)

Фрэнклин. Сэвви прожила еще слишком мало, чтобы научиться хорошим манерам. Но что поделаешь, мистер Лубин! Так относится к вам все наше молодое поколение. Не кури, дорогая.

Сэвви, пожав плечами в знак протеста, бросает папиросу в камин. Хэзлем, также собиравшийся закурить, прячет папиросы.

Лубин (серьезно и строго). Признаюсь, мистер Барнабас, я озадачен. Не стану утверждать, что меня убедили, но готов внять убеждениям. Допускаю, что могу быть и не прав.

Бердж (откровенно саркастически). Что вы, что вы! Это исключено.

Лубин. Да, мистер Барнабас, могу. Хотя у меня и нет гениальной способности Берджа всегда ошибаться, мне случалось раз или два оказаться в таком положении. Я не в силах скрыть от вас, даже если бы хотел, что я всегда был настолько поглощен своими профессиональными обязанностями — сперва как юрист, а затем как лидер палаты общин в те годы, когда премьер-министры являлись также лидерами…

Бердж (уязвленный). Не говоря уже о бридже и светских развлечениях.

Лубин. Не говоря уже о моих непрерывных и утомительных попытках приучить Берджа вести себя прилично. Повторяю, у меня не оставалось времени читать и держаться на уровне современного знания. Классиков я не забыл, потому что люблю их, но в области науки и политической экономии, вероятно, несколько отстал от века. Полагаю тем не менее, что, если вы с братом снабдите меня соответствующими материалами, я сумею выступить в палате, да и перед всей страной так, чтобы полностью удовлетворить вас. Видите ли, до тех пор пока вы способны доказать всем этим беспокойным полуобразованным людям, стремящимся поставить мир вверх дном, что они городят чушь, до тех пор, в сущности, неважно, в каких выражениях вы это делаете — в тех, которые мисс Барнабас именует допотопной дребеденью, или в тех, которые, вероятно, покажутся такой же несусветной чепухой ее внучке. Я не возражаю против развенчания Карла Маркса. Я сумел бы сказать против Дарвина немало такого, что пришлось бы по душе очень многим искренне верующим избирателям. Если можно облегчить себе руководство страной, признав, что теперешнее положение вещей следует именовать социализмом, я отнюдь не отказываюсь от такого обозначения. История знает подобный прецедент: император Константин{168} спас современное ему общество, согласившись назвать свой империализм христианством. Заметьте, я не склонен опережать желания избирателей. Их нельзя называть социалистами, пока они…

Фрэнклин. Не стали ими. Согласен.

Лубин. Нет, этого совершенно незачем ждать. Просто их не следует называть социалистами, пока они не захотят, чтобы их так называли. Надеюсь, вы не отрицаете за мной права называть избирателей джентльменами, хотя они еще далеко не стали ими? Я называю их джентльменами, потому что они желают, чтобы их так называли. (Поднимается с дивана, подходит к Фрэнклину и успокоительно кладет ему руку на плечо.) Не бойтесь социализма, мистер Барнабас. У вас нет основания трепетать за свою собственность, положение и достоинство. Какие бы новые политические термины ни входили в моду, Англия останется Англией. Я не намерен препятствовать переходу к социализму. Можете положиться на меня: я возглавлю его сторонников, поведу их, облеку их чаяния в надлежащую форму и очищу от нелепого утопизма. Поэтому, исходя из самых передовых социалистических, разно как самых здравых либеральных, принципов, я считаю себя вправе открыто и честно просить у вас поддержки.

Бердж. Скажем кратко, Лубин: вы неисправимы. Вы уверены, что в мире никогда и ничто не изменится. По-вашему, тяжкий труд — извечный удел миллионов, удел народа, моего народа, потому что я тоже человек из народа…

Лубин (презрительно перебивая). Не будьте смешным, Бердж. Вы — провинциальный адвокат, более далекий от народа, чуждый ему и враждебный всякой его попытке подняться до вашего уровня, чем любой герцог или архиепископ.

Бердж (пылко). Категорически отрицаю. Вы думаете, я не знал бедности? Не чистил сам себе ботинки? Не чувствовал, чистя их, как прохудились подметки? Вы думаете…

Лубин. Я думаю, что вы впадаете в широко распространенную ошибку, полагая, будто пролетариев делает бедность, а джентльменов — деньги. Это совершенно неверно. Вы не из народа, вы из неимущих. Безденежье и прохудившиеся подметки — это атрибуты неудачников из средних слоев, обычные спутники врачей, адвокатов и младших сыновей{169} на первых порах их карьеры. Покажите мне английскую ферму, где батраки ходили бы в рваных башмаках. Назовите нашего рабочего-металлиста бедняком — он вам голову за это проломит. Когда на митингах вы говорите о миллионах трудящихся, ваши избиратели отнюдь не относят эти слова к себе: у каждого из них обязательно найдется дальний родственник с титулом или поместьем. Я — йоркширец, друг мой. Я знаю Англию, вы — нет. В противном случае вы знали бы…

Бердж. Что же вы знаете такого, чего не знаю я?

Лубин. Я знаю, что мы слишком злоупотребляем временем мистера Барнабаса.

Фрэнклин встает.

Могу ли я рассчитывать, дорогой Барнабас, что вы поддержите нас, если нам удастся добиться перевыборов раньше, чем будет окончательно составлен список кандидатов?

Бердж (также вставая). Может ли рассчитывать на вашу поддержку наша партия? О себе я молчу. Может ли положиться на вас партия? Есть ли у вас вопросы, на которые я еще не ответил?

Конрад. А мы и не задавали вам вопросов.

Бердж. Вправе ли я рассматривать это как знак доверия?

Конрад. Будь я рабочим из вашего избирательного округа, я задал бы вам один биологический вопрос.

Лубин. Нет, дорогой доктор, не задали бы. Рабочие не задают вопросов.

Бердж. Задайте его сейчас. Я никогда не боялся ехидных вопросов. Ну, выкладывайте. Что-нибудь насчет землевладения?

Конрад. Нет.

Бердж. Насчет церкви?

Конрад. Нет.

Бердж. Палата лордов?

Конрад. Нет.

Бердж. Пропорциональное представительство?

Конрад. Нет.

Бердж. Свобода торговли?

Конрад. Нет.

Бердж. Преподавание закона божьего в школах?

Конрад. Нет.

Бердж. Ирландия?

Конрад. Нет.

Бердж. Германия?

Конрад. Нет.

Бердж. Значит, о республике? Ну? Я не задержу с ответом. Или о монархии?

Конрад. Нет.

Бердж. О чем же тогда, черт побери?

Конрад. Надеюсь, вы понимаете, что я задаю вопрос от имени рабочего, получавшего до войны тринадцать шиллингов в неделю, а теперь получающего тридцать, если у него есть работа…

Бердж. Да, понимаю. Я готов. Выкладывайте.

Конрад. И притом от имени такого рабочего, которого вы намерены представлять в парламенте?

Бердж. Да, да. Валяйте.

Конрад. Тогда я спрошу, разрешите ли вы вашему сыну жениться на моей дочери или вашей дочери выйти за моего сына?

Бердж (опешив). Что за шутки? Это же не политический вопрос.

Конрад. Если так, я, биолог, теряю всякий интерес к вашей политике и даже не дам себе труда перейти в день выборов через улицу, чтобы проголосовать за вас или за кого бы то ни было. До свиданья!

Лубин. Съели, Бердж? Поделом. Доктор Барнабас, заверяю вас, что моя дочь выйдет за того, кого выберет сама, будь то лорд или простой рабочий. Могу я теперь рассчитывать на вашу поддержку?

Бердж (срываясь). Притворщик!

Сэвви. Довольно!

Все останавливаются, хотя уже были готовы прервать спор и разойтись, и молча смотрят на нее.

Папа, неужели ты их вот так и отпустишь? Им надо сказать — сами они ничего не узнают. Если не хочешь ты, скажу я.

Конрад. Только не ты: ты не читала моей книги и сама ничего не знаешь. Лучше помолчи.

Сэвви. И не подумаю, дядя. Право голоса я получу только в тридцать лет, а мне оно нужно сейчас. Почему двум этим смешным субъектам позволено приходить к нам в дом и третировать нас, словно мир создан лишь затем, чтобы они могли играть в свою дурацкую парламентскую чехарду?

Фрэнклин (строго). Сэвви, гостям грубить не принято.

Сэвви. Прошу прощения. Но разве сам мистер Лубин церемонился со мной? И разве мистер Бердж удостоил меня хоть словом? Я не собираюсь оставаться в долгу. У вас с дядей программа намного лучше, чем у них; только за нее мы и пойдем голосовать. И было бы очень полезно изложить им ее, к чести нашей семьи и во спасение их собственных душ. Прочти-ка им, папа, главу из Евангелия от братьев Барнабас.

Лубин и Бердж вопросительно смотрят на Фрэнклина: они явно подозревают его в намерении основать новую партию.

Фрэнклин. Это правда, мистер Лубин. Мы с братом действительно разработали свою небольшую программу, которая…

Конрад (перебивая). Небольшую? Нет, всеобъемлющую. И не только для нас лично, но для всего цивилизованного мира.

Бердж. Но не лучше ли сперва изложить ее, а уж потом идти на раскол партии? Видит бог, с нас довольно расколов! Я пришел сюда учиться. Пришел для того, чтобы выслушать ваше мнение и стать его выразителем. Ознакомьте же меня с вашими взглядами. Я готов к любым спорам, но пока что вы задали мне лишь один нелепый вопрос, не имеющий никакого касательства к политике.

Фрэнклин. Честно говоря, я боюсь, что излагать вам нашу программу — значит попусту терять время. Она вряд ли вас заинтересует.

Бердж (с вызовом). А вы попробуйте. Лубин, если хочет, пусть уходит. Я же охотно восприму любую новую идею.

Фрэнклин. Угодно вам послушать, мистер Лубин, или мне лучше проститься с вами, предварительно поблагодарив вас за любезный и приятный нам визит?

Лубин (с покорным видом опускается на диван, непроизвольно сделав при этом такой жест, словно он подавляет зевок). С удовольствием послушаю, мистер Барнабас. Но вам, разумеется, известно, что я вправе принять какие бы то ни было поправки к партийной платформе лишь в том случае, если они поступят ко мне через национальную федерацию либералов, снестись с которой вы можете через посредство местного отделения либерально-радикальной ассоциации.

Фрэнклин. Я мог бы сослаться на множество добавлений к вашей партийной программе, о которых даже не слыхивали местные отделения вашей федерации, но я понимаю, что вам это, в сущности, неинтересно, и оставлю этот разговор.

Лубин (несколько стряхнув в себя дремоту). Вы совершенно неверно истолковали мои слова. Прошу вас не понимать их в таком смысле. Я лишь…

Бердж (перебивая). Да оставьте вы федерацию в покое. Я сам отвечу за нее. Говорите, Барнабас, говорите и не обращайте внимания на Лубина. (Садится в то кресло, которое раньше перехватил у него Лубин.)

Фрэнклин. В нашей программе всего один пункт: продлить человеческую жизнь до трехсот лет.

Лубин (кротко). Как?

Бердж (громоподобно). Что?

Сэвви. Наш предвыборный лозунг — «Назад к Мафусаилу».

Лубин и Бердж переглядываются.

Конрад. Не бойтесь. Мы не сошли с ума.

Сэвви. И они не шутят, а говорят всерьез.

Лубин (осторожно). Я охотно допускаю, что в известном смысле, которого я покамест не улавливаю, вы, мистер Барнабас, говорите совершенно серьезно. Тем не менее позволю себе спросить, какое отношение имеет все это к политике?

Фрэнклин. Самое очевидное. Вам, мистер Лубин, сейчас под семьдесят. Мистер Джойс Бердж моложе вас лет на одиннадцать. Оба вы останетесь в памяти потомства как представители той группы незрелых европейских политиков и монархов, которые, изо всех сил ревнуя о благе своих народов, добились лишь того, что едва не разрушили цивилизацию Европы и вычеркнули из жизни много миллионов ее обитателей.

Бердж. Меньше миллиона.

Фрэнклин. Это цифра лишь наших потерь.

Бердж. Ну, если вы принимаете в расчет иностранцев…

Хэзлем. Видите ли, господь бог тоже принимает их в расчет.

Сэвви (с глубоким удовлетворением). Хорошо сказано, Билл!

Фрэнклин. Я вас не виню: ваша задача выше человеческих сил. Вам дали в руки огромные армии, грозные средства разрушения, аппарат принуждения, опирающийся на всевластную полицию, и поставили вас управлять такими колоссальными силами, что одна лишь мысль о них приводит человека в трепет, даже если силы эти вверены бесконечно благому и мудрому божеству, а не простым смертным, которым не отпущено на жизнь и ста лет.

Бердж. Не забывайте: мы все-таки выиграли войну.

Фрэнклин. Нет, ее выиграли солдаты и матросы, вы же — только закончили. И проделали это настолько неумело, что, видя, сколько детей погибло от голода в первые годы заключения мира, мы не раз с сожалением вспоминали о временах войны.

Конрад. Оставим бесполезные споры. Теперь уже совершенно ясно, что наша цивилизация выдвинула такие политические и социальные проблемы, разрешить которые не под силу обыкновенному человеку, этому грибу, увядающему и гибнущему как раз тогда, когда у него появляются первые проблески мудрости и знаний, необходимые для того, чтобы управлять собой.

Лубин. Чрезвычайно интересная мысль, доктор! Экстравагантная, фантастическая, но чрезвычайно интересная! В молодости я сам весьма остро ощущал ограниченность своих человеческих возможностей.

Бердж. Бог свидетель, я тоже нередко чувствовал, что не в состоянии больше продолжать свое дело, но меня поддерживало сознание, что я — лишь орудие в руках высшей силы.

Конрад. Очень рад, что вы оба согласны — и с нами, и друг с другом.

Лубин. Я, пожалуй, так далеко еще не зашел. В конце концов, даже на моей и вашей памяти, у нас было немало талантливых политических деятелей.

Фрэнклин. А вы не читали их новейших биографий, например изданных Дилком, где раскрывается подлинная правда о них?

Лубин. Я не почерпнул в этих книгах ничего для себя нового, мистер Барнабас.

Фрэнклин. Как! Даже того, что довольно долгое время Англией правила маленькая женщина, хорошо знавшая, чего она хочет?

Сэвви. Правильно! Правильно!

Лубин. Такое случалось уже не раз. Кого вы имеете в виду?

Фрэнклин. Королеву Викторию, которая обращалась с вашими премьер-министрами, как с малолетними шалунами: когда ей становилось невмоготу терпеть их капризы и ссоры, она сталкивала их лбами. Не прошло и тринадцати лет после ее смерти, как Европа превратилась в ад.

Бердж. Совершенно верно. А все потому, что ее воспитали в религиозном духе и она считала себя орудием провидения. Видите ли, когда государственный деятель помнит, что он всего лишь такое орудие, и убежден, что правильно толкует предначертания господни, он обязательно справится со своей задачей.

Фрэнклин. Кайзер тоже был в этом убежден, но разве он справился со своей задачей?

Бердж. И все-таки надо быть справедливым, даже к кайзеру. Надо быть справедливым.

Фрэнклин. А вы были справедливы к нему, когда победили на выборах под лозунгом «Повесим кайзера!»?

Бердж. Вздор! Я — человек, начисто не способный повесить ближнего. Но ведь народ не внял бы голосу разума. Кроме того, я знал, что голландцы его не выдадут{170}.

Сэвви. Хватит вам спорить о бедном старом Вилли. Вернемся лучше к нашей теме. Пусть два эти джентльмена сами решают. Как вы считаете, мистер Бердж, способен мистер Лубин управлять Англией?

Бердж. Нет. Честно говорю — нет.

Лубин (негодующе). Вот как?

Конрад. Почему?

Бердж. Да потому, что у него нет совести.

Лубин (он изумлен и шокирован). Однако!

Фрэнклин. Мистер Лубин, считаете ли вы, что Джойс Бердж способен управлять Англией?

Лубин (взволнованно и обиженно, но с достоинством и без горечи). Извините, мистер Барнабас, но прежде чем дать ответ на ваш вопрос, я хотел бы сказать еще два слова. Мы часто расходились во мнениях, Бердж, и ваши друзья газетчики писали обо мне много нелестного. Но мы долгие годы работали вместе, и, надеюсь, я не совершил ничего такого, что оправдало бы брошенное вами чудовищное обвинение. Вы действительно считаете, что у меня нет совести?

Бердж. Лубин, я не в силах противиться, когда обращаются к моим чувствам; воззвав к ним, вы поступили очень умно. Я готов кое в чем уступить. Не хочу сказать, что вы плохой человек. Не скажу даже, что не люблю вас, хотя вы постоянно старались обескуражить и принизить меня. Однако разум ваш похож на зеркало. Вы чрезвычайно ясно, остро и отчетливо различаете то, что у вас под носом, но не замечаете ни того, что впереди, ни того, что сзади. У вас нет ни предвидения, ни памяти. Вы лишены последовательности, а человеку непоследовательному не свойственны ни честь, ни совесть. В результате вы были на редкость скверным министром и порою на редкость скверным другом. А теперь можете отвечать на вопрос Барнабаса и говорить обо мне все, что душе угодно. Он спрашивал, способен ли я управлять Англией.

Лубин (овладев собой). После всего, что здесь произошло, я особенно горячо хотел бы сказать: «Да, Бердж, способны». Но мне думается, вы сами вынесли себе приговор. Вы олицетворяете то качество, которое было слишком популярно в нашей стране и слишком сильно влияло на нее с тех самых пор, как Джозеф Чемберлен{171} ввел его в моду, — голую энергию, не подкрепленную ни интеллектом, ни культурой. У вас недисциплинированный ум. Вы не обогатили его необходимыми познаниями, не развили общением с образованными людьми в одном из наших великих рассадников науки. А поскольку я, на свое счастье, обладаю этим преимуществом, мой образ мышления вам недоступен. Скажу честно, именно это и доказывает вашу непригодность. Наступление мира продемонстрировало всю вашу слабость.

Бердж. Вот как? А что же в это время продемонстрировали вы?

Лубин. Вы и ваши союзники-газетчики оттерли меня от руководства. Я ничего не продемонстрировал в мирное время, потому что был отодвинут в сторону.

Фрэнклин. Полно! Сознайтесь-ка лучше, что вы оба преувеличиваете свою роль. Война пошла так, как хотела Англия, но мир оказался совсем не таким, как хотела она, и непохожим на то, каким вы заранее столь бойко изображали его. Ваш мирный договор превратился в клочок бумаги еще до того, как на нем высохли чернила. Государственные деятели Европы проявили свою неспособность управлять ею. Им недоставало двух-трех веков опыта и тренировки. Весь их багаж сводился к нескольким годам адвокатуры или службы в банке, охоты на куропаток или игры в гольф. А теперь, когда на города и гавани нацелены чудовищные орудия, когда гигантские самолеты готовы в любую минуту взмыть к небу и забросать противника бомбами, каждая из которых сносит целую улицу, или пустить на него боевые газы, способные мгновенно умертвить бог знает сколько людей, — теперь мы ждем, что кто-нибудь из вас, господа, выйдет на трибуну и беспомощно объявит нам, таким же беспомощным, как он сам, что снова началась война.

Конрад. Вот именно. Вы, конечно, с большим остроумием попрекаете друг друга после второго завтрака обоюдными недостатками и промахами, но для нас это слишком слабое утешение.

Бердж (сердито). Ну, если пошло на то, скажите сами, чем и кого, сидя у себя в кабинете и перемывая нам косточки, утешили вы, люди, никогда ни за что не отвечавшие и, насколько помнится, не шевельнувшие пальцем, чтобы помочь нам в дни страшного кризиса, который меня лично состарил на десять лет? Назовите хоть один ваш шаг, который помог бы нам во время этой адской передряги.

Конрад. Мы ни в чем вас не виним: вы слишком мало жили. Мы тоже. Неужели вы не понимаете, что жалкие семьдесят лет, которых, может быть, довольно для примитивной крестьянской жизни, слишком малый срок для такой сложной цивилизации, как наша? Флиндерс Петри насчитал девять попыток человечества создать цивилизацию, как это пытаемся теперь сделать мы, и все эти попытки, равно как наша, потерпели неудачу. А не удались они потому, что граждане и государственные деятели умирали от старости или переедания, прежде чем успевали стать подлинно взрослыми и отвыкнуть от варварских забав, сигар и шампанского. Симптомы конца всегда одинаковы: демократия, социализм, избирательное право для женщин. Если мы не поймем, что должны жить дольше, крах наступит еще при жизни нынешнего поколения.

Лубин. Очень рад, что вы, как и я, считаете избирательное право для женщин и социализм признаками упадка.

Фрэнклин. Отнюдь не считаю. Это всего-навсего трудности, которые вам не по плечу. А коль скоро вы неспособны создать социализм, вы неспособны создать цивилизацию и, следовательно, неизбежно возвращаетесь к варварству.

Сэвви. Правильно!

Бердж. Очень меткое замечание. Никто не властен перевести стрелки часов назад.

Хэзлем. Почему? Я часто это проделываю.

Лубин. Ну, будет, будет. Не слишком ли вы размечтались, дорогой Бердж? Мистер Барнабас, я человек терпеливый, но не скажете ли все-таки, какую пользу или выгоду может принести идея, которую нельзя осуществить? Не спорю, живи люди триста лет, мы были бы мудрее и уж во всяком случае взрослей. Но, надеюсь, и вы не станете отрицать, что задаваться несбыточными целями бессмысленно?

Фрэнклин. Твой черед, Конрад. Ответь ему.

Конрад. Стоит ли? По-моему, им и не хочется жить дольше, чем обычно.

Лубин. Я, конечно, всего лишь шестидесятидевятилетний ребенок, но давно уже отучился с плачем требовать, чтобы мне достали луну с неба.

Бердж. Признайтесь наконец, открыли вы эликсир жизни или нет. Если нет, я согласен с Лубином: мы теряем время попусту.

Конрад. А разве ваше время представляет собой какую-нибудь ценность?

Бердж (не веря своим ушам). Мое время? Что вы хотите этим сказать?

Лубин (с благодушной улыбкой). С вашей высоконаучной позиции, профессор, оно действительно не представляет собой никакой ценности. Во всяком случае, несколько минут праздной болтовни, как мне кажется, пойдут Берджу только на пользу. В конце концов, чем разговоры об эликсире жизни хуже чтения романов или иных развлечений, которым предается Бердж, когда не играет в гольф в Уолтен Хис? Что же такое ваш эликсир, доктор Барнабас? Это лимоны? Простокваша? Или что-нибудь поновее?

Бердж. Не успели мы наконец заговорить серьезно, как вы опять понесли вздор. (Поднимается.) До свиданья! (Поворачивается к двери.)

Конрад (грубо). Ну и умирайте, если охота. До свиданья!

Бердж (колеблясь). Послушайте. До самой смерти Мечникова{172} я дважды в день ел простоквашу. Он считал, что она гарантирует ему вечную жизнь, но как раз от нее и умер.

Конрад. С таким же успехом можете употреблять пивные дрожжи.

Бердж. Значит, вы верите в лимоны?

Конрад. За десять фунтов в рот их не возьму!

Бердж (вновь опускаясь в кресло). Что же вы рекомендуете?

Конрад (безнадежно махнув рукой). Не пора ли кончать, Фрэнк? Теперь они сидят и слушают меня, раскрыв рот и закрыв глаза, но делают это лишь потому, что я доктор биологии и они надеются получить от меня пузырек снадобья, которое сделает их бессмертными. Вот их представление о науке!

Сэвви. Держись, дядя! Не сдавайся!

Конрад, ворча, садится.

Лубин. Вы сами завели разговор о своем открытии, доктор. Я же лично скажу одно — что отнюдь не разделяю модной теперь веры в науку и берусь доказать, что если за последние полвека церковь часто совершала ошибки и даже либеральную партию порою нельзя было назвать непогрешимой, то уж ученые заблуждались всегда и во всем.

Конрад. Да, если речь идет о субъектах, которых именуете учеными вы. О людях, видящих в науке способ делать деньги, и об их последователях в медицине. Но кто же, по-вашему, не заблуждался?

Лубин. Поэты и писатели, особенно классики. Если они и заблуждались, то редко. Но я прошу вас не предавать мое мнение огласке: голоса медиков и тех, кто верит им, — не такой пустяк, чтобы пренебрегать ими на выборах.

Фрэнклин. Вы совершенно правы: поэзия — подлинный ключ к биологии. Самый глубоко научный документ, которым мы располагаем в наши дни, — легенда об эдемском саде, как справедливо заметила бы еще ваша бабушка.

Бердж (настораживаясь). Что? Что? Если вы можете доказать это, Барнабас, я весь внимание. Продолжайте. Я слушаю.

Фрэнклин. Надеюсь, вы не забыли, что при сотворении своем в саду эдемском Адам и Ева не были смертны и что естественная смерть, как мы теперь говорим, представляет собой не исконную часть жизни, а совершенно особое и возникшее позже явление?

Бердж. Да, да, спасибо, что напомнили. Смерть появилась позднее.

Лубин. А как же случайная смерть? Она-то уж всегда была возможна.

Фрэнклин. Совершенно верно. Перед Адамом и Евой стояла страшная альтернатива — либо случайная смерть и конец рода человеческого, либо вечная жизнь. И то и другое было для них неприемлемо. Они решили ограничить свое бытие тысячью лет и за это время произвести на свет новую супружескую чету. В силу этого им пришлось изобрести естественное рождение и естественную смерть, которые, в сущности, представляют собой лишь способ непрерывно поддерживать жизнь, не возлагая на отдельного человека непосильное бремя бессмертия.

Лубин. Понимаю. Старое уступает место новому.

Бердж. Короче говоря, смерть не что иное, как уступка места. Так оно всегда и было.

Фрэнклин. Да, но старое не должно уходить, прежде чем новое окончательно не созреет. А сейчас мы уходим на двести лет раньше, чем следовало бы.

Сэвви. Мне, кажется, дядя, люди — просто перевоплощение своих предков. Я, например, подозреваю, что я Ева. Я тоже обожаю яблоки, хотя они мне вредны.

Конрад. В известном смысле ты действительно Ева. Жизнь, без сомнения, вечна, но она постоянно меняет свою духовную и телесную оболочку, как мы меняем платье. Ты лишь новая шляпка и юбка на Еве.

Фрэнклин. Причем жизнь все удачней и удачней подгоняет эти оболочки к своей извечной цели.

Лубин (со спокойным скептицизмом). Нельзя ли узнать, мистер Барнабас, к какой именно?

Фрэнклин. Цель эта — всемогущество и всеведение. Больше силы и больше знаний — вот к чему стремимся мы все, даже если ради этого рискуем жизнью и поступаемся наслаждением. Это единственное содержание эволюции, единственный путь к превращению в божество. Человек ушел на этом пути дальше, чем микроб, — вот и вся разница между ними.

Лубин. И когда же, по-вашему, эта скромная цель будет достигнута?

Фрэнклин. Слава богу, никогда! Коль скоро силе и познанию нет предела, путь к ним тоже бесконечен. «Его есть сила и слава во веки веков».{173} Неужели эти слова ничего вам не говорят?

Бердж (вытаскивая из кармана старый конверт). Если позволите, я запишу вашу мысль. (Пишет.)

Конрад. В жизни всегда есть что-нибудь, ради чего стоит жить.

Бердж (пряча конверт и принимая все более деловой вид). Отлично. Записал. А что вы скажете насчет грехопадения? Как вы свяжете его со своей концепцией?

Конрад. Никак. Понятие греха лежит за пределами науки. Впрочем, полагаю, что Фрэнклин ответит вам и на этот вопрос.

Бердж (Фрэнклину). Буду рад послушать. Это важно, очень важно.

Фрэнклин. Хорошо, взглянем на дело и с такой точки зрения. Ясно, что пока Адам и Ева оставались бессмертны, им было необходимо делать землю максимально пригодной для житья.

Бердж. Верно. Арендовав дом на девяносто девять лет, вы не жалеете денег на ремонт. Если же вы снимаете жилье на три месяца, то по истечении срока домовладелец, как правило, предъявляет вам счет за целую кучу поломок.

Фрэнклин. Вот именно. Итак, получив эдемский сад в вечное пользование, Адам поневоле старался превратить его в цветущий сельский уголок, как выражаются агенты по продаже недвижимости. Но едва он придумал смерть и стал лишь пожизненным арендатором Эдема, дальнейший уход за садом потерял всякий смысл. Тогда-то Адам и бросил выпалывать чертополох. Жизнь оказалась столь короткой, что больше не имело смысла особенно надрываться.

Бердж. Вы думаете, такая картина достаточно полно отражает представление среднего избирателя о грехопадении? Вы находите, что она достаточно трагична?

Фрэнклин. Это лишь первая ступень грехопадения, Адам же свалился не с одной ступени, а с целой лестницы. Так, например, пока не было придумано рождение, он не решался давать волю своему нраву: убив Еву, он навеки остался бы вдов и одинок. Но когда он изобрел рождение и появилась возможность заменить любого убитого человека новым, он перестал сдерживаться. Он, без сомнения, первым из людей начал бить свою жену и тем самым опустился еще на одну ступень. Один из его сыновей додумался до мясной пищи. Это новшество ужаснуло другого сына, и он со свирепостью, которая поныне отличает быков и прочих травоядных, убил своего лакомившегося бифштексами брата. Так появилось убийство, что еще более ускорило падение. Убийство оказалось настолько захватывающим занятием, что люди принялись убивать ближних для развлечения и таким образом изобрели войну, а уж она — последняя степень падения. Они стали убивать и животных — просто так, для времяпровождения, а затем, естественно, поедать их мясо, чтобы избавить себя от долгого и тяжкого земледельческого труда. Вот и вся история того, как наши предки скатились по ступеням лестницы Иакова{174} из рая в земной ад, где они настолько умножили вероятность смерти от насилия, несчастных случаев и болезней, что жизнь их в конце концов ограничилась семьюдесятью годами, то есть сроком, гораздо меньшим, нежели тысяча лет, которые собирался прожить Адам. Будете ли вы теперь, когда перед вами развернулась такая картина, вновь спрашивать меня, в чем же, собственно, заключалось грехопадение? С равным успехом можно стоять у подножия Сноудена{175} и задавать вопрос: «А где же гора?» Это настолько ясно даже детям, что они уложили всю историю грехопадения в две рифмованные строки:

Грешник этот длинный дядя: он молитвы не творит,

Вы его толкните сзади — пусть он с лестницы слетит.

Лубин (с обычным несокрушимым скептицизмом). А что говорит об этой сказке наука? Она, наверное, и слышать не хочет о Книге Бытия, Адаме и Еве?

Конрад. Тогда это не наука. Наука обязана считаться с любыми фактами, следовательно, и с Библией.

Фрэнклин. Книга Бытия — такое же явление природы, как всякое другое. Коль скоро сказание о саде эдемском пережило века и до сих пор чарует наше воображение, тогда как сотни других гораздо более правдоподобных и занимательных историй вышли из моды и забылись, как прошлогодняя модная песенка, это сказание — научный факт, и долг науки — объяснить его. Вы же утверждаете, что наука и слышать о нем не хочет. В таком случае ученые еще более невежественны, чем дети в сельской школе.

Конрад. Разумеется, если вы находите, что научнее именовать предмет нашего разговора не Адамом, Евой и Эдемом, а филогенезисом бластодермы{176}…

Сэвви. Без ругани, дядя!

Конрад. Да помолчи ты: я и не ругаюсь. (Лубину.) Если вы предпочитаете, чтобы профессиональные пустомели переложили вам Библию длинными иностранными словами, а затем выдали свою пачкотню за нечто новое, извольте, это могу проделать для вас и я. Почему бы не переименовать Книгу Бытия в «Филогенезис» и не вложить в уста творца такую, например, фразу: «Я создам антипатический симбиоз тебя и твоей самки, ее и твоей бластодермы»? Тогда вас никто не поймет, а Сэвви решит, что вы ругаетесь. Но смысл все равно останется тот же.

Хэзлем. Неподражаемо! И предельно просто: первый вариант — поэзия, второй — наука.

Фрэнклин. Нет, вдохновенный человеческий язык и жаргон педантов.

Лубин (с невозмутимым видом припоминая). Одного из немногих новейших авторов, которых я иногда перелистываю, звали Руссо, и он был деистом вроде Берджа.

Бердж (властно перебивая его). Лубин, неужели ошеломляюще важное сообщение, которое только что сделал нам профессор Барнабас и за которое я навсегда ему признателен, — неужели, повторяю, оно вызвало в вас лишь желание подставить мне ножку, уличив меня в том, что я чужд истинной вере?

Лубин. Сообщение это весьма интересно и забавно, Бердж. На мой взгляд, оно могло бы стать поучительным юридическим казусом, и я, пожалуй, согласился бы защищать его в церковном суде. Но называть его важным я бы все-таки поостерегся.

Бердж. Боже правый! Перед нами профессор, человек, бесконечно далекий от нашей политической сутолоки, человек, целиком отдавший себя науке в самом отвлеченном смысле этого слова, и все-таки я торжественно объявляю его величайшим политиком и самым вдохновенным партийным лидером королевства. Я, Джойс Бердж, снимаю перед ним шляпу и воздаю ему должное, а вы сидите, мурлыча, как ангорский кот, и не желаете ничего понимать!

Конрад (вытаращив глаза). Ого! Чем я заслужил такие комплименты?

Бердж. Чем, доктор? Да тем, что поставили либеральную партию к власти на ближайшие тридцать лет, вот чем.

Конрад. Упаси боже!

Бердж. Теперь с церковью покончено. Благодаря вам, мы выйдем на выборы с одним-единственным лозунгом: «Назад к Библии!» Представляете, как это подействует на избирателей-неангликан? С одной стороны, нам отдадут свои голоса они, с другой — современные образованные скептики-профессионалы. Сельский атеист и первый корнетист местного оркестра Армии спасения{177} мирно сходятся на деревенской площади и протягивают друг другу руки. Учитель берет свой класс, которому он, в соответствии с поправкой Каупера-Темпла{178}, читает Библию, и ведет его в музей. Там он показывает детям череп пилтдаунца{179} и говорит: «Вот Адам, супруг Евы». Когда в лаборатории Оуэнз-колледжа{180} какой-нибудь очкастый студент начинает добиваться, в чем же состоит подлинно научная концепция эволюции, мы суем ему в руки «Путь паломника»{181}. Мы…

Сэвви и Хэзлем оглушительно прыскают со смеху.

Что это вам так весело?

Сэвви. Ох, продолжайте, мистер Бердж, продолжайте!

Хэзлем. Неподражаемо!

Фрэнклин. Разве тридцать лет пребывания вашей партии у власти имеют такое уж значение, мистер Бердж, когда у вас впереди еще два с половиной века жизни?

Бердж (решительно). Нет, этот раздел придется изъять из программы. Избиратели на него не клюнут.

Лубин (серьезно). А вот я не столь категоричен, Бердж. Смотрите, как бы этот раздел не оказался единственным, на который они клюнут.

Бердж. Все равно он нам ни к чему. Это не лозунг для партии. Его столь же успешно могут использовать и наши противники.

Лубин. Не скажите. Если мы выдвинем его первыми, общественное мнение прочно отождествит его с нашей партией. Допустим, я вношу в программу требование продлить человеческую жизнь до трехсот лет. Это вынудит Данрина, как лидера соперничающей партии, выступить с возражениями, обозвать меня фантазером и так далее. Тем самым он окажется в положении человека, стремящегося лишить свой народ законных двухсот тридцати лет жизни. Следовательно, унионисты станут партией преждевременной смерти, а мы — партией долголетия.

Бердж (потрясенный). Вы всерьез убеждены, что избиратель на это клюнет?

Лубин. Дорогой Бердж, да разве есть на свете такое, на что избиратель не клюнет, если это умело ему подать? Но мы должны быть уверены в том, что под ногами у нас твердая почва. Нам нужна поддержка людей науки. Достаточно ли они единодушны, доктор, в вопросе о возможности описанной вами эволюции?

Конрад. Да. С начала текущего века, ознаменовавшегося реакцией против Дарвина, все мало-мальски серьезные научные авторитеты склоняются к признанию творческой эволюции.

Фрэнклин. К нему склоняются и поэзия, и философия, и религия. Творческая эволюция становится религией двадцатого столетия, уходящей своими интеллектуальными корнями в философию и науку, подобно тому как средневековое христианство уходило своими интеллектуальными корнями в Аристотеля.

Лубин. Но, разумеется, эта эволюция будет настолько постепенной, что…

Конрад. Не обольщайтесь. Только наши политические деятели улучшают мир так постепенно, что никто не замечает улучшений. Утверждение, будто природа не делает скачков{182}, представляет собой лишь образчик той благообразной лжи, которая именуется классическим образованием. Природа всегда развивается скачками. Порой она тратит двадцать тысяч лет на подготовку к такому скачку, но когда наконец делает его, он оказывается настолько гигантским, что мы разом переносимся в другую эру.

Лубин (слова Конрада явно произвели на него впечатление). Подумать только! Я останусь лидером партии на ближайшие триста лет.

Бердж. Что?

Лубин. Честно говоря, это жестоко по отношению к тем, кто моложе меня. Вероятно, лет через сто-двести я все-таки должен буду уйти — конечно, лишь в том случае, если удастся уговорить Мими расстаться с Даунинг-стрит{183}.

Бердж. Нет, это слишком! Вы так ослеплены вашим безграничным самомнением, что не считаетесь с насущнейшими политическими потребностями момента.

Лубин. Понимаю, вы имеете в виду мою отставку. Я не вижу в ней необходимости. Не видел, когда был почти стариком или, по меньшей мере, пожилым человеком. А теперь, когда выяснилось, что я еще юноша, вопрос о ней и подавно отпадает. (Конраду.) Но я хотел бы знать, нет ли других теорий, опровергающих вашу. Не существует ли, так сказать, научной оппозиции?

Конрад. Видите ли, некоторые авторитеты утверждают, что род человеческий не оправдал себя и что новая форма жизни, более приспособленная к условиям высокоразвитой цивилизации, непременно должна занять наше место, как мы заняли некогда место обезьяны и слона.

Бердж. Иными словами, сверхчеловек?

Конрад. Нет, существа, совершенно несхожие с нами.

Лубин. Так ли уж это желательно?

Фрэнклин. Боюсь, что очень. В любом случае мы можем быть уверены в одном: одиночество нам не угрожает. Сила, движущая эволюцией, как бы эту силу ни называли, обязательно разрешит проблему цивилизации. Если ей не удастся сделать это нашими руками, она создаст более способных исполнителей своей воли. Человек — не последнее слово бога, потому что бог никогда не перестает творить. Если мы не сможем осуществить его замыслы, он произведет на свет существа, которые смогут.

Бердж (благоговейно). Что мы знаем о боге, Барнабас? Да и кто о нем что-нибудь знает?

Конрад. Безусловно и достоверно мы знаем о нем только одно. Та сила, которую мой брат именует богом, действует методом исключения ошибок, и если мы окажемся одной из таких ошибок, люди просто исчезнут по примеру мастодонтов{184}, мегатериев{185} и прочих неудачных экспериментов.

Лубин (поднимается и начинает задумчиво расхаживать взад и вперед по комнате). Не скрою от вас, джентльмены, все это произвело на меня сильное впечатление. Более того, ваша теория кажется мне, пожалуй, даже интересней, чем вопрос о церковной автономии Уэльса. Но, как политик, я… Гм! А вы что скажете, Бердж?

Конрад. Мы не политики. Мы просто хотим что-то сделать, политики же — люди, которые владеют искусством использовать парламент для того, чтобы никто ничего не делал.

Фрэнклин. Когда у нас появятся зрелые государственные деятели и зрелые граждане…

Лубин (внезапно останавливаясь). Граждане? Значит, простые граждане тоже будут жить по триста лет, как государственные деятели?

Конрад. Разумеется.

Лубин. Признаюсь, об этом я не подумал. (Резко опускается в кресло; видно, что он неприятно озадачен новой стороной дела.)

Сэвви молча, но красноречиво переглядывается с Хэзлемом.

Бердж. Благоразумно ли сразу же заходить так далеко? Не целесообразней ли начать с элиты?

Фрэнклин. На этот счет не беспокойтесь. Все начнется как раз с нее.

Лубин. Рад слышать это от вас. Как вы понимаете, практически вопрос придется решать в парламентских рамках.

Бердж. Проще говоря, нам предстоит подготовить законопроект. Пока его нет, никто не понимает, что же, собственно, происходит. В этом я убедился на личном опыте.

Лубин. Совершенно верно. Я смотрю на вещи так: мы заинтересуем избирателей вашей идеей, которая станет своего рода новой религией и вселит в каждого из них новые надежды; кроме того, она поможет нам свести на нет свойственное им предубеждение против тех из нас, кто уже достиг преклонных лет. Однако было бы в высшей степени неосмотрительно и даже опасно дать всем им возможность жить дольше обычного. Подумайте хотя бы о производстве самого эликсира, что бы он собою ни представлял! В Англии сорок миллионов жителей. Предположим, что каждый из них должен ежедневно принимать… э-э… пять унций{186} вашего снадобья. Это составит — минутку! — триста шестьдесят пять на пять… гм!.. тысяча восемьсот плюс двадцать пять… тысячу восемьсот двадцать пять унций, то есть два английских центнера и две унции на душу в год.

Бердж. Или, округленно, два миллиона тонн в год для всей Англии, потому что охотиться за эликсиром станет каждый. Ради него мужчины будут топтать на улицах женщин и детей. Нет, в таких количествах его не произвести. Состав придется держать в секрете, иначе дойдет до смертоубийства.

Конрад (вытаращив глаза). Держать состав в секрете? Да вы о чем?

Бердж. О вашем эликсире, конечно. А уж порошки это, микстура или таблетки — вам самому виднее. Вы сказали только, что это не лимоны.

Конрад. У меня нет ни порошков, ни микстуры, ни таблеток. Я, милостивый государь, не шарлатан, а биолог. Долголетие придет к людям само собой.

Лубин (окончательно растерявшись). Само собой? И это все? (Смотрит на часы.)

Бердж. Само собой? Что вы имеете в виду? Что вы лично не можете ничего гарантировать?

Конрад. Точно так же, как не могу произвести вас на свет.

Фрэнклин. Но мы можем внушить людям, что долголетию препятствует лишь одно — их собственная готовность умереть, прежде чем они осуществят дело своей жизни, равно как непонимание ими важности этого дела.

Конрад. Нужно лишь распространить эту мысль, доказать ее справедливость, и люди станут долговечны. Это так же верно, как то, что завтра опять взойдет солнце.

Фрэнклин. Мы не знаем, где, когда и с кем это произойдет. Не исключено, что первым долгожителем станет кто-нибудь из присутствующих.

Хэзлем. Только не я. Это уж наверняка.

Конрад. Им может стать каждый. Хотя бы горничная. Откуда нам знать?

Сэвви. Горничная? Вздор, дядя!

Лубин (снова вполне благодушно). По-моему, мисс Сэвви вынесла окончательный приговор.

Бердж. Значит, вы хотите сказать, что практически предлагаете внушить людям желание жить долго, и только? Но если бы долголетие зависело лишь от желания жить, мы все давно были бы бессмертны. Вечно жить хочется каждому. Отчего же мы умираем?

Конрад. Чепуха! Каждому хочется иметь миллион. Почему же не все мы миллионеры? Да потому, что человек, мечтающий о миллионе, не дает себе труда сэкономить хотя бы шесть пенсов, даже если перед ним маячит призрак голода. Человек, мечтающий о вечной жизни, не склонен отказывать себе в кружке пива и лишней трубке, хотя знает, что непьющие и некурящие живут дольше. Мечтания — еще не решимость. Вспомните, что́ способен сделать человек, когда он твердо знает, что это надо сделать.

Фрэнклин. Не ставьте праздную мечту на одну доску с чудотворной и всемогущей силой воли, приводимой в действие осознанной необходимостью. Уверяю вас, люди, способные к такому волевому усилию и осознавшие его необходимость, сделают его как бы нехотя, повинуясь лишь внутреннему побуждению, как и делается любое великое усилие. Они не будут признаваться себе в том, что́ делают, постараются не замечать того, что́ делают. Но они будут жить триста лет, и не потому, что им так хочется, а потому, что в глубине души они будут убеждены в необходимости этого для спасения человечества.

Лубин (поворачиваясь к Фрэнклину и почти отечески похлопывая его по плечу). Дорогой Барнабас, за последние тридцать лет я самое меньшее раз в неделю получал от какого-нибудь чудака письмо с рецептом тысячелетней жизни. На мой взгляд, вы самый безумный из таких чудаков, но зато и самый интересный. Теперь, когда стало ясно, что ваш проект — чистой воды фантазия и никаких практических предложений у вас нет, я испытываю странное чувство — смесь облегчения и разочарования. Мне жаль вашей идеи — она действительно захватывает. По-моему, вы слишком строги к нам, практикам, хотя в любом кабинете и даже на передней скамье{187} встречаются люди, вполне заслуживающие тех слов, которые вы сказали. Итак, покончим с этим разговором, но раньше позвольте задать вам один вопрос — праздный, конечно, поскольку из вашей затеи ничего не выйдет, но все-таки…

Фрэнклин. Задайте.

Лубин. Почему вы определили срок именно в триста лет?

Фрэнклин. Потому что его надо было как-то определить. Меньше трехсот лет — недостаточно, больше — человек не решится прожить.

Лубин. Чепуха! Меня не смутят и три тысячи лет, чтобы не сказать три миллиона.

Конрад. Еще бы! Вы же не верите, что вам придется перейти от слов к делу.

Фрэнклин (мягко). А может быть, просто не привыкли думать о будущем.

Бердж (с глубокой убежденностью). Для Генри Хопкинса Лубина будущего вообще не существует.

Лубин. Если под этим словом вы понимаете пустые мечты о тысячелетней жизни, которыми пользуетесь, как пучком моркови, чтобы заманить невежественного осла-британца в избирательную будку и заставить его отдать вам свой голос, то такого будущего для меня действительно не существует.

Бердж. А вот я способен заглянуть в него. И не только потому, что мне — при всей своей скромности не умолчу об этом — присущ известный дар предвидения, но еще и потому, что я прошел через адвокатуру. Адвокат — первый советчик в семейных делах. Его обязанность — думать о будущем и знать прошлое. Его контора — в полном смысле слова современная исповедальня. Помимо всего прочего он составляет завещания для своих клиентов. Он должен уметь разъяснить им, каким образом они после смерти могут обеспечить своих дочерей. Не пришло ли вам в голову, Лубин, что, если вы проживете триста лет, вашим дочерям придется чертовски долго ждать наследства?

Фрэнклин. Они могут его и не дождаться: трудно поместить капитал так, чтобы он не обесценился за триста лет.

Сэвви. А что будет еще до вашей смерти? Предположим, ваши дочери останутся незамужними. Представляете вы себе участь девушки, которой суждено провести триста лет в родительском доме? Да отец с матерью просто убьют ее, если только она сама не опередит их.

Лубин. Кстати, Барнабас, а ваша дочь сохранит свою привлекательность на столь долгий срок?

Фрэнклин. Разве это так уж важно? Неужели вы думаете, что самая неисправимая кокетка в силах кокетничать три века подряд? Не пройдет и половины этого срока, как мы уже перестанем замечать, с кем говорим — с мужчиной или женщиной.

Лубин (отнюдь не восхищенный подобной аскетической перспективой). Гм! (Поднимается.) Вот что: приезжайте к нам и расскажите все это моей жене и детям. Разумеется, захватите с собой и вашу дочь. (Пожимает руку Сэвви.) До свиданья! (Пожимает руку Фрэнклину.) До свиданья, доктор! (Пожимает руку Конраду.) Пойдемте, Бердж. Вам еще предстоит объяснить мне, какую позицию в церковном вопросе вы займете на выборах.

Бердж. Разве вы не слышали? Разве вы ничего не поняли в тех откровениях, которых нас удостоили? Назад к Мафусаилу — вот моя позиция.

Лубин (решительно). Не валяйте дурака, Бердж. Не предполагаете же вы, что наши хозяева говорили с нами всерьез и что эта в высшей степени приятная беседа имеет хотя бы отдаленное касательство к политической практике? Они просто разыгрывали нас, хотя и весьма остроумно. Идемте. (Уходит.)

Фрэнклин учтиво провожает его, молчаливо покачивая головой в знак протеста.

Бердж (прощаясь с Конрадом). Не сердитесь на старика, доктор. Такие вещи выше его понимания. Он не видит духовной стороны жизни — для него существует лишь ее пластическая сторона, увядающая по мере того, как угасает он сам. К тому же он человек конченый, отживший, отгоревший, опустошенный. Он мнит себя нашим лидером, хотя на самом деле он лишь наша мусорная корзинка. Но на меня вы можете положиться. Я пущу в ход вашу идею. Я знаю ей цену. (Вместе с Конрадом направляется к двери.) Разумеется, я не могу изложить ее буквально, как это делаете вы, но вы совершенно правы — нам нужна свежая мысль. Уверен, что у нас есть полная возможность выйти на выборы под лозунгом продления жизни и признания истории Адама и Евы научным фактом. Это выбьет почву из-под ног оппозиции. А уж если мы победим, кое-кто при первом же представлении получит О. М.{188} (Продолжая говорить, скрывается за дверью, и голос его затихает.)

Конрад провожает гостя.

Оставшись одни, Сэвви с Хэзлемом хватают друг друга за руки и, пританцовывая от восторга, направляются к дивану, где опять садятся бок о бок.

Хэзлем (обнимая ее). Дорогая! Какой неподражаемый пустомеля этот Лубин!

Сэвви. Милый старикан! Он мне нравится. Зато Бердж — большой пройдоха.

Хэзлем. А ты заметила одно весьма характерное обстоятельство?

Сэвви. Какое?

Хэзлем. И Лубин, и твой отец пережили войну, но потеряли на ней сыновей.

Сэвви (мрачнея). Да. Смерть Джима убила маму.

Хэзлем. Однако ни тот, ни другой ни словом не обмолвились о них.

Сэвви. Ну и что? О них не было речи. Я сама забыла о Джиме, хотя очень его любила.

Хэзлем. А вот я не забыл, потому что возраст у меня призывной и, не будь я священником, мне бы тоже пришлось пойти на войну и погибнуть. По-моему, их политическая беспомощность страшнее всего проявилась в том, что они сами послали своих сыновей на убой. Списки убитых и послевоенная разруха — вот из-за чего мне опротивели и церковь, и политика, и все на свете, кроме тебя.

Сэвви. Ох, я тоже была не лучше других: продавала на улицах флаги в самом своем нарядном платье и… Тсс! (Вскакивает и делает вид, что ищет книгу на стеллаже за диваном.)

Фрэнклин и Конрад возвращаются. Вид у них усталый и угрюмый.

Конрад. Вот какой прием ожидает Евангелие от братьев Барнабас! (Опускается в кресло, где сидел Бердж.)

Фрэнклин (вновь усаживаясь за письменный стол). Да, надежды никакой. А вас мы убедили, мистер Хэзлем?

Хэзлем. В том, что люди могут жить три столетия? Честно говоря, нет.

Конрад (к Сэвви). Тебя, очевидно, тоже?

Сэвви. Право, не знаю. На минуту мне показалось, что да. В какой-то мере я способна поверить, что люди могут жить триста лет. Но когда ты перешел к делу и заявил, что это относится и к горничной, я поняла всю несбыточность ваших планов.

Фрэнклин. Вот именно. Нам лучше замолчать, Кон, иначе нас просто высмеют и мы утратим ту каплю доверия к себе, которую снискали своими ошибками в дни, когда были еще невеждами.

Конрад. Пожалуй, ты прав. Но сколько бы над нами ни смеялись, творческой эволюции не задержать. Быть может, даже насмешки станут для нее чем-то вроде смазки для машины.

Сэвви. Как это понять?

Конрад. Так, что первый мужчина, который проживет триста лет, может вовсе не подозревать, какая участь его ожидает, и быть одним из тех, кто станет громче остальных смеяться над мыслью о долголетии.

Сэвви. А почему не первая женщина?

Конрад (примирительно). Женщина так женщина.

Хэзлем. Во всяком случае, это не будет ни один из нас.

Фрэнклин. А вы почем знаете?

Вопрос остается без ответа: присутствующим нечего больше добавить.

Часть III

Свершилось!

Год 2170 н. э., летний день. Служебный кабинет президента Британских островов. Во всю ширину комнаты стол для заседаний. С обеих его сторон по три кресла; на одном конце председательское кресло, на другом — простой стул. На столе, перед каждым креслом, небольшой коммутатор со шкалой. Камина нет. Задняя стена представляет собой серебристый экран размером приблизительно в две створчатые двери. Слева от зрителей дверь; рядом с нею, на стене, ряд массивных крюков для одежды, подбитых и обтянутых бархатом.

Входит плотный, интересный, жизнерадостный мужчина средних лет. Он в шелковой тунике, чулках, сандалиях с красивым узором; на лбу у него золотой обруч. Он похож и на Джойса Берджа, и на Лубина, словно природа сделала из обоих один фотомонтаж. Мужчина снимает обруч, вешает на крюк и садится в председательское кресло на дальнем, считая от двери, конце стола. Затем вставляет штепсельную вилку в коммутатор, передвигает стрелку шкалы и нажимает кнопку. Серебряный экран темнеет, на нем появляется как бы зеркально отраженное изображение другого кабинета с точно такой же меблировкой и сидящего в нем худощавого неприветливого человека в такой же одежде, но менее яркой расцветки. Его золотой обруч висит на таком же крюке около двери. Человек перебирает бумаги на столе. Он сильно напоминает Конрада Барнабаса, только лицо у него гораздо моложавей и заурядней.

Бердж-Лубин. Алло! Барнабас?

Барнабас (не поворачивая головы). Какой номер?

Бердж-Лубин. Пять — двойной икс — тридцать два — гамма. Бердж-Лубин.

Барнабас вставляет вилку в гнездо 5, переводит стрелку шкалы на двойной икс, вставляет вторую вилку в гнездо 32, нажимает кнопку и поворачивается к Бердж-Лубину, которого теперь и видит, и слышит.

Барнабас (отрывисто). А, это вы, президент!

Бердж-Лубин. Да. Мне передали, что вы просили позвонить. Что случилось?

Барнабас (резко и ворчливо). Я хочу выразить протест.

Бердж-Лубин (добродушно и насмешливо). Как! Снова протест? Чем вы недовольны на этот раз?

Барнабас. Будь вам известно, сколько раз я воздерживался от протеста, вы изумились бы моему терпению. Вы постоянно выказываете мне подчеркнутое неуважение.

Бердж-Лубин. В чем же оно выразилось теперь?

Барнабас. Вы распорядились, чтобы я принял в государственном архиве этого субъекта из Америки и лично присутствовал на демонстрации какого-то дурацкого фильма. Это дело президента, а не верховного статистика. Вы самым недостойным образом расточаете мое время и незаконно перекладываете на меня собственные обязанности. Я отказываюсь быть на приеме. Идите на него сами.

Бердж-Лубин. Дорогой мой, я с величайшим удовольствием снял бы с вас это бремя…

Барнабас. Вот и снимите. О большем я не прошу. (Хочет выключить связь.)

Бердж-Лубин. Не выключайтесь. Выслушайте меня. Этот американец разработал метод, позволяющий дышать под водой.

Барнабас. А я при чем? Мне дышать под водой ни к чему.

Бердж-Лубин. Как знать, дорогой Барнабас! Такое умение никому не вредит. Вы, например, никогда не смотрите себе под ноги, когда погружены в свои выкладки, и в один прекрасный день обязательно угодите в Серпентайн{189}. А метод этого американца может спасти вам жизнь.

Барнабас (раздраженно). Не объясните ли мне, какое все это имеет отношение к вашей привычке сваливать на меня свои должностные обязанности? Я не позволю себя третировать.

Изображение исчезает, экран светлеет.

Бердж-Лубин (негодующе надавливая на кнопку). Попрошу не разъединять: разговор не кончен. Я, президент, вызываю верховного статистика. Вы что там — заснули?

Женский голос. Извините.

На экране снова появляется Барнабас.

Бердж-Лубин. Ну что ж, если вы так это воспринимаете, я заменю вас. А напрасно: американец считает вас крупнейшим современным авторитетом в вопросе о продолжительности жизни и…

Барнабас (перебивая). Считает? Это еще что за новости? Я и есть крупнейший современный авторитет в вопросе о продолжительности жизни. Кто рискнет это оспаривать?

Бердж-Лубин. Никто, милейший, никто. Не придирайтесь к словам. Но вы, очевидно, не читали книгу этого американца?

Барнабас. Только не рассказывайте мне, что сами читали ее или что за последние двадцать лет прочли хоть одну книгу, кроме романов. Я вам все равно не поверю.

Бердж-Лубин. Вы правы, дружище, я ее не читал. Зато прочел отзыв о ней в литературном приложении к «Таймс».

Барнабас. Этот отзыв интересует меня, как прошлогодний снег. Я там упомянут?

Бердж-Лубин. Да.

Барнабас. Неужели? И в какой же связи?

Бердж-Лубин. Там говорится, что за последние два столетия утонуло множество выдающихся людей вроде вас и меня и что, если этот метод дыхания под водой оправдает себя, ваша оценка средней продолжительности человеческой жизни окажется несостоятельной.

Барнабас (встревоженно). Несостоятельной? Моя оценка? Боже правый, да понимает ли этот осел, чем это грозит? И понимаете ли вы сами?

Бердж-Лубин. По-моему, это грозит нам пересмотром Акта.

Барнабас. Что? Пересмотреть мой Акт? Чудовищно!

Бердж-Лубин. И все-таки его придется пересмотреть. Заставлять людей работать до сорока трех лет мы можем лишь при условии, что наши цифры непререкаемы. Вы же помните, какой сыр-бор загорелся из-за этих дополнительных трех лет и с каким трудом мы справились со сторонниками сорокалетнего возрастного предела.

Барнабас. Их победа означала бы разорение Британских островов. Вас-то, впрочем, это не беспокоит. У вас одна забота — собственная популярность.

Бердж-Лубин. Мне кажется, вы напрасно волнуетесь. Большинство людей жалуются на недостаток работы. Они были бы счастливы трудиться и после сорока трех лет. Надо только не принуждать их, а попросить об этом, как об одолжении.

Барнабас. Благодарю, но я не нуждаюсь в утешениях. (Решительно встает и надевает обруч.)

Бердж-Лубин. Куда это вы собрались?

Барнабас. На вашу киночепуху, куда же еще? Я поставлю на место этого американского шарлатана. (Уходит.)

Бердж-Лубин (вдогонку). Бог помочь, старина! (Ухмыляется и выдергивает вилку; экран опять светлеет. Бердж-Лубин нажимает кнопку и, не отпуская ее, говорит.) Алло!

Женский голос. Алло!

Бердж-Лубин (официальным тоном). Президент почтительно просит премьер-министра удостоить его беседы и целиком предоставляет себя в его высочайшее распоряжение.

Голос с китайским акцентом. Премьер-министр уже идет.

Бердж-Лубин. А, это вы, Конфуций? Вы сама любезность. Прошу. (Отпускает кнопку.)

Входит человек в желтом одеянии, напоминающий внешностью китайского мудреца.

(Шутливо.) Ну-с, ваша луковая премудрость, как ваши бедные больные ноги?

Конфуций (невозмутимо). Благодарю за столь лестное внимание. Я здоров.

Бердж-Лубин. Тем лучше. Садитесь и устраивайтесь поудобней. Есть у вас дела ко мне?

Конфуций (усаживаясь в первое кресло справа от президента). Нет.

Бердж-Лубин. Вам уже известны результаты дополнительных выборов?

Конфуций. Ничего существенного. Всего один кандидат.

Бердж-Лубин. Стоящий человек?

Конфуций. Недели две как выписан из местного сумасшедшего дома. Недостаточно безумен для принудительного усыпления; недостаточно нормален для любого места, кроме парламентских кулуаров. Весьма популярный оратор.

Бердж-Лубин. Как жаль, что народ так несерьезно относится к политике!

Конфуций. А я об этом не сожалею. Англичане не способны к ней от природы. С тех же пор как должностные функции возложены на китайцев, страной правят умело и честно. Что вам еще нужно?

Бердж-Лубин. Тогда я не понимаю, почему Китай — одно из самых дурно управляемых государств на свете.

Конфуций. Не согласен. Так было еще лет двадцать назад, но с тех пор мы запретили китайцам участвовать в государственных делах, ввезли для управления нами уроженцев Шотландии, и все наладилось. Ваша информация, как всегда, запаздывает на двадцать лет.

Бердж-Лубин. Вероятно, ни один народ не способен управлять сам собой. Не знаю только — почему.

Конфуций. Справедливость — это беспристрастие. А беспристрастны лишь иностранцы.

Бердж-Лубин. Как бы то ни было, должностные функции отправляются настолько успешно, что правительству нечего делать — ему остается только думать.

Конфуций. Будь это не так, оно вообще не могло бы думать — у него было бы слишком много дела.

Бердж-Лубин. Но разве это извиняет англичан? Что за страсть выбирать в парламент помешанных?

Конфуций. Англичане всегда так поступали. Но какое это имеет значение, коль скоро ваши несменяемые чиновники честны и дельны?

Бердж-Лубин. Вы просто незнакомы с историей нашей страны. Что сказали бы мои предки об этом скопище дегенератов, об этой кунсткамере, поныне именуемой палатой общин? Вы не поверите, Конфуций, — и я не осуждаю вас за это, — но ведь именно Англия спасла когда-то свободу во всем мире, создав парламентский строй, ставший ее гордостью и отличительной особенностью.

Конфуций. Я прекрасно знаком с историей вашей страны. Она доказывает как раз противоположное.

Бердж-Лубин. С чего вы взяли?

Конфуций. Единственным правом, которым когда-либо пользовался ваш парламент, было право отказывать королю в субсидиях.

Бердж-Лубин. Правильно. Великий сын Англии Симон де Монфор{190}…

Конфуций. Он был не англичанин, а француз. Идею парламента он вывез из Франции.

Бердж-Лубин (растерянно). Быть не может!

Конфуций. Король и его верные подданные убили Симона за то, что он навязал им парламент по своему, французскому образцу. Первой заботой британского парламента всегда было вотировать пожизненное содержание королю — и притом с восторженными изъявлениями преданности. Парламент поступал так из боязни, как бы ему не дали реальной власти и не потребовали, чтобы он хоть что-нибудь делал.

Бердж-Лубин. Послушайте, Конфуций, вы, разумеется, знаете историю лучше, чем я. Однако демократия…

Конфуций. Это типично китайский институт. Но даже у нас он, по существу, не оправдал себя.

Бердж-Лубин. Ну, а как же наш habeas corpus act{191}?

Конфуций. Англичане приостанавливали его действие всякий раз, когда он грозил принести хоть какую-то пользу.

Бердж-Лубин. Ну, а суд присяжных? Вы же не станете отрицать, что это наше детище?

Конфуций. Все дела, опасные для правящих классов, рассматривались либо Звездной палатой{192}, либо военным судом, кроме тех случаев, когда обвиняемого вовсе не судили, а просто казнили, предварительно осыпав бранью и опорочив в глазах общества.

Бердж-Лубин. Полно! Вы, может быть, и правы во всех этих частностях, но в целом мы сохранили себя как великую нацию. Согласитесь, это никогда не удалось бы народу, который ничего не умеет.

Конфуций. Я не сказал, что вы ничего не умеете. Вы умели драться. Умели есть. Умели пить. Вплоть до двадцатого века умели плодить детей. Умели играть в разные игры и работать, когда вас принуждали. Но управлять своей страной вы не умели.

Бердж-Лубин. Чему же тогда обязаны мы своей репутацией первых поборников свободы?

Конфуций. Вашему упорному нежеланию подчиняться какому бы то ни было порядку. Лошадь, лягающая каждого, кто пытается ее взнуздать и править ею, тоже может считаться поборницей свободы. Но отнюдь не поборницей порядка. В Китае ее живо пристрелили бы.

Бердж-Лубин. Чепуха! Уж не хотите ли вы сказать, что власть, которую возглавляю я, президент, вовсе не есть правительство?

Конфуций. Совершенно верно. Правительство — это я.

Бердж-Лубин. Вы? Вы, жирная, желтая, самодовольная туша?

Конфуций. Только англичанин способен на такое невежество в вопросе о власти, как мысль о том, что талантливый государственный деятель может не быть жирным, желтым и самодовольным. Мало ли среди вас, англичан, людей тощих, красноносых и скромных? Посадите такого на мое место, и не пройдет года, как вы снова погрузитесь в хаос и анархию девятнадцатого — двадцатого веков.

Бердж-Лубин. Ну, раз уж вы ссылаетесь на темное прошлое, нам больше не о чем спорить. И все-таки мы не погибли. Мы вырвались из этого хаоса, и теперь у нас лучший в мире образ правления. Как же могли добиться этого такие дураки, какими вы нас выставляете?

Конфуций. Вы добились этого лишь тогда, когда взаимоистребление и разруха, порожденные анархией, вынудили вас признать два неоспоримых факта. Во-первых, что правительство — первое условие цивилизации и что для сохранения цивилизации мало поприжать, как вы изволили выражаться, соседей и отсечь голову собственному королю, если тот случайно оказался не чуждым логике шотландцем{193} и принял свой сан всерьез. Во-вторых, что управление страной есть искусство, органически вам недоступное. В соответствии с этим вы ввезли образованных негритянок и китайцев и поручили им править вами. С тех пор вы процветаете.

Бердж-Лубин. Вы, старый мошенник, — тоже. Но я все равно не понимаю, как вы выдерживаете такую работу. Мне положительно кажется, что вам нравится общественная деятельность. Почему вы отказываетесь поехать со мной куда-нибудь на побережье? Я поучил бы вас играть в морской гольф.

Конфуций. Это меня не интересует. Я не варвар.

Бердж-Лубин. А я, по-вашему, варвар?

Конфуций. Вне всякого сомнения.

Бердж-Лубин. Почему?

Конфуций. Потому что вас любят. Люди любят жизнерадостных, добродушных варваров. Вас переизбрали президентом уже на пятый срок. И еще пять раз переизберут. Я тоже вас люблю. Общаться с вами приятней, чем с собакой или лошадью: у вас есть дар речи.

Бердж-Лубин. Выходит, я варвар потому, что вы любите меня?

Конфуций. Безусловно. Меня, например, никто не любит — предо мной трепещут. Талантливых людей никогда не любят. Я неприятен, но необходим.

Бердж-Лубин. Не расстраивайтесь, старина, в вас нет ничего особенно отталкивающего. Я отнюдь не испытываю к вам отвращения. А если вы полагаете, что я вас боюсь, значит, вы плохо знаете Берджа-Лубина, вот и все.

Конфуций. Да, в вас есть смелость. Это разновидность глупости.

Бердж-Лубин. Вы можете позволить себе не быть храбрым — этого и нельзя требовать от китаезы. Зато вы чертовски наглы.

Конфуций. Нет, я просто тверд и уверен в себе, как человек, который видит и знает. Ваше веселое бахвальство и беспечная самонадеянность приятны, как чистый воздух. Но они слепы и необоснованны. Вы вроде большой собаки, которая радостно лает и виляет хвостом. Но стоит ей отстать от меня хотя бы на шаг, и она пропала.

Бердж-Лубин. Благодарю за любезность. У меня есть большая собака, и я не знаю товарища лучше. Будь вам известно, насколько вы безобразней любой дворняги, вы не отважились бы на такие сравнения. (Поднимаясь.) Ну, если у вас нет ко мне дела, на сегодня расстанемся — я собираюсь развлечься. Чем вы порекомендуете мне заняться?

Конфуций. Отдайтесь размышлениям, и вас осенят великие мысли.

Бердж-Лубин. Да ну? Нет, вы ошибаетесь, если думаете, что в такую погоду я буду сидеть тут, поджав ноги и ожидая, пока меня осенят великие мысли. Я не так уж к этому стремлюсь. Предпочитаю морской гольф. (Спохватываясь.) Да, кстати, мне надо переговорить с министром здравоохранения. (Снова садится в кресло.)

Конфуций. Ее номер…

Бердж-Лубин. Я помню.

Конфуций (поднимаясь). Не понимаю, что вас в ней привлекает. Женщина, если она не желтая, для меня просто не существует — разве что как должностное лицо. (Уходит.)

Бердж-Лубин повторяет манипуляцию с коммутатором. Экран темнеет, на нем появляется элегантная спальня, постель, гардероб, туалет и коммутатор на нем. За туалетом сидит красивая негритянка, примеряющая на голову яркий шарф. Пеньюар у нее соскользнул с плеч на табурет. Она в корсете, панталонах и шелковых чулках.

Бердж-Лубин (в панике). Тысячу извинений!..

Негритянка вздрагивает и выдергивает вилку, изображение исчезает.

Голос негритянки. Кто это?

Бердж-Лубин. Это я, президент Бердж-Лубин. Я не знал, что ваша спальня включена. Еще раз извините.

Изображение появляется снова. Негритянка наспех натянула на плечи пеньюар и продолжает без всякого стеснения экспериментировать с шарфом. Чопорность Бердж-Лубина отнюдь не смутила ее, а скорее забавляет.

Негритянка. Ужасно глупо получилось: утром звонила одной даме, а вилку так и не вынула.

Бердж-Лубин. Извините, ради бога.

Негритянка (ослепительно улыбаясь и продолжая примерять шарф). Полно! Я сама виновата.

Бердж-Лубин (сконфуженно). Д-да, конечно… Вы у себя в Африке, наверно, привыкли к таким вещам.

Негритянка. Я тронута вашей деликатностью, господин президент. Она даже позабавила бы меня, если бы не была так огорчительна: как всегда у белых, она совершенно неуместна. Как вы находите мой шарф? Он мне к лицу?

Бердж-Лубин. Может ли быть иначе? Яркое всегда гармонирует с черной атласной кожей. Только нашим болезненно бледным женщинам нужно подбирать цвета, чтобы лицо не казалось блеклым. К вашему идет все.

Негритянка. Вы правы. Жаль, что у ваших белых красавиц всегда все одинаково — пепельно-серые лица, тусклая одежда, даже возраст. Зато какие хорошенькие у, них носики и маленькие губки! Собой они нехороши, любить их не за что, но сколько изящества!

Бердж-Лубин. Не заедете ли ко мне под каким-нибудь официальным предлогом? Прямо смешно, что мы еще ни разу не встречались! Мне так тяжело видеть вас, говорить с вами и постоянно помнить, что нас разделяют двести миль, что я даже не могу прикоснуться к вам.

Негритянка. Я не могу жить на восточном побережье — я и здесь-то вечно зябну. Кроме того, это рискованно, друг мой. А такой флирт на расстоянии просто очарователен: он приучает к сдержанности.

Бердж-Лубин. К черту сдержанность! Я хочу сжимать вас в объятиях, я…

Негритянка выдергивает вилку, изображение исчезает, слышен только ее смех.

Чертовка черномазая! (Яростно выдергивает вилку, смех смолкает.) О, этот зов пола! Почему я не могу подавить его? Какой позор!

Конфуций возвращается.

Конфуций. Забыл сказать: сегодня для вас есть дело. Вам надлежит проследовать в государственный архив и принять там американского варвара.

Бердж-Лубин. Запомните раз навсегда, Конфуций: я не потерплю вашей китайской привычки называть всех белых варварами.

Конфуций (почтительно складывая руки и останавливаясь у дальнего конца стола). Постараюсь запечатлеть в памяти, что вы не потерпите, чтобы американцев называли варварами.

Бердж-Лубин. Ничего подобного. Американцы действительно варвары. А вот мы — нет… Насколько я понял, упомянутый вами варвар — это американец, разработавший метод дыхания под водой.

Конфуций. Да, он говорит, что это ему удалось. По каким-то непостижимым для нас, китайцев, причинам англичане неизменно принимают на веру любые утверждения любого американского изобретателя, особенно такого, который ничего не изобрел. Вот почему вы поверили этому человеку и устроили официальный прием в его честь. Сегодня государственный архив показывает кинохронику о смерти всех выдающихся англичан, утонувших после появления кино. Сходите посмотреть — вам же все равно нечего делать.

Бердж-Лубин. Какой мне интерес смотреть ленту, на которую сняли целую кучу людей по той лишь причине, что они утонули? Будь у них хоть капля здравого смысла, они наверняка не поступили бы так.

Конфуций. Вы не правы. Недавно архив сделал крупное открытие, подметив за талантливыми государственными деятелями и деятельницами прошлого века две особенности, на которые еще никто не обратил внимания. Во-первых, они до весьма преклонного возраста выглядели на редкость моложаво; во-вторых, все они утонули.

Бердж-Лубин. Слышал. Как вы это объясняете?

Конфуций. Это необъяснимо, ибо неразумно. Следовательно, я в это не верю.

Врывается мертвенно-бледный верховный статистик и неверными шагами добирается до середины стола.

Бердж-Лубин. Что случилось? Вы заболели?

Барнабас (задыхаясь). Нет. Я… (Падает в среднее кресло.) Я должен поговорить с вами наедине.

Конфуций невозмутимо удаляется.

Бердж-Лубин. Да что это с вами? Подышите кислородом.

Барнабас. Уже дышал. Ступайте сами в архив и поглядите там, как люди грохаются в обморок и как их приводят в чувство кислородом. Так было и со мной, когда я своими глазами увидел то, что видят они.

Бердж-Лубин. Что же именно?

Барнабас. Архиепископа Йоркского.

Бердж-Лубин. А почему бы им его не видеть? И с какой стати падать от этого в обморок? Разве он убит?

Барнабас. Нет, утонул.

Бердж-Лубин. Боже правый! Как? Где? Когда? Бедняга!

Барнабас. Бедняга? Нет, бедный вор, бедный обманщик, бедный казнокрад! Ну, погодите, я до него доберусь!

Бердж-Лубин. Да вы рехнулись! Как можно добраться до него, если он мертв?

Барнабас. Мертв? Кто вам это сказал?

Бердж-Лубин. Вы сами. Он же утонул.

Барнабас (в бешенстве). Выслушайте меня наконец! Что стало со стариком Хэзлемом, четвертым по счету предшественником нынешнего архиепископа? Утонул он или нет?

Бердж-Лубин. Почем я знаю? Посмотрите «Британскую энциклопедию».

Барнабас. Да?.. А с архиепископом Стикитом, автором книги «Стикит о псалмах»? Утонул он или нет?

Бердж-Лубин. Слава богу, да. И поделом!

Барнабас. А с президентом Дикинсоном? А с генералом Балибоем? Утонули они или нет?

Бердж-Лубин. Кто же это оспаривает?

Барнабас. Так вот, когда сегодня американцу показали на экране всех этих четверых покойников, выяснилось, что они и архиепископ — одно и то же лицо. Вы и теперь скажете, что я помешанный?

Бердж-Лубин. Да, и притом буйный.

Барнабас. Верить мне своим глазам или нет?

Бердж-Лубин. А это уж как вам угодно. Могу сказать одно: если ваши глаза не видят разницы между одним живым архиепископом и двумя мертвыми, я таким глазам не верю.

Звонок на коммутаторе. Бердж-Лубин нажимает кнопку.

Слушаю.

Женский голос. Архиепископ Йоркский просит президента принять его.

Барнабас (хриплым от бешенства голосом). Тащите его сюда! Я потолкую с этим негодяем!

Бердж-Лубин. Только не в теперешнем вашем состоянии.

Барнабас (дотянувшись до кнопки и яростно нажимая ее). Немедленно впустить архиепископа!

Бердж-Лубин. Помните, Барнабас: если вы потеряете самообладание, нас будет двое против одного.

Входит архиепископ. На шее у него, под черным галстуком, белая повязка. Одет он в нечто вроде шотландской юбочки из черных лент, мягкие черные сапоги с застежками до колен. Костюм его выглядит почти так же, как у президента и верховного статистика, только выдержан в черно-белых тонах. Это, несомненно, преподобный Билл Хэзлем, хотя он старше того молодого человека, который когда-то ухаживал за Сэвви Барнабас. На вид ему не больше пятидесяти, но и для этого возраста он сохранился на редкость хорошо. Правда, былые мальчишеские замашки исчезли: теперь он — воплощенная респектабельность. Заметно, что президент его немного побаивается: поэтому вполне естественно и неизбежно, что архиепископ первым начинает разговор.

Архиепископ. Добрый день, господин президент!

Бердж-Лубин. Добрый день, господин архиепископ! Садитесь, пожалуйста.

Архиепископ (усаживаясь между Бердж-Лубином и Барнабасом). Добрый день, господин верховный статистик!

Барнабас (злобно). Добрый день! Не возражаете, если я задам вам один вопрос?

Архиепископ (изумленный его недружелюбным тоном, с любопытством глядит на него). Нисколько. Что вас интересует?

Барнабас. Что такое, по-вашему, вор?

Архиепископ. По-моему, изрядно устаревшее слово.

Барнабас. В моем ведомстве оно еще имеет официальное хождение.

Архиепископ. В наших ведомствах полно пережитков. Посмотрите на мой галстук, передник, башмаки. Явные пережитки, но без них я, вероятно, не был бы подлинным архиепископом.

Барнабас. Еще бы!.. Так вот, слово «вор» по-прежнему имеет хождение в моем ведомстве, потому что в обществе по-прежнему имеет место такое явление, как воровство. Явление весьма мерзкое и позорное.

Архиепископ (холодно). Безусловно.

Барнабас. Для моего ведомства, сэр, вор — это человек, который превышает установленный для него законом срок жизни и получает народные деньги даже тогда, когда любой честный человек на его месте давно был бы покойником.

Архиепископ. В таком случае, сэр, позволю себе заметить, что ваше ведомство плохо знает свои функции. Если вы ошиблись в исчислении продолжительности человеческой жизни, вина за это ложится не на тех, кому вы неправильно исчислили срок жизни. А когда они к тому же продолжают трудиться и производить, их существование окупается даже в том случае, если они проживут несколько столетий.

Барнабас. Меня не интересует, как они трудятся и что производят. Это не дело моего ведомства. Меня касается одно — продолжительность их жизни, и я повторяю, что никто не имеет права жить и получать деньги, коль скоро ему положено умереть.

Архиепископ. Вы не понимаете взаимосвязи дохода и производительности.

Барнабас. Зато я понимаю, в чем состоят обязанности моего ведомства.

Архиепископ. Этого мало. Ваше ведомство лишь часть синтеза всех ведомств.

Бердж-Лубин. Синтез? Это отвлеченное понятие; следовательно, дело Конфуция. На днях я слышал от него это слово и еще тогда спросил себя, что за чертовщину оно означает. (Вставляет вилку.) Алло! Соедините меня с премьер-министром.

Голос Конфуция. Премьер-министр у аппарата.

Бердж-Лубин. Старина, тут нам попалось одно отвлеченное понятие. Никак не можем разобраться. Зайдите и растолкуйте.

Архиепископ. Позволено ли мне спросить, в какой связи встал этот вопрос?

Барнабас. А-а, теперь вы, кажется, почуяли, чем тут пахнет? Вы-то, конечно, считали себя в полной безопасности. Вы…

Бердж-Лубин. Спокойно, Барнабас! Не спешите.

Входит Конфуций.

Архиепископ (вставая). Здравствуйте, господин премьер-министр!

Бердж-Лубин (непроизвольно подражая архиепископу, также встает). Удостойте нас чести присесть, о мудрый!

Конфуций. Церемонии излишни. (Кланяется собравшимся и садится на конце стола.)

Президент и архиепископ занимают свои места.

Бердж-Лубин. Мы хотим просить вас, Конфуций, рассмотреть один казус. Допустите, что человек, не считаясь с официально установленным для него сроком жизни, прожил больше, чем два с половиной столетия. Имеет ли в данном случае верховный статистик право назвать его вором?

Конфуций. Нет. Но он имеет право назвать его обманщиком.

Архиепископ. Не нахожу, господин премьер-министр. Сколько, по-вашему, мне лет?

Конфуций. Пятьдесят.

Бердж-Лубин. Нет, меньше. Вам сорок пять, но на вид вы еще моложе.

Архиепископ. Мне двести восемьдесят три.

Барнабас (с мрачным торжеством). Ну? Я — помешанный?

Бердж-Лубин. Вы оба помешанные. Прошу прощения, архиепископ, но это уж… э-э… слишком.

Архиепископ (Конфуцию). Господин премьер-министр, сделайте одолжение, допустите, что я действительно прожил около трех столетий. Допустите чисто гипотетически.

Бердж-Лубин. Гипотетически? Что это значит?

Конфуций. Неважно. Я понимаю. (Архиепископу.) Что́ я должен допустить — что вы жили в ваших предках или с помощью метампсихоза{194}?

Бердж-Лубин. Ме-там-пси… Боже правый! Ну и голова у вас, Конфуций, ну и голова!

Архиепископ. Ничего подобного. Допустите, что я в самом прямом смысле слова родился в тысяча восемьсот восемьдесят седьмом году и с тысяча девятьсот десятого непрерывно работал в разных профессиях. Вор я или нет?

Конфуций. Не знаю. Воровство также было одной из ваших профессий?

Архиепископ. Нет. Я был всего-навсего архиепископом, президентом и генералом.

Барнабас. Обворовал он казну или нет, получив полдюжины доходов, хотя имел право всего на один? Вот на что вы мне ответьте.

Конфуций. Безусловно, нет. Мы допустили, что с тысяча девятьсот десятого года он непрерывно работает. Сейчас две тысячи семидесятый год. Какова официальная продолжительность жизни?

Барнабас. Семьдесят восемь лет. Разумеется, это средняя цифра, и мы не возражаем, если человек иногда доживает до девяноста или, в качестве курьеза, даже до ста. Но повторяю: тот, кто превышает этот предел, — мошенник.

Конфуций. Двести восемьдесят три, деленные на семьдесят восемь, составляют больше, чем три с половиной. Ваше ведомство должно архиепископу две с половиной стоимости воспитания и три с половиной пенсии по возрасту.

Барнабас. Чепуха! Это еще почему?

Конфуций. С какого возраста люди у вас начинают работать на общество?

Бердж-Лубин. С трех лет. Начиная с трех лет они каждый день уже что-то делают. Просто так, чтобы втянуться. А самоокупаются или почти самоокупаются они с тринадцати.

Конфуций. А когда они выходят на пенсию?

Барнабас. В сорок три года.

Конфуций. Следовательно, они трудятся тридцать лет и за это, не работая, тринадцать лет получают стоимость воспитания в детстве и тридцать пять лет пенсию по старости, что составляет в сумме сорок восемь лет. Архиепископ проработал двести шестьдесят лет, а получил только одну стоимость воспитания и ни одной пенсии. Ему причитается с вас пенсия за триста лет и примерно восемь стоимостей воспитания. Таким образом, вы сильно ему задолжали. Иными словами, его долголетие принесло нации огромную экономию, а вы, живя всего семьдесят восемь лет, существуете за его счет. Он — ваш благодетель, а вы — вор. (Привстав.) Смею ли я теперь удалиться и вернуться к своим серьезным обязанностям, тем более что мой лично срок жизни сравнительно краток?

Бердж-Лубин. Погодите, старина.

Конфуций садится.

Вопрос поставлен не гипнотически или как вы там выражаетесь, а вполне серьезно. Я не верю, что все это правда, но если архиепископ и верховный статистик настаивают на своем, нам придется либо упрятать обоих в сумасшедший дом, либо основательно разобраться в деле.

Барнабас. Со мной вся эта китайщина ни к чему. Я — человек простой, метафизики не понимаю и не верю в нее, но умею обращаться с цифрами. Если архиепископ имеет право на семьдесят восемь лет, а получил деньги за двести восемьдесят три года, я утверждаю, что он получил больше, чем справе получить. Попробуйте доказать, что это не так.

Архиепископ. Я получил деньги не за двести восемьдесят три года, а всего за двадцать три, хотя сам проработал двести шестьдесят лет.

Конфуций. А что показывают ваши счетные книги — недостачу или излишки?

Барнабас. Излишки. Вот это мне и непонятно. До чего же хитры такие люди!

Бердж-Лубин. Итак, все ясно, спорить больше не о чем. Китаец говорит, что вы не правы; значит, и дело с концом.

Барнабас. Я не оспариваю доводы китайца. Но что вы скажете насчет приведенных мною фактов?

Конфуций. Если к числу их относится и утверждение, будто человек может прожить двести восемьдесят три года, я рекомендую вам отправиться на побережье и отдохнуть там неделю-другую.

Барнабас. Хватит вам намекать на мое помешательство. Пойдите и посмотрите кинохронику. Повторяю вам: этот субъект — архиепископ Хэзлем, архиепископ Стикит, президент Дикинсон, генерал Балибой и, сверх того, он сам; короче, пять человек в одном лице.

Архиепископ. Не отрицаю. И никогда не отрицал. Просто меня никто об этом не спрашивал.

Бердж-Лубин. Но черт вас… Извините, архиепископ, но это в самом деле… э-э…

Архиепископ. Не стесняйтесь. Так что вы хотели сказать?

Бердж-Лубин. Но вы действительно утонули четыре раза — вы же не так живучи, как кошка.

Архиепископ. Все очень просто. Представьте себе, в каком положении я оказался, сделав наконец поразительное открытие, что мне предстоит прожить триста лет. Я…

Конфуций (перебивая). Простите. Такое открытие невозможно. Вы и сейчас его не сделали. Коль скоро вы прожили двести лет, вы можете прожить еще хоть миллион. При чем же здесь цифра триста? Вы допустили промах уже в самом начале своей сказки, господин архиепископ.

Бердж-Лубин. Ловко, Конфуций! (Архиепископу.) Он вас поймал. Не представляю, как вы теперь выкрутитесь.

Архиепископ. Да, ход действительно ловкий. Но если верховный статистик зайдет в библиотеку Британского музея и пороется в каталоге, он обнаружит там весьма любопытную, хотя и забытую ныне книгу, опубликованную под его фамилией в тысяча девятьсот двадцать четвертом году и озаглавленную «Евангелие от братьев Барнабас». Это Евангелие гласило, что для спасения цивилизации человек должен жить триста лет. Оно доказывало, что такое долгожительство вполне возможно, и учило, как этого достичь. Кстати, я был женат на дочери одного из этих братьев.

Барнабас. Вы хотите сказать, что притязаете на родство со мной?

Архиепископ. Я ни на что не притязаю. Поскольку сейчас у меня, вероятно, уже три-четыре миллиона родственников разных степеней, я перестал поддерживать семейные связи.

Бердж-Лубин. Боже милостивый! Четыре миллиона родственников? Это реальная цифра, Конфуций?

Конфуций. В Китае она могла бы составить и сорок миллионов, не будь там ограничена рождаемость.

Бердж-Лубин. Сногсшибательно! Это доказывает… (Спохватываясь.) Нет, это исключено. Не будем терять голову.

Конфуций (архиепископу). Вы хотите сказать, что прославленные предки верховного статистика открыли вам секрет, как прожить три столетия?

Архиепископ. Отнюдь нет. Они просто были убеждены, что человек может жить столько, сколько сочтет безусловно необходимым для спасения цивилизации. Я не разделял их убеждений, во всяком случае, не сознавал, что разделяю. Их теории казались мне тогда смешными. Я считал своего тестя и его брата умными чудаками, которые внушили друг другу навязчивую идею, перешедшую затем в манию. И только на восьмом десятке, когда у меня случились серьезные осложнения с пенсионными учреждениями, я стал догадываться, что это — истина.

Конфуций. Истина?

Архиепископ. Да, господин премьер-министр, истина. Как это обычно бывает с революционными истинами, все началось с шутки. После сорока пяти лет я перестал обнаруживать какие-либо признаки постарения, и моя жена частенько подсмеивалась надо мною, уверяя, что я обязательно проживу триста лет. Сама она умерла шестидесяти восьми. Последние слова, которые я от нее услышал, сидя у постели и держа ее за руку, были: «Билл, тебе действительно не дашь и пятидесяти. Я думаю…» Тут она умолкла, задумалась и навсегда заснула. После этого стал задумываться и я. Вот вам объяснение моих трехсот лет, господин премьер-министр.

Конфуций. Очень остроумное объяснение, господин архиепископ. И очень красноречивое.

Бердж-Лубин. Вы, конечно, понимаете, архиепископ, что я лично ни на минуту не позволил себе усомниться в вашей правдивости. Вы ведь понимаете это, не так ли?

Архиепископ. Разумеется, господин президент. Вы только мне не верите, вот и все. Впрочем, я этого и не жду. На вашем месте я тоже не поверил бы. Поэтому посмотрите-ка лучше кинохронику. (Указывая на верховного статистика.) Вот он поверил.

Бердж-Лубин. Но вы же утонули! Как с этим-то быть? Человек может утонуть раз, от силы два, если он крайне неосторожен. Но четыре раза!.. Да у него, как у бешеной собаки, водобоязнь сделается!

Архиепископ. Может быть, господин премьер-министр объяснит вам, в чем тут дело.

Конфуций. Чтобы сохранить свою тайну, архиепископу надо было умереть.

Бердж-Лубин. Но ведь он жив, черт вас побери!

Конфуций. В социальном плане человек не может не делать того, что делают все. Поэтому ему приходится умирать в положенное время.

Барнабас. Разумеется. Это просто вопрос чести.

Конфуций. Отнюдь. Просто необходимость.

Бердж-Лубин. Пусть меня повесят, если я что-нибудь понимаю! Я, например, с удовольствием жил бы вечно, если бы мог.

Архиепископ. Это не так просто, как вам кажется. Вы, господин премьер-министр, сразу оценили всю затруднительность положения. А вам, господин президент, позвольте напомнить, что в тысяча девятьсот шестьдесят девятом году, когда закон о перераспределении доходов дал мне право на приличную пенсию по старости, я уже перевалил за восемьдесят. Я попробовал истребовать свою пенсию, но меня, ввиду моей моложавости, привлекли к ответственности за попытку получить народные деньги обманным путем. Документов у меня не было: мое свидетельство о рождении погибло задолго до этого, во время первой из великих современных войн, при взрыве бомбы, угодившей в сельскую церковь. Меня сочли сорокалетним и снова заставили работать целых пятнадцать лет: пенсионный возраст равнялся тогда пятидесяти пяти.

Бердж-Лубин. Неужели? Как только люди терпели это?

Архиепископ. Но и по истечении этого срока мне все равно не дали пенсии: я по-прежнему выглядел слишком молодо. Неприятности тянулись несколько лет. Меня то и дело таскали в промышленную полицию: там никак не хотели поверить, что я достиг возрастного предела. Меня уже прозвали Вечным жидом. Представляете себе, насколько невыносимо стало мое положение? Я предвидел, что лет через двадцать, когда по документам мне исполнится семьдесят пять, а на самом деле будет сто семнадцать, мне, по внешности, опять дадут не больше сорока пяти. Что оставалось делать? Искусственно поседеть? Взгромоздиться на костыли? Подражать голосу столетнего старика? Нет, решил я, лучше уж покончить с собой.

Барнабас. Вы обязаны были покончить с собой. Как порядочный человек вы не имели права превышать срок жизни, положенный порядочному человеку.

Архиепископ. Я и покончил с собой. Это оказалось совсем несложно. Во время купального сезона я отправился на море, положил в карман документы, удостоверяющие мою личность, и оставил одежду на берегу. Затем перебрался в другой город и сделал вид, что утратил память и не помню ни как меня зовут, ни сколько мне лет, словом, ничего о себе не знаю. Меня лечили, я выздоровел, но память не восстановилась. Так я вступил на путь постоянного чередования жизни и смерти. С тех пор я сделал несколько разных карьер. Трижды был архиепископом. Затем убедил правительство снести все наши города и выстроить их заново от фундаментов до крыш или перенести на другое место. После этого меня зачислили в артиллерию и произвели в генералы. Был я и президентом.

Бердж-Лубин. Дикинсоном?

Архиепископ. Да.

Бердж-Лубин. Но ведь тело Дикинсона было найдено и прах его погребен в соборе святого Павла{195}.

Архиепископ. Тело почти всегда находят: во время купального сезона тонет куча людей. Меня неоднократно кремировали. Сначала я, переодетый, обязательно присутствовал на своих похоронах — когда-то я читал про одного человека, который поступал именно так. Это описано в романе старинного писателя по фамилии Беннет{196}, у которого я, помнится, занял пять фунтов в тысяча девятьсот двенадцатом году. Потом мне это надоело. Сейчас я даже не дам себе труд перейти через улицу, чтобы прочесть собственную эпитафию.

Президент и премьер-министр явственно мрачнеют: их недоверчивость наконец побеждена.

Бердж-Лубин. Да понимаете ли вы, друзья, как это ужасно? Мы спокойно сидим рядом с человеком, на два столетия опоздавшим умереть. В любой момент тут же, при нас, он может рассыпаться в прах.

Барнабас. Этот не рассыпется. Этот будет получать свою пенсию до самого светопреставления.

Архиепископ. Вы преувеличиваете. Срок моей жизни — всего триста лет.

Барнабас. Меня вы, во всяком случае, переживете. Этого уже довольно.

Архиепископ (холодно). Откуда вам это известно?

Барнабас (озадаченный). Откуда мне это известно?

Архиепископ. Да, откуда? Я сам начал догадываться, что со мной, когда мне было уже под семьдесят: раньше я только гордился своей моложавостью. И лишь после девяноста я отнесся к делу с подобающей серьезностью. Даже теперь я иногда сомневаюсь, правда ли все это, хотя уже изложил вам обстоятельства, побуждающие меня полагать, что я неумышленно обрек себя на триста лет жизни.

Бердж-Лубин. Но каким образом вы этого добились? Ели лимоны? Или соевые бобы? Или…

Архиепископ. Ничего я не делал. Все получилось само по себе. И может случиться с кем угодно. С вами тоже.

Бердж-Лубин (уразумев все значение сказанного). Выходит, мы трое, сами того не подозревая, можем оказаться в вашем положении?

Архиепископ. Можете. Поэтому рекомендую хотя бы из осторожности не предпринимать никаких шагов, которые осложнили бы мое положение.

Бердж-Лубин. Черт возьми! Еще сегодня утром один из моих секретарей заметил, что я выгляжу на редкость хорошо и молодо. Барнабас, я абсолютно убежден, что я один… э-э… скажем, одна из жертв этого странного каприза судьбы.

Архиепископ. Ваш прапрапрапрадед пришел к тому же убеждению на седьмом десятке. Я его знавал.

Бердж-Лубин (уныло). Да-а, но ведь он умер.

Архиепископ. Нет.

Бердж-Лубин (воспрянув духом). Вы хотите сказать, что он жив и поныне?

Архиепископ. Нет. Его расстреляли. Уверовав в то, что жизнь его продлится триста лет, он стал совершенно другим человеком. Начал говорить людям правду и так им этим досадил, что они воспользовались кое-какими пунктами парламентского акта, который он сам же провел во время первой мировой войны, а затем умышленно позабыл отменить. Его посадили в лондонский Тауэр и расстреляли.

Звонок на коммутаторе.

Конфуций (отвечает). Да. (Слушает.)

Женский голос. Министр внутренних дел просит приема.

Бердж-Лубин (не расслышав). Что она говорит? Кто просит приема?

Конфуций. Министр внутренних дел.

Барнабас. О, черт побери! Опять эта ужасная женщина!

Бердж-Лубин. В ней действительно есть что-то отталкивающее, хоть я и не пойму, в чем тут дело. Собой она совсем недурна.

Барнабас (взрываясь). Оставьте фривольный тон, бога ради!

Архиепископ. Это выше его сил, господин верховный статистик: трое из его шестнадцати предков по мужской линии были женаты на урожденных Лубин.

Бердж-Лубин. Полно, полно! Я и не думал фривольничать. Эту даму пригласил не я. Может быть, кто-нибудь из вас?

Конфуций. Ее служебный долг — раз в три месяца являться на личный доклад к президенту.

Бердж-Лубин. Ах, вот как! В таком случае полагаю, что мой служебный долг — принять ее. Лучше всего попросим ее сюда. Она вернет нас к реальной жизни. Не знаю, как вы, друзья мои, а я совершенно одурел.

Конфуций (в аппарат). Президент готов немедленно принять министра внутренних дел.

Присутствующие молча смотрят на дверь, откуда должен появиться министр внутренних дел.

Бердж-Лубин (неожиданно, архиепископу). Вы, наверно, много раз были женаты?

Архиепископ. Всего один. Нельзя давать обет быть верным до смерти, когда ее приходится ждать триста лет.

Снова неловкое молчание. Входит министр внутренних дел. Это красивая женщина в цвете лет: сильное тело, стройный стан, безупречная осанка, поступь богини. Выражение лица и манеры обличают в ней серьезность, быстроту, решительность, суровость, непреклонность. Вместо блузы на ней туника, как у Дианы; вместо золотого обруча на лбу — небольшая серебряная корона. В остальном одета она почти так же, как мужчины, которые при ее появлении встают и с невольным уважением склоняют головы. Она подходит к свободному креслу между Барнабасом и Конфуцием.

Бердж-Лубин (с наигранной веселостью и любезностью). Счастлив видеть вас, миссис Лутстринг.

Конфуций. Ваше небесное присутствие — великая честь для нас.

Барнабас. Добрый день, сударыня.

Архиепископ. К сожалению, не имел удовольствия встречаться с вами раньше. Я — архиепископ Йоркский.

Миссис Лутстринг. Мы, несомненно, где-то встречались, господин архиепископ: ваше лицо мне знакомо. Мы… (Неожиданно обрывает фразу.) Ах нет, вспомнила: это были не вы. (Садится.)

Мужчины садятся.

Архиепископ (также в замешательстве). Вы уверены, что не ошиблись, миссис Лутстринг? Когда я гляжу на ваше лицо, у меня возникают странные ассоциации. Передо мной словно открывается дверь, вы стоите на пороге, узнаете меня и приветливо улыбаетесь. Не случалось ли вам когда-нибудь отпирать мне дверь?

Миссис Лутстринг. Я часто отпирала ее человеку, которого вы мне напомнили. Но он давно умер.

Мужчины, за исключением архиепископа, быстро переглядываются.

Конфуций. Осмелюсь спросить — как давно?

Миссис Лутстринг (изумленная его тоном, недовольно смотрит на него и, помолчав, отвечает). Неважно. Очень давно.

Бердж-Лубин. Не спешите с выводами насчет архиепископа, миссис Лутстринг. Он куда старше, чем кажется. Во всяком случае, старше вас.

Миссис Лутстринг (печально улыбаясь). Не думаю, господин президент. Но это деликатная тема, и я предпочла бы не углубляться в нее.

Конфуций. Тут возникает еще один вопрос.

Миссис Лутстринг (безапелляционно). Если это вопрос о моем возрасте, вам лучше воздержаться от него, господин премьер-министр. Все сведения о моей личной жизни, которые могут вас интересовать, вы найдете в книгах верховного статистика.

Конфуций. Вопрос, о котором я думал, адресован не вам. Осмелюсь, однако, заметить, что подобная чувствительность чрезвычайно удивляет меня в женщине, стоящей, по нашему общему мнению, бесконечно выше обычных человеческих слабостей.

Миссис Лутстринг. У меня могут быть причины, которые не имеют ничего общего с обычными человеческими слабостями, господин премьер-министр. Надеюсь, это будет принято во внимание?

Конфуций (кланяясь в знак согласия). Итак, задаю свой вопрос. Имеете ли вы, господин архиепископ, основания полагать, — а, по всей видимости, так оно и есть, — что случившееся с вами не случилось ни с кем другим?

Бердж-Лубин. Верно, черт побери! Я об этом даже не подумал.

Архиепископ. Я никогда не встречал человека с такой же судьбой, как моя.

Конфуций. Откуда вам это известно?

Архиепископ. Мне никто не рассказывал, что находится в столь же необычном положении.

Конфуций. Это ничего не доказывает. Разве сами вы говорили кому-нибудь о своем положении? Нам, во всяком случае, нет. А почему?

Архиепископ. Меня поражает, что я слышу такой вопрос из уст столь проницательного человека, господин премьер-министр. Когда мне стало наконец ясно, что со мной произошло, я был уже достаточно стар, чтобы знать, как жестоки двуногие и как надо опасаться ненависти, с которой они, подобно остальным животным, преследуют своего собрата, имеющего несчастье хоть в чем-нибудь отличаться от них, быть, как они выражаются, ненормальным. В числе сочинений классика двадцатого столетия Уэллса есть роман о породе людей, чей рост вдвое превышал обычный, а также рассказ о человеке, попавшем в руки племени слепорожденных.{197} Гигантам пришлось с боем отстаивать свою жизнь от малорослых, а зрячему слепцы выкололи бы глаза, не сбеги он от них в пустыню, где и погиб самым жалким образом. И в этом, и в других случаях поучения Уэллса не прошли для меня даром. Кстати, однажды я занял у него пять фунтов, которые так и не отдал, что поныне лежит бременем на моей совести.

Конфуций. Разве Уэллса читали вы один? Разве у людей в вашем положении, если таковые существуют, не было тех же оснований хранить тайну?

Архиепископ. Вы правы. Но я бы знал о них. Вы, недолгожители, все очень ребячливы. Встреться мне человек моего возраста, я сразу догадался бы. Но такого я не встречал.

Миссис Лутстринг. А женщину ваших лет вы узнали бы?

Архиепископ. Я… (Обрывает фразу, поворачивается и, пораженный намеком, подозрительно всматривается в собеседницу.)

Миссис Лутстринг. Сколько вам лет, господин архиепископ?

Бердж-Лубин. Он уверяет, что двести восемьдесят три. Не правда ли, милая шутка? Знаете, миссис Лутстринг, он уже почти убедил нас, но тут появились вы, и ваш несокрушимый здравый смысл очистил атмосферу.

Миссис Лутстринг. Вы вполне искренни, господин президент? Я слышу в вашем голосе бодрые утвердительные нотки, но не слышу убежденности.

Бердж-Лубин (вскакивая). Ну вот что, довольно с меня разговоров об этой чертовщине! Извините за невежливость, но они действуют мне на нервы. Даже самая лучшая шутка хороша лишь до известного предела. Мы его перешли. Я… Сегодня я очень занят. У всех нас дел выше головы. Конфуций подтвердит вам, что мне предстоит тяжелый день.

Барнабас. Разве у вас может быть дело важнее, если только все это правда?

Бердж-Лубин. Вот именно — если это правда! А это неправда.

Барнабас. И разве у вас вообще есть дела?

Бердж-Лубин. Есть ли у меня дела? Вы, кажется, забыли, Барнабас, что я все-таки президент и несу на своих плечах все бремя государственных обязанностей.

Барнабас. Есть у него обязанности, Конфуций?

Конфуций. Только одна — быть президентом.

Барнабас. Значит, ему нечего делать.

Бердж-Лубин (мрачно). Отлично, Барнабас! Дурачьтесь и дальше. (Садится.) Ну, продолжайте.

Барнабас. Я не уйду отсюда, пока мы до конца не распутаем это мошенничество.

Миссис Лутстринг (угрожающе поворачиваясь к верховному статистику). Что такое? Что вы сказали?

Конфуций (Барнабасу). Ваше утверждение ничем не подкреплено. Не употребляйте терминов, затемняющих существо вопроса.

Барнабас (довольный тем, что может обратиться к Конфуцию и тем самым избежать взгляда миссис Лутстринг). Ну, скажем иначе: эти противоестественные ужасы. Вы удовлетворены?

Конфуций. Более или менее. Однако слово «ужасы» допускает слишком много толкований.

Архиепископ. Под словом «ужасы» верховный статистик разумеет лишь нечто необычное.

Конфуций. Я замечаю, что уважаемый министр внутренних дел не выказал никаких признаков изумления и недоверия, узнав о преклонном возрасте досточтимого прелата.

Бердж-Лубин. Она просто не приняла это всерьез. Да и кто принял бы? Не правда ли, миссис Лутстринг?

Миссис Лутстринг. Нет, я приняла это всерьез, господин президент. Теперь я вижу, что ошиблась. Мы с архиепископом уже встречались.

Архиепископ. А я и не сомневался. Я не случайно вообразил себе отпираемую дверь и улыбающееся мне женское лицо. Это воспоминание о чем-то, что действительно было, хотя теперь мне кажется, что я видел ангела, распахивающего предо мной райские врата.

Миссис Лутстринг. А может быть, горничную, открывающую дверь дома, где жила любимая вами девушка?

Архиепископ (с разочарованной миной). Вот оно что! Как чудесно меняется действительность в нашем воображении! Смею, однако, заметить, миссис Лутстринг, что превращение горничной в ангела отнюдь не более удивительно, чем превращение ее в весьма достойного и способного министра внутренних дел, с которым я сейчас беседую. Ангела я в вас узнаю, а вот горничную, по правде сказать, нет.

Бердж-Лубин. Что такое «горничная»?

Миссис Лутстринг. Вымерший вид. Женщина в черном платье и белом переднике, которая открывала двери на стук или звонок и была либо вашим тираном, либо вашей рабыней. Я служила горничной в доме одного из отдаленных предков верховного статистика. (Конфуцию.) Вы интересовались моим возрастом, господин премьер-министр. Мне двести семьдесят четыре года.

Бердж-Лубин (галантно). Вам их не дашь. Ни за что не дашь.

Миссис Лутстринг (повернув к нему лицо, серьезным тоном). А вы присмотритесь получше, господин президент.

Бердж-Лубин (смело глядит на нее, затем улыбка его гаснет, и он неожиданно закрывает глаза руками). Да, вам их можно дать. Теперь я убедился: это правда. Конфуций, позвоните в сумасшедший дом и распорядитесь, чтобы за мной прислали санитарную карету.

Миссис Лутстринг (архиепископу). Зачем вы открыли им свою тайну? Нашу тайну!

Архиепископ. Они сами до нее докопались. Меня выдала кинохроника. Но я даже не подозревал, что я не один такой. А вы?

Миссис Лутстринг. Я знавала еще одну. Она была кухаркой. Потом ей надоело жить, и она покончила с собой.

Архиепископ. Боже правый!.. Впрочем, смерть ее упрощает ситуацию. Мне ведь удалось убедить этих господ, что инцидент лучше сохранить в тайне.

Миссис Лутстринг. Что? В тайне? Теперь, когда президент в курсе дела? Да не пройдет и недели, как об этом будет знать весь город.

Бердж-Лубин (обиженно). Это уж чересчур, миссис Лутстринг! Вы говорите так, словно я заведомый болтун. Барнабас, неужели у меня действительно такая репутация?

Барнабас (безнадежно). Что поделаешь. Это у вас конституция такая.

Конфуций. Это в высшей степени неконституционно. Но тут уж, как вы справедливо заметили, ничего не поделаешь.

Бердж-Лубин (торжественно). Заверяю, что ни одна государственная тайна не была разглашена мною кому бы то ни было, кроме, разве что, министра здравоохранения. Но она — олицетворенная сдержанность. Многие думают, что раз она негритянка…

Миссис Лутстринг. Сейчас уже не важно, промолчите вы или все разболтаете. Когда-то это имело бы большое значение. Но дети мои умерли.

Архиепископ. Да, дети, наверно, страшно осложняли вашу жизнь. У меня их, к счастью, не было.

Миссис Лутстринг. Одна из дочерей была моей любимицей. Через несколько лет после того, как я утонула в первый раз, мне стало известно, что она потеряла зрение. Я поехала к ней. Она была уже слепой девяностошестилетней старухой. Она попросила меня посидеть и поговорить с ней: мой голос напомнил ей голос покойной матери.

Бердж-Лубин. Да, все это, без сомнения, ужасно сложно. Честное слово, сам не знаю, хотелось ли бы мне жить дольше, чем остальные!

Миссис Лутстринг. Вы в любой момент можете покончить с собой, как та кухарка. Правда, она болела инфлюэнцей. Долго жить — сложно, страшно и все-таки замечательно. Я не поменялась бы судьбой с обычной женщиной, как не поменяюсь с майской мухой, живущей всего один час.

Архиепископ. Что натолкнуло вас на мысль о долгожительстве?

Миссис Лутстринг. Книга Конрада Барнабаса. Ваша будущая жена уверила меня, что это куда интересней «Наполеонова оракула» и «Альманаха старого Мура»{198}, которыми зачитывались мы с кухаркой. Я была тогда совершенно невежественна и, в отличие от любой образованной женщины, сочла, что долгожительство не такая уж немыслимая вещь. Но вскоре я об этом начисто забыла, вышла замуж за бедняка, работала день и ночь, растила детей и выглядела лет на двадцать старше, чем была. В один прекрасный день, когда муж мой давно уже умер, а дети стали самостоятельны и разъехались по всему свету, я заметила, что выгляжу на двадцать лет моложе, чем мне полагалось бы. И тут меня осенило.

Бердж-Лубин. Упоительная минута! Ваши тогдашние ощущения, вероятно, не поддаются описанию. Что вы прежде всего почувствовали?

Миссис Лутстринг. Глубокий ужас. Я понимала, что моих крошечных сбережений хватит ненадолго, а значит, придется опять идти в люди и работать. Чем была в то время так называемая пенсия по старости? Жалкой подачкой, обрекавшей обессилевшего старого труженика на медленную смерть. К тому же я боялась, что попадусь, если стану получать ее слишком долго. Я думала только об одном — как ужасна предстоящая мне вторая жизнь: снова работать день и ночь, потерять заслуженный таким трудом отдых, лишиться ничтожных сбережений. Вы, живущие теперь, даже не представляете себе, как гнела нас вечная боязнь нищеты, как выматывали нескончаемый сорокалетний труд и тщетные попытки выкроить фунт из шиллинга.

Архиепископ. Удивляюсь, как вы не наложили на себя руки. Я вообще часто удивляюсь, почему в то недоброе старое время бедняки не кончали с собой. И даже не убивали других.

Миссис Лутстринг. С собой не кончаешь потому, что думаешь: и завтра успеется. А на то, чтобы убивать других, не хватает энергии и убежденности в своем праве. Да и как осуждать других, если на их месте стал бы делать то же самое?

Бердж-Лубин. Чертовски слабое утешение!

Миссис Лутстринг. В те времена люди вроде меня утешались другим способом — пили алкогольные напитки, ослаблявшие житейское напряжение и дававшие иллюзию счастья.

(одновременно, с гримасой отвращения) Бердж-Лубин. Алкоголь? / Конфуций. Фу! / Барнабас. Экая мерзость!

Миссис Лутстринг. Вам, господин верховный статистик, капелька алкоголя пошла бы только на пользу: характер и манеры стали бы у вас помягче и общаться с вами было бы приятней.

Бердж-Лубин (со смехом). Верно, черт побери! Попробуйте, Барнабас!

Конфуций. Не надо. Попробуйте лучше чай. Это тоже яд, но более культурный.

Миссис Лутстринг. Вы, господин президент, родились на свет уже пьяным от избытка здоровья и сил. Вы не в состоянии понять, чем был алкоголь для бедной, постоянно недоедавшей женщины. Я экономила каждый грош, чтобы хоть раз в неделю напиться, как тогда выражались. Предвкушение этой маленькой пирушки было моей единственной радостью. Оно-то и уберегло меня от самоубийства: я была не в состоянии отказаться от очередной порции. Но когда я прекратила работу и начала жить на пенсию, усталость от каторжной жизни стала понемногу проходить: я ведь, в сущности, не была старой. Я набиралась сил, все больше молодела и, в конце концов, настолько отдохнула, что обрела решимость и силы начать жизнь сначала. Помогли мне и политические перемены: девяти десятым народа, уделом которых был раньше беспросветный труд, жить стало немного легче. С тех пор я уже не возвращалась к старому и не сворачивала с избранной дороги. Сейчас я жалею об одном — что все-таки умру, когда мне исполнится триста или около того. Даже то единственное обстоятельство, которое омрачало мою жизнь, теперь исчезло.

Конфуций. Смею ли я спросить, какое именно?

Миссис Лутстринг. Боюсь, что обижу вас, если отвечу.

Бердж-Лубин. Обидите? Нас? Неужели вы не видите, милая леди, что после таких сногсшибательных откровений нас уже ничто не проберет — разве что удар молотом по голове.

Миссис Лутстринг. Что ж, извольте. Меня ужасно угнетала невозможность общаться со взрослыми людьми: вы-то ведь все — сущие дети. А детей я никогда особенно не любила, если не считать той моей дочери, которая пробудила во мне материнские чувства. Иногда мне бывало так одиноко!

Бердж-Лубин (обретал прежнюю галантность). Ну, это уж только ваша вина, миссис Лутстринг. Смею заметить, что такой привлекательной особе одиночество просто не может угрожать.

Миссис Лутстринг. Почему?

Бердж-Лубин. Почему? Ну… Ну, как бы это… Ну, словом… (Умолкает.)

Архиепископ. Он хочет сказать, что вы могли бы выйти замуж. Забавно все-таки, до чего они плохо представляют себе наше положение!

Миссис Лутстринг. Я это и сделала. В сто первый день своего рождения я вторично вышла замуж. Выбрать мне, понятно, пришлось человека пожилого — ему шел уже седьмой десяток. Он был большой художник. На смертном одре он сказал мне: «Я убил пятьдесят лет на то, чтобы изучить свое ремесло и намалевать все, что надо намалевать и выкинуть, прежде чем этой ценой подойдешь к тому великому, что тебе надлежит написать. А теперь, когда я ступил на порог храма, оказывается, что это и край могилы». Проживи этот человек столько же, сколько я, он был бы величайшим художником всех времен. А он умер от старости, оставшись, по собственному признанию, лишь дилетантом, как все современные художники.

Бердж-Лубин. Но зачем вы пошли за пожилого? Почему вам было не выбрать человека молодого или, скажем, средних лет? Если бы мое сердце не было уже отдано и если бы вы, признаюсь честно, не внушали мне известный страх — мы же все понимаем, какая выдающаяся вы женщина, — я был бы счастлив…

Миссис Лутстринг. Господин президент, вам случалось злоупотреблять невинностью ребенка для того, чтобы удовлетворить свою чувственность?

Бердж-Лубин. Побойтесь бога, сударыня! За кого вы меня принимаете? И какое вы имеете право задавать мне подобный вопрос?

Миссис Лутстринг. Сейчас мне двести семьдесят пятый год. А вы рекомендуете мне воспользоваться неопытностью тридцатилетнего младенца и женить его на себе.

Архиепископ. Как вы, недолгожители, не понимаете, что неразумие, незрелость и примитивная животность, столь свойственные человеку в первые сто лет жизни, сказываются в вопросах пола еще сильнее, чем в любых других, и что в этом отношении вы для нас совершенно невыносимы?

Бердж-Лубин. Уж не хотите ли вы сказать, миссис Лутстринг, что смотрите на меня, как на ребенка?

Миссис Лутстринг. А вы хотели бы, чтоб я считала вас духовно зрелым человеком? Да, вы недаром боитесь меня. Бывают минуты, когда меня так тошнит от вашего легкомыслия, неблагодарности и пустого оптимизма, что, не напоминай я себе, какой вы, в сущности, ребенок, я непременно усомнилась бы, имеете ли вы вообще право жить.

Конфуций. Как! Вы, которой дано жить триста лет, решились бы отнять у нас даже немногие отпущенные нам годы?

Бердж-Лубин. Вы обвиняете меня в легкомыслии. Меня! Неужели я должен напоминать вам, сударыня, что я — президент, а вы лишь возглавляете одно из министерств.

Барнабас. И в неблагодарности! Сами триста лет получаете пенсию, хотя должны вам ее всего за семьдесят восемь лет, и мы же еще неблагодарные!

Миссис Лутстринг. Да, неблагодарные. Я думаю о благах, которые посыпались на вас, и сравниваю их с нищетой, унижениями, вечным страхом, сердечными муками, игом наглости и деспотизма, которые были повседневным уделом человечества в дни, когда я училась страдать вместо того, чтобы учиться жить; я вижу, что вы принимаете все это как должное, что вы брюзжите, если лепестки на вашем ложе из роз чуть-чуть примяты, что вы привередничаете в работе, перекладываете ее на негритянок и китайцев, если она кажется вам неинтересной или неприятной, и я спрашиваю себя, могут ли даже триста лет раздумий и опыта спасти вас от той силы, которая создала вас, а теперь испытывает?

Бердж-Лубин. Милая леди, наши китайцы и наши черные приятельницы совершенно счастливы. Здесь им в двадцать раз лучше, чем в Китае и Либерии. Они превосходно делают свое дело и тем самым освобождают нас для более возвышенных занятий.

Архиепископ (заражаясь негодованием миссис Лутстринг). Да разве способны вы к возвышенным занятиям, вы, дряхлеющие в семьдесят и умирающие в восемьдесят лет?

Миссис Лутстринг. Да нет у вас никаких возвышенных занятий. Считается, что вы принимаете решения и отдаете приказы, но решения вам внушают, а приказы подсказывают негритянки и китайцы, точно так же, как в былые дни мой брат, сержант гвардии, вертел своими офицерами. Когда мне что-нибудь нужно от министерства здравоохранения, я иду не к вам, а к чернокожей даме, потому что с последнего вашего переизбрания настоящий президент — она, или к Конфуцию, который несменяем, как бы быстро ни менялись президенты.

Бердж-Лубин. Это возмутительно! Это измена белой расе! Смею заметить, сударыня, что я ни разу в жизни не встречался с министром здравоохранения и протестую против ваших попыток преуменьшить ее таланты и выдающиеся заслуги перед государством, попыток, внушенных вам вульгарным предубеждением против цветных. Наши с ней отношения носят чисто телефонный, граммофонный, фотофонический и, позволю себе добавить, платонический характер.

Архиепископ. У вас нет никаких оснований стыдиться их, господин президент. Но давайте разберемся в положении безотносительно к личностям. Можете ли вы отрицать, что английский народ превратился в акционерную компанию, держателями бумаг которой являются также азиаты и африканцы?

Барнабас. Ничего подобного. Мне известно все, что касается прежних акционерных компаний. Держатели бумаг в них не работали.

Архиепископ. Верно. Но мы, как и они, получаем дивиденды независимо от того, работаем или нет. А работаем мы отчасти потому, что знаем: не будешь работать — не будет дивидендов; отчасти же потому, что за отказ от работы нас сочтут умственно неполноценными и принудительно усыпят. Но как мы работаем? До тех незначительных реформ, пойти на которые нас вынудили революции, последовавшие за первой мировой войной, наши правящие классы были так богаты, как тогда выражались, что они превратились в самых интеллектуально ленивых и ожиревших людей на земле. Изрядный слой этого жира покрывает нас и поныне.

Бердж-Лубин. Мне, как президенту, не подобает выслушивать такую непатриотическую критику нашего национального характера, господин архиепископ.

Архиепископ. А меня, как архиепископа, служебный долг обязывает без обиняков критиковать национальный характер, господин президент. Во время канонизации святого Генрика Ибсена вы сами сдернули покрывало с памятника, на цоколе которого высечены благородные слова: «Я пришел призвать не грешников, но праведников к покаянию»{199}. И вот вам доказательство моей правоты: англичане все чаще стремятся к рутинным формам труда, к тому, что я назвал бы чисто орнаментальной и номинальной работой, а мыслят, организуют, рассчитывают и руководят желтые, коричневые, черные головы, подобно тому как в дни моей юности это делали головы евреев, шотландцев, итальянцев и немцев. Среди белых же серьезной работой заняты лишь те, кто, как верховный статистик, не умеют радоваться жизни и лишены каких бы то ни было светских талантов, благодаря которым с ними было бы приятно общаться вне службы.

Барнабас. Идите вы к черту с вашей наглостью! Во всяком случае, у меня довольно талантов, чтобы вывести вас на чистую воду.

Архиепископ (не обращая внимания на эту вспышку). Убейте меня, и вам придется назначить моим преемником индийца. Сегодня преимущественное право на эту должность принадлежит мне не потому, что я англичанин, а потому, что я опытный человек, у которого за плечами полтораста с лишним лет зрелой жизни. Мы постепенно передаем власть в руки цветных. Не пройдет и столетия, как мы станем всего-навсего их балованными домашними животными.

Бердж-Лубин (бурно протестуя). На такую опасность нет даже намека. Не спорю, мы перекладываем на цветных самую хлопотливую часть государственных дел. Тем лучше — зачем нам надрываться? Зато вспомните, как насыщен наш досуг! Где на земле приятнее жить, чем в Англии в неприсутственные дни? Но кому мы этим обязаны? Черномазым? Нет, самим себе. Черномазые и китаезы хороши со вторника до пятницы, но с пятницы до вторника они ровно ничего не значат. А именно с пятницы до вторника Англия и живет по-настоящему.

Архиепископ. Это до ужаса верно. Наш английский народ — форменное чудо света по части умения изобретать идиотские забавы и предаваться им с огромной энергией, увлечением и серьезностью. Так было всегда. И очень хорошо: в противном случае чувственность англичан приобрела бы болезненный характер и погубила бы их. Меня пугает другое — что эти забавы в самом деле забавляют нас. Ведь это же развлечения для мальчиков и девочек. Лет до пятидесяти-шестидесяти они еще извинительны, позже — просто смешны. Повторяю вам: самое скверное в нас то, что мы — народ недорослей. Ирландцы, шотландцы, черномазые и китаезы, как вы выражаетесь, все-таки успевают до смерти немного повзрослеть, хотя живут столько же, сколько мы, а то и меньше. Мы же умираем в отрочестве; зрелость, которая могла бы превратить нас в величайший народ мира, лежит для нас уже за могилой. Одно из двух: или мы научимся жить дольше, или будем умирать седобородыми младенцами с клюшками для гольфа в руках.

Миссис Лутстринг. Именно так. Мне самой не выразить бы это словами, но вы сделали это за меня. Даже будучи темной домашней рабыней, я чувствовала, что в нас заложены задатки великой нации, но наши ошибки и глупости довели меня до цинизма и отчаяния. В те времена мы все этим кончали. Медленнее всего созревают высшие существа, и они же наиболее беспомощны в период незрелости. Теперь я знаю, что мне потребовалось целое столетие, чтобы стать взрослой. Настоящая жизнь началась для меня в сто двадцать лет. Мною азиаты не командуют: в отличие от вас, господин президент, я не ребенок в их руках. Уверена, что архиепископ — тоже. Азиаты уважают меня. А вы недостаточно взрослы даже для этого, хотя любезно уверили меня, что я пугаю вас.

Бердж-Лубин. По правде говоря, так оно и есть. Не сочтите за грубость, но я скажу, что, будь я поставлен перед выбором между белой женщиной, годящейся мне в прабабушки, и негритянкой моих лет, я, вероятнее всего, счел бы последнюю более привлекательной.

Миссис Лутстринг. Даже в смысле цвета кожи?

Бердж-Лубин. Раз уж вы спрашиваете — да. Не то чтобы привлекательней — я не отрицаю, цвет лица у вас великолепный; она, я бы сказал, ярче. В ней больше венецианского, тропического.

Не презирай меня за черноту:

Ливреей темной я обязан солнцу.{200}

Миссис Лутстринг. Наши женщины и любимые их романисты уже поговаривают насчет золотолицых мужчин.

Конфуций (и лицом, и телом расплываясь в улыбке). А-а-а!

Бердж-Лубин. Ну и что тут плохого, сударыня? Вы не читали чрезвычайно интересную книгу библиотекаря биологического общества, который утверждает, что будущее мира — это метисы?

Миссис Лутстринг (поднимаясь). Господин архиепископ, если белой расе суждено выжить, наш долг совершенно ясен.

Архиепископ. Вполне.

Миссис Лутстринг. Не найдете ли время заехать сейчас ко мне и обсудить вопрос?

Архиепископ (поднимаясь). С удовольствием.

Барнабас (тоже вскакивает, обгоняет миссис Лутстринг и останавливается у двери, загораживая проход). Нет, вы не поедете. Бердж, вы понимаете, чем тут пахнет?

Бердж-Лубин. Нет. Что вас тревожит?

Барнабас. Да то, что эта парочка собирается пожениться.

Бердж-Лубин. А почему бы и нет, если им так хочется?

Барнабас. Вовсе им не хочется. Они делают это по холодному расчету — ведь их дети будут жить триста лет. И этого нельзя допустить.

Конфуций. Этому нельзя помешать: закон не дает вам такого права.

Барнабас. Если они меня вынудят, я добьюсь закона о запрещении брака после семидесяти восьми лет.

Архиепископ. Вы не успеете его провести, прежде чем мы поженимся, господин верховный статистик. Потрудитесь пропустить даму.

Барнабас. Не забывайте: прежде чем из вашего брака что-нибудь получится, мы вполне успеем отправить эту даму на принудительное усыпление.

Миссис Лутстринг. Какой вздор, господин верховный статистик! До свиданья, господин президент! До свиданья, господин премьер-министр!

Бердж-Лубин и Конфуций встают и кланяются. Миссис Лутстринг идет прямо на верховного статистика, тот инстинктивно отступает и дает ей выйти.

Архиепископ. Поражаюсь вам, господин верховный статистик! Ваш тон показался мне отголоском былых мрачных времен. (Следует за министром внутренних дел.)

Конфуций, покачав головой и прищелкнув языком в знак сожаления о прискорбном инциденте, подходит к покинутому архиепископом креслу, становится позади него и, сложив ладони, смотрит на президента. Верховный статистик машет кулаком вдогонку ушедшим и разражается неистовой бранью.

Барнабас. Воры! Проклятые воры! Вампиры! Что вы намерены предпринять, Бердж?

Бердж-Лубин. Предпринять?

Барнабас. Да, предпринять. На свете наверняка есть десятки подобных людей. Неужели вы позволите им проделать то, что задумали эти двое? Они же сметут нас с лица земли!

Бердж-Лубин (усаживаясь). Ну-ну, спокойнее, Барнабас! Что дурного в их намерениях? Неужели вас не заинтересовала их судьба? И разве они вам не понравились?

Барнабас. Понравились? Они мне отвратительны. Это чудовища, форменные чудовища! Они для меня хуже всякого яда.

Бердж-Лубин. Какие у вас причины возражать против того, чтоб они жили, сколько могут? Разве их долголетие укорачивает нашу жизнь?

Барнабас. Раз мне суждено умереть в семьдесят восемь лет, я не понимаю, почему другим дается привилегия жить на два столетия дольше. Это, пусть относительно, укорачивает мою жизнь. Это превращает нас в посмешище. Рядом с людьми ростом в двенадцать футов мы все покажемся карликами. Эти двое говорили с нами, как с детьми. Какая между нами может быть любовь? Они сразу же выказали свою ненависть к нам. Вы слышали, что говорила эта женщина и как архиепископ поддерживал ее?

Бердж-Лубин. Но что мы можем с ними сделать?

Барнабас. Убить.

Бердж-Лубин. Вздор!

Барнабас. Упрятать за решетку, стерилизовать любым способом.

Бердж-Лубин. На каком основании?

Барнабас. На каком основании истребляют змей? Так велит природа.

Бердж-Лубин. Вы помешались, милейший Барнабас.

Барнабас. Вам не кажется, что вы сегодня слишком повторяетесь?

Бердж-Лубин. По-моему, вас никто не поддержит.

Барнабас. Понятно. Я ведь вас знаю. Вы надеетесь, что вы и сами из таких.

Конфуций. Вы тоже можете оказаться одним из таких, господин верховный статистик.

Барнабас. Как вы смеете бросать мне подобные обвинения? Я порядочный человек, а не чудовище. Я завоевал себе место в обществе, доказав, что истинная продолжительность человеческой жизни — семьдесят восемь целых и шесть десятых года. И если понадобится, я до последней капли крови буду бороться против любой попытки опровергнуть или пересмотреть эту цифру.

Бердж-Лубин. Ну, тише, тише! Возьмите себя в руки. К лицу ли такие нелепые заявления вам, потомку великого Конрада Барнабаса, человека, поныне памятного потомкам своим мастерским «Жизнеописанием черного таракана»?

Барнабас. А вот вам было бы очень к лицу сочинить автобиографию осла. Я подниму всю страну против этой мерзости и против вас лично, Бердж, если вы проявите здесь хоть малейшую слабость.

Конфуций (подчеркнуто). Вы раскаетесь, если сделаете это.

Барнабас. Раскаюсь? Это еще почему?

Конфуций. Потому что все смертные — и мужчины, и женщины — возымеют надежду прожить триста лет. Произойдет такое, чего вы не предвидите, и это будет нечто страшное. Семья распадется; родители и дети потеряют представление о том, кто старший и кто младший; братья и сестры, после столетней разлуки, будут встречаться друг с другом, как чужие; узы крови утратят в глазах людей всякую святость. Человеческое воображение, спущенное с цепи перспективой трехсотлетней жизни, выродится в безумие и разрушит общество. Сегодняшнее наше открытие надлежит хранить в глубочайшей тайне. (Садится.)

Барнабас. А если я откажусь хранить ее?

Конфуций. Попробуйте проболтаться, и я на другой же день засажу вас в сумасшедший дом.

Барнабас. Не забывайте, что я могу сослаться на архиепископа — он подтвердит мои показания.

Конфуций. Я тоже. Как вы полагаете, кого он поддержит, если я объясню ему, что вы разглашаете его возраст для того, чтобы его убили?

Барнабас (в отчаянии). Бердж, неужели и вы против меня, заодно с этой желтой образиной? Кто мы — государственные деятели и члены правительства или отпетые негодяи?

Конфуций (невозмутимо). А вы слышали хоть об одном государственном деятеле, которого злые языки не обозвали бы отпетым негодяем, как только кто-нибудь неосмотрительно рассказывал о нем больше, чем следовало?

Барнабас. Помолчите, нахальный язычник! Я говорю с вами, Бердж.

Бердж-Лубин. Видите ли, милейший Барнабас, Конфуций — очень неглупый малый. Я понимаю его позицию.

Барнабас. Понимаете? Тогда знайте, что я никогда больше не заговорю с вами кроме как по служебным делам. Слышите, никогда!

Бердж-Лубин (беззаботно). Заговорите, заговорите!

Барнабас. И вы тоже не смейте ко мне обращаться. Слышите? (Идет к двери.)

Бердж-Лубин. А я буду. Да, буду. До свиданья, Барнабас! И да хранит вас бог!

Барнабас. А вы живите вечно и будьте посмешищем для всего мира! (В бешенстве вылетает из кабинета.)

Бердж-Лубин (снисходительно посмеиваясь). Ничего, он сохранит тайну. Я его знаю. Словом, беспокоиться не о чем.

Конфуций (встревоженно и серьезно). Тайна лишь тогда тайна, когда сама хранит себя. Подумайте хорошенько. Государственный архив располагает кинохроникой. Мы не в состоянии воспрепятствовать главному архивариусу опубликовать открытие, сделанное его учреждением. Мы не заставим молчать ни американца, — разве можно вообще заткнуть рот американцу? — ни тех, кто принимал его сегодня. К счастью, кинопленка доказывает лишь одно — внешнее сходство.

Бердж-Лубин. Совершенно справедливо. К тому же все это сущий вздор, верно?

Конфуций (поднимая голову и пристально глядя на него). Теперь, когда вы осознали всю сложность положения, вы решили ничему не верить? Чисто английский метод. Но в данном случае вряд ли применимый.

Бердж-Лубин. Какие, к черту, здесь английские методы? Это просто здравый смысл. Понимаете, эта парочка нас загипнотизировала. Тут не может быть сомнения. Они наверняка водили нас за нос. Скажете — нет?

Конфуций. Однако, всмотревшись женщине в лицо, вы поверили ей.

Бердж-Лубин. Вот именно. Этим-то она меня и взяла. Повернись она ко мне спиной, я ни за что не поверил бы.

Конфуций медленно качает головой.

Вы в самом деле считаете… (Обрывает фразу.)

Конфуций. Архиепископ всегда казался мне загадкой. Как только я научился отличать одного англичанина от другого, я подметил в них ту же особенность, что и эта женщина: лицо у англичанина — не как у взрослого человека, ум — тоже.

Бердж-Лубин. Бросьте, китаеза! Если на свете существует нация, которая самим провидением предназначена опекать незрелые народы, руководить ими, воспитывать и охранять их, пока они не вырастут и не переймут наши институты, то эта нация — мы, англичане. И в этом наше отличие от других наций. Вот так-то.

Конфуций. Это выдумка ребенка, который нянчит куклу. Но еще во сто раз ребячливей с вашей стороны оспаривать самый лестный комплимент, какой вам когда-либо делали.

Бердж-Лубин. Вы обзываете нас взрослыми детьми и считаете это комплиментом?

Конфуций. Вы — дети, но не взрослые, а просто пятидесяти-, шестидесяти- и семидесятилетние. Зрелость у вас наступает так поздно, что вы не успеваете ее достичь. Вами должны управлять расы, созревающие к сорока годам. Это значит, что в потенции вы самая высокоразвитая нация мира и были бы ею в действительности, если бы жили достаточно долго и успевали созреть.

Бердж-Лубин (схватив наконец его мысль). Конфуций, а вы ведь, ей-богу, правы! Мне это в голову не приходило, а это все объясняет. Мы действительно школьники — тут не поспоришь. Заведите с англичанином серьезный разговор — с минуту он будет слушать не без любопытства, как слушают классическую музыку, а затем, словно резина, которую растянули и отпустили, вернется к своему морскому гольфу, автомобилям, самолетам и женщинам. (Увлекаясь.) Да, вы совершенно правы. Мы все еще не вышли из младенчества. Мне, например, место в детской колясочке; и еще мне нужна няня, которая бы ее катала. Это верно, это безусловно верно. Но в один прекрасный день мы вырастем и тогда уж, клянусь всеми святыми, покажем себя.

Конфуций. А вот архиепископ — взрослый. Ребенком я подчинялся людям, которые, как мне теперь известно, были слабей и глупее меня. Я боялся их потому, что в самом их возрастном превосходстве таилось для меня нечто мистическое. Не стану лгать, я и теперь побаиваюсь архиепископа, хотя, конечно, этого не показываю.

Бердж-Лубин. Между нами, Конфуций, я — тоже.

Конфуций. Именно это убедило меня. Именно это убедило и вас, когда вы посмотрели женщине в лицо. Их новая роль в истории человечества — не шарлатанство. Я даже не удивляюсь ей.

Бердж-Лубин. Даже не удивляетесь? Полно! Никогда ничему не удивляться — ваша обычная поза, Конфуций. Но если вас не удивляет и это, вы — не человек.

Конфуций. Это потрясло меня, как взрыв потрясает того, кто заложил заряд и поджег шнур. Потрясло, но не удивило, потому что, занимаясь философией и эволюционной биологией, я пришел к выводу о неизбежности подобного развития. Не подготовь я себя к тому, чтобы уверовать, никакие кинохроники, никакие красивые речи ничего бы мне не доказали. А теперь я верю.

Бердж-Лубин. А дальше что, черт побери? Каков наш следующий шаг?

Конфуций. Следующий шаг делать не нам. Его сделают архиепископ и женщина.

Бердж-Лубин. Вы имеете в виду их брак?

Конфуций. Кое-что поважнее. Они совершили колоссальное открытие, установив, что они не одни такие на свете.

Бердж-Лубин. По-вашему, есть и другие?

Конфуций. Должны быть. Каждый из них считает, что чудо произошло только с ним. Но теперь архиепископ узнал правду. Он поведает ее долгожителям в выражениях, понятных только им. Он объединит их и организует. Они стекутся к нему со всех концов земли. И станут огромной силой.

Бердж-Лубин (слегка встревоженный). Неужели? Впрочем, вполне вероятно. Пожалуй, Барнабас был прав, и нам следует вмешаться.

Конфуций. Мы не властны этому помешать. Да в глубине души и не хотим: Жизненная сила, породившая эту перемену, парализует наше сопротивление, если мы окажемся настолько безумны, что попробуем сопротивляться. Но мы не попробуем: ведь и вы, и я тоже можем оказаться в числе избранных.

Бердж-Лубин. Да, это нас остановит. Но как же быть, черт побери? Сделать-то ведь что-нибудь надо.

Конфуций. Посидим, помолчим и подумаем, какие у нас перспективы.

Бердж-Лубин. Честное слово, вы правы! Давайте подумаем.

Сидят и думают. У китайца это получается естественно, у президента — нарочито и с видимым усилием: он словно впивается глазами в будущее. Внезапно раздается голос негритянки.

Негритянка. Господин президент?

Бердж-Лубин (радостно). Да, да. (Хватает вилку.) Вы из дому?

Негритянка. Нет. Омега, ноль, икс в квадрате.

Президент торопливо сует вилку в коммутатор, поворачивает стрелку шкалы и нажимает кнопку. Экран темнеет, появляется изображение негритянки в роскошном туалете. Она стоит на чем-то, напоминающем мостик паровой яхты; вокруг в лучах солнца сверкает море. Коммутатор, через который она говорит, установлен рядом с нактоузом.

Конфуций (оглядывается и, вздрогнув от отвращения, вскрикивает). Ах! Прочь! Прочь! (Выбегает из кабинета.)

Бердж-Лубин. В каком вы месте побережья?

Негритянка. В бухте Фишгард. Почему бы вам не приехать сюда и не провести со мной вечер? Я решила наконец не быть такой недоступной.

Бердж-Лубин. Но ведь это же Фишгард! Двести семьдесят миль!

Негритянка. К вашим услугам экспресс Ирландской воздушной линии. Отправление в шестнадцать тридцать. В бухту вас парашютируют. Купание пойдет вам только на пользу. А я выловлю вас, обсушу, и мы замечательно проведем время.

Бердж-Лубин. Великолепно. Хотя и чуточку рискованно, правда?

Негритянка. Рискованно? Мне казалось, что вы ничего не боитесь.

Бердж-Лубин. Разумеется, не боюсь, но…

Негритянка (обиженно). Но это вас не слишком привлекает. Ну что ж!.. (Протягивает руку, собираясь выдернуть вилку из коммутатора.)

Бердж-Лубин (умоляюще). Нет, нет, подождите! Я вам все объясню. Не разъединяйтесь. Ну пожалуйста!

Негритянка (выжидательно держа руку на вилке). Я слушаю.

Бердж-Лубин. Понимаете, до последнего времени я вел себя крайне легкомысленно, так как полагал, что при такой короткой жизни, как у меня, не стоит ни о чем беспокоиться. Но сегодня я узнал, что могу прожить… Ну, в общем, дольше, чем рассчитывал. Убежден, что ваш здравый смысл подскажет вам, насколько это меняет положение. Я…

Негритянка (с плохо скрытым бешенством). Я все поняла. Пожалуйста, не рискуйте ради меня своей драгоценной жизнью. Простите, что потревожила. Всего наилучшего! (Выдергивает вилку, экран гаснет.)

Бердж-Лубин (настойчиво). Нет, пожалуйста, не разъединяйтесь. Поверьте, я…

Долгие гудки.

Занято! Кому она теперь звонит? (Нажимает кнопку и командует.) Вызовите премьер-министра. Передайте, чтоб он вернулся и заглянул ко мне.

Голос Конфуция. Женщины нет?

Бердж-Лубин. Нет, нет, все в порядке. Зайдите на минутку, если…

Конфуций возвращается.

Конфуций, у меня важное дело в бухте Фишгард. Ирландская воздушная линия может парашютировать меня прямо на воду. Надеюсь, это абсолютно безопасно?

Конфуций. Абсолютной безопасности не бывает. Воздушная линия столь же безопасна, как любое другое средство сообщения. Парашют тоже. А вот море — нет.

Бердж-Лубин. Но почему? Разве меня не снабдят непотопляемым костюмом?

Конфуций. Вы не утонете. Но вода слишком холодна, и вы можете заработать ревматизм на всю жизнь.

Бердж-Лубин. На всю жизнь? Это меняет дело. Я отказываюсь рисковать.

Конфуций. Вот и прекрасно. Вы наконец приучаетесь к осторожности. Теперь вы уже не спортсмен, как у вас принято выражаться, а благоразумный трус. То есть почти взрослый человек. Поздравляю.

Бердж-Лубин (решительно). Пусть я трус, но даже ради прекраснейшей женщины на земле не обреку себя на вечный ревматизм. (Встает и снимает с крюка свой золотой обруч.) Я передумал. Еду домой. (Надевает обруч, лихо сдвинув его набок.) Всего хорошего!

Конфуций. Так рано? А что сказать министру здравоохранения, если она позвонит?

Бердж-Лубин. Скажите, пусть идет к черту! (Уходит.)

Конфуций (скандализованный грубостью президента, качает головой). Нет, нет и еще раз нет! Ох уж эти англичане! Вот она, примитивная юная цивилизация! Что за манеры! Свиньи! Форменные свиньи!

Часть IV

Трагедия пожилого джентльмена

Действие первое

Берринский причал на южном берегу залива Голуэй в Ирландии. Край увенчанных камнями холмов и усеянных валунами полей. Год 3000-й н. э., погожий летний день. На старинной каменной тумбе в три фута толщиной и столько же высотой, служившей некогда для швартовки судов, сидит, лицом к суше, пожилой джентльмен. Он склонил голову на грудь, закрыл лицо руками и рыдает. У него седые бакенбарды и брови, резко контрастирующие с загорелым лицом. Одет он в черный сюртук, белый жилет, сиреневые брюки, серую фетровую шляпу и лакированные ботинки с белыми пуговками; его блестящий шелковый галстук заколот булавкой с драгоценным камнем. Из рукавов сюртука выглядывают крахмальные манжеты, белый воротничок à la Гладстон тоже накрахмален. На каменных плитах, справа от джентльмена, лежит несколько набитых мешков, которые наводят на мысль, что этот причал, в отличие от других захолустных ирландских пристаней, не только живописен, но подчас и полезен. Слева и позади джентльмена видны верхние ступени каменной лестницы, спускающейся к воде.

По лестнице, со стороны моря, поднимается женщина в одной шелковой тунике, сандалиях и шапочке с золотой цифрой 2. Возраст ее не поддается определению: лицо у нее свежее, черты его юношески четки, но выражение такое строгое и решительное, какого не бывает у молодых. Она с изумлением смотрит на плачущего мужчину.

Женщина. Что с вами?

Пожилой джентльмен поднимает голову, разом берет себя в руки, вытаскивает шелковый платок и, смахнув слезы, мужественно пытается улыбнуться. Затем галантно пробует встать, но вновь опускается на тумбу.

Вам помочь?

Пожилой джентльмен. Нет. Весьма благодарен. Нет. Пустяки. Это все жара виновата. (Речь его перемежается всхлипываниями, он утирает платком глаза и нос.) Сенная лихорадка.

Женщина. Вы, по-видимому, иностранец?

Пожилой джентльмен. Нет. Не считайте меня иностранцем. Я британец.

Женщина. Из какой-нибудь дальней части Британского содружества?

Пожилой джентльмен (учтиво, но не без напыщенности). Из его столицы, сударыня.

Женщина. Из Багдада?

Пожилой джентльмен. Да. Вы, вероятно, не знаете, сударыня, что в эпоху, именуемую теперь Исходом, ваши острова были центром Британского содружества. Тысячелетие тому назад здесь размещался его штаб. Сейчас мало кто осведомлен об этой любопытной подробности, но, уверяю вас, это правда. Я приехал сюда, чтобы совершить паломничество в одну из многих стран моих отцов. Мы с вами — родственники, у нас одна кровь, а кровь — не вода.

Женщина. Не понимаю. Вы сказали «паломничество». Что это такое? Новое средство передвижения?

Пожилой джентльмен (снова впадая в уныние). Я вижу, что меня действительно плохо здесь понимают. Я имел в виду не машину, а… э-э… поездку из эмоциональных побуждений.

Женщина. Боюсь, что опять ничего не поняла. Вы добавили также, что кровь — не вода. Это бесспорно, но к чему это сказано?

Пожилой джентльмен. Разве не ясно?

Женщина. Совершенно ясно. Но уверяю вас, я и так никогда не сомневалась, что кровь — не вода.

Пожилой джентльмен (всхлипнув и опять чуть не плача). Оставим это, сударыня.

Женщина (подходя ближе и участливо всматриваясь в него). Боюсь, что вы нездоровы. Разве вас не предупреждали, что эти края противопоказаны недолгожителям? Здесь они могут заразиться смертельной болезнью, которая называется депрессией и которой им следует всячески остерегаться. Общение с нами требует от них чрезмерного напряжения.

Пожилой джентльмен (овладев собой, угрюмо). Ко мне это не относится, сударыня. Боюсь только, что я для вас неинтересный собеседник. Если это так, лекарство — в ваших руках.

Женщина (недоуменно смотрит на свои руки, потом на него). Где?

Пожилой джентльмен (пав духом). Нет, это ужасно! Ни ума, ни понимания, ни сочувствия… (Задыхается от слез.)

Женщина. Ну, что я говорила? Вы же больны.

Пожилой джентльмен (потеряв терпение). Я не болен. И никогда ничем не болел.

Женщина. Позволите дать вам совет?

Пожилой джентльмен. Благодарю, сударыня, врач мне не нужен: я не слабоумный и не бражник.

Женщина (качая головой). Боюсь, что ничего не понимаю. Я не говорила о бабочках.

Пожилой джентльмен. Так ведь и я о них не говорил!

Женщина. Но вы употребили слово «бражник», а так здесь называют только бабочек.

Пожилой джентльмен (неистово). Сдаюсь! Я этого больше не выдержу! Лучше уж сразу сойти с ума! (Вскакивает и, приплясывая, поет.)

Как бабочка, хочу порхать я от цветка к цветку

И яблочные пышки печь, не тратясь на муку.

Женщина (сдержанно улыбаясь). Я не смеялась по меньшей мере лет полтораста, но, если вы не перестанете, я расхохочусь, как шестидесятилетняя девчонка. К тому же у вас такой смешной костюм!

Пожилой джентльмен (мгновенно перестав паясничать). Смешной костюм? У меня? Допускаю, что я одет не совсем так, как чиновник министерства иностранных дел, но костюм мне сшили по последней моде на моей родине, в столице. А вот ваш наряд, простите за откровенность, показался бы там весьма странным и едва ли приличным.

Женщина. Приличным? В нашем языке нет такого слова. Что оно означает?

Пожилой джентльмен. Мне было бы неприлично объяснять вам это. Рассуждать о приличиях — всегда неприлично.

Женщина. Теперь я совсем вас не понимаю. Мне кажется, вы нарушаете правила, установленные для приезжающих к нам недолгожителей.

Пожилой джентльмен. Вряд ли они, сударыня, распространяются на людей моих лет и положения. Я не мальчик и не сельскохозяйственный рабочий.

Женщина (строго). Они полностью распространяются и на вас. Вам положено общаться лишь с детьми не старше шестидесяти лет. Вам, при любых обстоятельствах, категорически возбраняется входить в контакт со взрослым населением. Вам нельзя долго разговаривать с людьми моих лет, иначе у вас начнется тяжелый приступ депрессии. Разве вы сами не видите, что у вас уже появились серьезные симптомы этого прискорбного и, как правило, смертельного недуга?

Пожилой джентльмен. Конечно не вижу, сударыня. Я, к счастью, не подвержен ему. Я издавна привык подолгу и доверительно разговаривать с самыми почтенными людьми. Если же вы не умеете отличить сенную лихорадку от умственной неполноценности, мне остается лишь заметить вам, что ваш преклонный возраст повлек за собой неизбежное его следствие — впадение в детство.

Женщина. Я, как одна из попечительниц здешнего округа, несу за вас ответственность и…

Пожилой джентльмен. Попечительница? Уж не принимаете ли вы меня за нищего?

Женщина. Я не знаю, что такое нищий. Потрудитесь ответить, кто вы такой, если, конечно, вы способны выражаться ясно…

Пожилой джентльмен возмущенно фыркает.

…и почему вы разгуливаете один, без няни.

Пожилой джентльмен (возмущенно). Без няни?

Женщина. Недолговечным посетителям запрещено передвигаться без присмотра. Разве вам не известно, что правила полагается соблюдать?

Пожилой джентльмен. Это, безусловно, справедливо для низших классов. Но лица моего положения пользуются некоторыми привилегиями, и воспитанные люди никогда нам в них не отказывают. Я…

Женщина. Здесь люди делятся только на два класса — на недолгожителей и нормальных. Правила для недолгожителей установлены в целях их же собственной безопасности. А теперь отвечайте, кто вы такой.

Пожилой джентльмен (с достоинством). Сейчас я на пенсии, сударыня. Раньше возглавлял в Багдаде всебританский трест синтетических яйцепродуктов и растительных сыров, а ныне состою президентом британского историко-археологического общества и вице-президентом клуба путешественников.

Женщина. Все это не имеет никакого значения.

Пожилой джентльмен (снова фыркает). Гм! Неужели?

Женщина. Вас направили сюда для развития умственных способностей?

Пожилой джентльмен. Что за нелепый вопрос! Уж не считаете ли вы меня тупоумным?

Женщина. Вам, видимо, неизвестно, что вы находитесь на западном побережье Ирландии и что жители Восточного острова{201} имеют обыкновение проводить здесь несколько лет, чтобы сделать свой ум более гибким. Здешний климат благоприятствует этому.

Пожилой джентльмен (высокомерно). Я, слава богу, родился не на Восточном острове, а в добром старом британском Багдаде и не нуждаюсь в курортах, где лечат от слабоумия.

Женщина. Тогда зачем вы здесь?

Пожилой джентльмен. Разве я нарушил границы частного владения? Извините, не знал.

Женщина. Границы частного владения? Не понимаю.

Пожилой джентльмен. Эта земля — чья-нибудь собственность? Если так, признаю свою вину, готов уплатить шиллинг в возмещение убытков, если причинил таковые, и уйду отсюда, коль скоро вы будете добры показать мне дорогу. (Протягивает ей шиллинг.)

Женщина (берет монету и равнодушно разглядывает ее). Я не поняла ни слова из того, что вы сказали.

Пожилой джентльмен. Но я говорю на чистейшем английском языке. Вы — владелица поместья?

Женщина (качая головой). В здешних краях еще сохранилось предание о животных, носивших это имя. В варварские времена на них охотились с ружьями. Сейчас эта порода вымерла.

Пожилой джентльмен (снова пав духом). Как ужасно очутиться в стране, где не имеют представления об основных институтах цивилизации! (Опускается на тумбу, борясь с подступающими к горлу рыданиями.) Извините. Сенная лихорадка.

Женщина (вытаскивает из-за пояса камертон, подносит к уху и говорит в пространство, монотонно, как певчий, затянувший псалом). Берринский причал, залив Голуэй; прошу прислать человека для присмотра за недолгожителем в состоянии депрессии; убежал от няни; иностранец мужского пола, истеричный, речь невнятная, бывают минутные просветления; очень смешной костюм, на лице любопытная бахрома из белых водорослей.

Пожилой джентльмен. Это дерзость! Это грубое оскорбление!

Женщина (засовывая камертон за пояс). Ваши слова лишены для меня всякого смысла. В качестве кого вы здесь находитесь? Как получили разрешение на въезд?

Пожилой джентльмен (внушительно). Наш премьер-министр мистер Бэджер Блубин{202} прибыл сюда просить совета у оракула. Он мой зять. Нас сопровождают его супруга и дочь — мои дочь и внучка. Могу добавить, что генерал Ауфштайг, также приехавший с нами, — это на самом деле император Турании, путешествующий инкогнито. Предполагаю, что он намерен задать оракулу вопрос в неофициальном порядке. Я же отправился сюда с единственной целью — посетить эти края.

Женщина. Зачем вы отправились туда, где у вас нет никаких дел?

Пожилой джентльмен. Боже милостивый, да это же совершенно естественно! В клубе путешественников я буду единственным, кто посетил здешнее побережье. Подумайте, в каком исключительном положении я окажусь!

Женщина. Разве это преимущество? У нас тут есть человек, потерявший обе ноги в катастрофе. Он тоже в исключительном положении, но предпочел бы, конечно, быть как все.

Пожилой джентльмен. Нет, так и с ума сойти недолго! Между ним и мной нет никакого сравнения.

Женщина. Но ведь положение в обоих случаях исключительное.

Пожилой джентльмен. Очевидно, разговор в вашей стране сводится к глупой игре словами. Я сыт ею по горло.

Женщина. Я прихожу к выводу, что ваш клуб путешественников состоит из людей, которым нравится утверждать, что они побывали там, где не бывал никто.

Пожилой джентльмен. Разумеется, если вам угодно зубоскалить на наш счет…

Женщина. Что такое зубоскалить?

Пожилой джентльмен (с диким воплем). Утоплюсь!

В отчаянии бросается к краю причала, но его встречает и перехватывает поднимающийся по лестнице мужчина с цифрой 1 на шапке. Одет он так же, как женщина, и пол его выдают только усики.

Мужчина (пожилому джентльмену). А, вот вы где! Если улизнете еще раз, я надену на вас ошейник и буду водить на сворке.

Женщина. Вы няня этого иностранца?

Мужчина. Да. Он просто замучил меня. Чуть отвернешься, убегает и заговаривает с кем попало.

Женщина (вынимает камертон и, качнув его, затягивает, как в прошлый раз). Берринский причал. Вызов отменен. (Прячет камертон и говорит мужчине.) Я просила прислать кого-нибудь для присмотра за ним. Пробовала с ним объясняться, но очень плохо его понимаю. Не оставляйте его ни на минуту: он уже в опасной стадии депрессии. Если понадоблюсь, Фузима и Горт найдут меня. (Уходит.)

Пожилой джентльмен. Если понадоблюсь!.. Нет уж, мне она не понадобится. Это, должно быть, особа легкого поведения: она заговорила со мной, хоть я ей не представлен. И к тому же удрала с моим шиллингом.

Мужчина. Пожалуйста, помедленней: я не улавливаю вашу мысль. Что такое «шиллинг»? Что такое «представлен»? А уж «особа легкого поведения» — вообще бессмыслица.

Пожилой джентльмен. Здесь все выглядит бессмыслицей. Могу сказать одно: впервые в жизни встречаю такую непроходимо глупую женщину.

Мужчина. Этого не может быть. Она не могла показаться вам глупой: она — вторичная, а скоро перейдет в третичные.

Пожилой джентльмен. Что значит «третичная»? Я на каждом шагу слышу тут: первичная, вторичная, третичная, — словно это не люди, а геологические эпохи.

Мужчина. Первичные — это те, кто живут первое столетие. Вторичные — второе. Я еще числюсь в первичных (указывает на свой номер), но почти вправе считаться вторичным: в январе мне будет девяносто пять. Разве вы не заметили цифру два у ней на шапочке? Она из вторичных и притом не первой молодости.

Пожилой джентльмен. Оно и видно: у нее начинается второе детство.

Мужчина. Второе? Да она давным-давно прошла через пятое.

Пожилой джентльмен (вновь опускаясь на тумбу). Ох, не могу больше! До чего здесь все противоестественно!

Мужчина (нетерпеливо и беспомощно). Незачем было приезжать сюда. Вам тут не место.

Пожилой джентльмен (негодование придает ему смелости). Это еще почему? Я вице-президент клуба путешественников. Я объездил весь мир и держу в клубе рекорд по цивилизованным странам.

Мужчина. Что такое цивилизованные страны?

Пожилой джентльмен. Это… Это… Ну, словом, цивилизованные страны. (С отчаянием.) Не знаю. Я… Я с ума сойду, если вы не перестанете спрашивать о том, что известно каждому. Цивилизованной называют страну, где можно путешествовать с удобствами. Где есть хорошие отели. Извините, но вы со своими расспросами надоедливей пятилетнего ребенка, хоть и уверяете, что вам девяносто пять. Тогда уж называйте меня папочкой.

Мужчина. Я не знал, что вас зовут Папочка.

Пожилой джентльмен. Меня зовут Джозеф Попем Болдж Блубин Барлоу, О. М.

Мужчина. Имен у вас хватит на целых пять человек. Папочка — короче. А О. М. здесь не годится: это прозвище некоторых местных дикарей — они потомки аборигенов здешнего побережья, называвших себя О'Маллигенами{203}. Пусть будет Папочка.

Пожилой джентльмен. Но люди подумают, что я ваш отец.

Мужчина (скандализованный). Тсс! У нас не принято намекать на подобное родство. Это неделикатно. Да и какая разница, отец вы мне или нет?

Пожилой джентльмен. Мой достойный девяностолетний друг, ваши умственные способности пришли в полный упадок. Неужели мне нельзя было подобрать провожатого моих лет?

Мужчина. То есть юную особу?

Пожилой джентльмен. Ни в коем случае. Я не собираюсь показываться на людях в обществе юной особы.

Мужчина. Почему?

Пожилой джентльмен. Почему? Как почему? Неужели вы начисто лишены нравственного чувства?

Мужчина. Мне придется отказаться от вас: я совершенно вас не понимаю.

Пожилой джентльмен. Но вы же имели в виду молодую женщину, не так ли?

Мужчина. Я имел в виду человека ваших лет. А мужчина это или женщина — не все ли равно?

Пожилой джентльмен. Я отказываюсь верить в такое возмутительное равнодушие к элементарнейшим приличиям в человеческих отношениях.

Мужчина. Что такое «приличия»?

Пожилой джентльмен (вскакивает). Опять тот же вопрос! Сговорились вы, что ли?

Мужчина (достав камертон и манипулируя им так же, как раньше женщина). Берринский причал, Зозим вызывает Зу из Эннистимона; недолгожитель, больной депрессией, разыскан; он говорил с одной из вторичных, и ему стало хуже; уверяет, что я для него слишком стар; требует человека своих лет или моложе; придите, если можете. (Прячет камертон и поворачивается к пожилому джентльмену.) Зу — девушка лет пятидесяти, поэтому еще очень ребячлива. Может быть, с нею вы почувствуете себя счастливым.

Пожилой джентльмен. Счастливым? С пятидесятилетним синим чулком? Благодарю покорно!

Мужчина. Синий чулок? До чего утомительно все время угадывать смысл ваших слов! К тому же вы слишком со мной разговорчивы, что может усилить вашу депрессию: я для этого достаточно стар. Лучше помолчим, пока не придет Зу. (Поворачивается к пожилому джентльмену спиною, садится на край причала над водой и болтает ногами.)

Пожилой джентльмен. С удовольствием. Я не испытываю желания навязываться в собеседники кому бы то ни было. Кстати, не хотите ли вздремнуть? Если да, не церемоньтесь.

Мужчина. Что значит «вздремнуть»?

Пожилой джентльмен (подходит к нему и с крайним раздражением чеканит). Вздремнуть, друг мой, значит на короткое время предаться сну, который смаривает пожилых людей, когда они пытаются занять нежелательного гостя или слушают лекцию на научную тему. Спите, спите. (Орет ему в ухо.) Спите!

Мужчина. Я уже сказал, что я почти вторичный. Я никогда не сплю.

Пожилой джентльмен (столбенея от ужаса). Боже правый!

Со стороны суши появляется молодая женщина с цифрой 1 на шапочке. На вид она не старше, а пожалуй, и моложе, чем за тысячу лет до этого была Сэвви Барнабас, которую новоприбывшая отдаленно напоминает.

Молодая женщина. Это больной?

Мужчина (вскакивая). Это Зу. (К Зу.) Зовите его Папочкой.

Пожилой джентльмен (взрываясь). Нет!

Мужчина (оставив протест без внимания). Спасибо, что выручили. Я больше не выдержу — так он мне надоел. (Спускается по лестнице и исчезает.)

Пожилой джентльмен (снимает шляпу и, стоя на краю причала, лицом к Атлантическому океану, иронически отвешивает низкий поклон). До свиданья, сэр! Чрезвычайно обязан вам за исключительную вежливость, изысканную деликатность и светское обхождение. Благодарю от всего сердца. (Нахлобучивая шляпу на голову.) Свинья! Осел!

Зу весело смеется.

(Круто оборачивается к ней.) Добрый день, сударыня! Весьма сожалею, что мне пришлось поставить вашего знакомого на место, но, по-моему, здесь, как и всюду, человек должен уметь добиваться, чтобы к нему относились с подобающим уважением. Я надеялся, что в качестве гостя буду огражден от оскорблений.

Зу. Поставить моего знакомого на место? Это, видимо, какое-то поэтическое выражение. Что оно означает?

Пожилой джентльмен. Скажите, у вас на островах кто-нибудь понимает обыкновенный английский язык?

Зу. Честно говоря, одни оракулы. Им приходится специально изучать то, что у нас называют мертвой мыслью.

Пожилой джентльмен. Мертвой мыслью? О мертвых языках я слыхал, о мертвой мысли — никогда.

Зу. Видите ли, мысль умирает быстрей, чем язык. Ваш язык мне понятен, мысли — не всегда. Оракулы же отлично поймут вас. Вы уже обращались к ним?

Пожилой джентльмен. Я здесь, сударыня, не для того, чтобы просить совета у оракула. Я приехал просто как человек, путешествующий для собственного удовольствия. Со мной моя дочь, ее супруг, британский премьер-министр, и генерал Ауфштайг, который, сообщу вам по секрету, на самом деле является императором Турании и величайшим военным гением эпохи.

Зу. А зачем вы путешествуете для собственного удовольствия? Разве вам нечем развлечься дома?

Пожилой джентльмен. Я хочу увидеть мир.

Зу. Мир слишком велик. А частицу его можно увидеть где угодно.

Пожилой джентльмен (теряя терпение). Черт побери, сударыня, неужели вам хочется всю жизнь глазеть на одну и ту же его частицу? (Спохватываясь.) Прошу прощения. Я, кажется, выругался при вас.

Зу. А, вот что такое ругаться! Я читала об этом. Очень звучно. Чертебрисдарыня, чертебрисдарыня! Повторяйте это сколько хотите — мне нравится.

Пожилой джентльмен (облегченно вздыхая). Благослови вас бог за эти кощунственные, но знакомые слова! Благодарю, еще раз благодарю! В первый раз с самого приезда в эту кошмарную страну я чувствую себя как дома. Напряжение, сводившее меня с ума, наконец разрядилось: мне кажется, что я у себя в клубе. Извините, что занимаю единственное наличное сиденье: годы не те. (Садится на тумбу.) Обещайте, что не отдадите меня никому из этих ужасных третичных, вторичных или как там они у вас называются.

Зу. Не бойтесь. И зачем только вас поручили Зозиму? Понимаете, он вот-вот станет вторичным, а юнцы в этом возрасте вечно задаются, словно они уже третичные. Вам, естественно, гораздо легче в обществе девчушки, вроде меня. (Удобно устраивается на мешках.)

Пожилой джентльмен. Девчушка? Что это такое?

Зу. Это древнее слово, которым мы до сих пор обозначаем существо женского пола, которое уже не ребенок, но еще и не взрослая девушка.

Пожилой джентльмен. По-моему, общение с особами этого возраста — истинное удовольствие. Я с каждой минутой все больше прихожу в себя. У меня такое ощущение, словно я распускаюсь, как цветок. Разрешите узнать, как вас зовут?

Зу. Зу.

Пожилой джентльмен. Мисс Зу…

Зу. Не Миссзу, а Зу.

Пожилой джентльмен. Понятно. Зу… э-э… как дальше?

Зу. Опять не так. Не Зукакдальше, а Зу. Просто Зу.

Пожилой джентльмен (озадаченный). Может быть, миссис Зу?

Зу. Нет, Зу. Неужели не понятно? Зу.

Пожилой джентльмен. Разумеется, разумеется. Поверьте, я отнюдь не предполагал, что вы замужем: вы слишком молоды, это сразу видно. Но здесь все так запутанно, и…

Зу (окончательно сбитая с толку). Что?

Пожилой джентльмен. Видите ли, замужество многое меняет. С замужней женщиной можно говорить о вещах, рассуждать о которых с неопытной девушкой несколько предосудительно.

Зу. Смысл ваших слов ускользает от меня. Я ничего не понимаю. «Замужняя» и «предосудительно» — это для меня пустые звуки. Впрочем, постойте. «Замужняя» — это, наверно, старинная форма слова «рожавшая»?

Пожилой джентльмен. Весьма возможно, но лучше переменим тему. Мне не следовало касаться ее. Извините, что привел вас в смущение.

Зу. Что значит «смущение»?

Пожилой джентльмен. Ну, ладно! Мне кажется, что, пока существует род людской, столь естественное чувство будет понятно любому. Привести в смущение — это все равно что вогнать в краску.

Зу. А что такое вогнать в краску?

Пожилой джентльмен (ошеломленно). Разве вам не приходилось краснеть?

Зу. Я даже не слышала ни о чем подобном. Правда, мы пользуемся словом «краснеть», но лишь там, где речь идет о приливе крови к коже. Я наблюдала это у своих малышей, но к двум годам оно прекращается.

Пожилой джентльмен. У ваших малышей? Боюсь, что затронул чересчур деликатный вопрос, но вы казались такой юной… И сколько же, смею спросить, у вас детей?

Зу. Пока что всего четверо. У нас это долгое дело. Малыши — моя специальность. Первый получился у меня настолько удачным, что мне велели продолжать. Я…

Пожилой джентльмен (чуть не свалившись с тумбы). О, боже!

Зу. В чем дело? Вам нехорошо?

Пожилой джентльмен. Ради всего святого, сударыня, сколько вам лет?

Зу. Пятьдесят шесть.

Пожилой джентльмен. У меня что-то подгибаются ноги. Я, наверно, в самом деле болен. Годы не те!

Зу. Я тоже заметила, что вы нетвердо стоите на ногах. Вы еще во многом беспомощный ребенок. Вероятно, поэтому мне и хочется вас понянчить. Вы же такой глупенький маленький Папочка!

Пожилой джентльмен (подстегнутый негодованием). Повторяю, меня зовут Джозеф Попем Болдж Блубин Барлоу, О. М.

Зу. Как смешно! Немыслимо длинное имя! Так я вас звать не могу. Как звала вас ваша мать?

Пожилой джентльмен. Вы воскрешаете во мне самые тяжелые переживания детства. Я был очень восприимчив к этому. Дети вообще нередко страдают из-за нелепых кличек. Моя матушка необдуманно прозвала меня Толстячком. Так меня именовали, пока я не пошел в школу и не встал на защиту своих детских прав, потребовав, чтобы меня, на худой конец, называли хотя бы Джо. С пятнадцати лет я не откликался, если меня называли короче, чем Джозеф. В восемнадцать я узнал, что имя Джозеф ассоциируется с неподобающей мужчине стыдливостью, так как напоминает о старинном предании про некоего Иосифа, отвергшего домогательства супруги своего работодателя{204} — на мой взгляд, весьма похвальный поступок. С тех пор для родных и близких знакомых я Попем, для всех остальных — мистер Барлоу. Когда моей бедной матушке стал изменять рассудок, она вновь вернулась к прозвищу Толстячок, но я уже не сердился на нее. Возраст!

Зу. Неужели ваша мать нянчилась с вами и после того, как вам исполнилось десять?

Пожилой джентльмен. Разумеется, сударыня. Она же была моя мать. Чем ей еще заниматься?

Зу. Как чем? Очередным ребенком. Лет с восьми-девяти дети совершенно не интересны никому, кроме самих себя. Повстречайся мне двое моих старших, я их просто не узнаю.

Пожилой джентльмен (вновь поникая). Умираю! Дайте мне умереть! Я хочу умереть!

Зу (подбегая и поддерживая его). Не падайте. Сидите прямо. Что с вами?

Пожилой джентльмен (слабо). По-моему, позвоночник. Шок. Сотрясение мозга.

Зу (материнским тоном). Ну-ну, маленький! С чего бы это? (Тормошит его.) Полно, полно! Сядьте прямо и будьте паинькой.

Пожилой джентльмен (все еще чуть слышно). Благодарю. Мне лучше.

Зу (опять устраиваясь на мешках). А для чего вам остальные имена? У вас ведь их целая куча. Блопс Буби{205} и как там еще?

Пожилой джентльмен (внушительно). Болдж Блубин, сударыня. Это историческое имя. Позволю себе уведомить вас, что я могу проследить свою родословную на протяжении более чем тысячелетнего существования Восточной империи вплоть до ее зарождения еще на этих островах, когда два моих предка, Джойс Болдж и Хенгист Хорза Блубин{206}, оспаривали друг у друга пост премьер-министра Британской империи и поочередно отправляли эту должность с такой славой, о которой мы, в наш жалкий век, имеем лишь смутное представление. При мысли об этих исполинах, львах на войне и мудрецах в дни мира, столь непохожих на болтливых шарлатанов и пигмеев, которые сидят ныне на их местах в Багдаде, об этих сильных, молчаливых людях, правивших империей, где никогда не заходило солнце, слезы увлажняют мои глаза, сердце неистово бьется и я чувствую, что быть их современником и в расцвете лет умереть за них — удел несравненно более высокий и счастливый, чем постыдное благополучие моей старости.

Зу. Старость? Вы стары? (Смеется.)

Пожилой джентльмен. Да, сударыня, относительно стар. Но, как бы то ни было, я рад и горд, что происхожу от двух таких героев.

Зу. Вы происходите от всех британцев, живших в те времена. Разве вам это не известно?

Пожилой джентльмен. Шутки здесь неуместны, сударыня. Я ношу их имена — Болдж, Блубин — и надеюсь, что унаследовал частицу их могучего духа. Так вот, они родились на здешних островах. Повторяю, здешние острова, как это ни кажется теперь невероятным, были некогда центром Британской империи. Когда он переместился в Багдад и англичане вернулись в Месопотамию, исконную колыбель человечества, западные острова были заброшены, как раньше, во времена Римской империи. Но именно на этих островах, населенных британцами, и свершилось величайшее в истории чудо.

Зу. Чудо?

Пожилой джентльмен. Да. Первый человек, проживший триста лет, был англичанин. Первый со времен Мафусаила.

Зу. Ах, вот вы о чем!

Пожилой джентльмен. Да, именно об этом, хоть вы и толкуете о подобном событии столь легкомысленно. Известно ли вам, сударыня, что еще до этого момента непреходящей исторической важности англичане настолько утратили свой интеллектуальный престиж, что называли друг друга не иначе как болванами. А теперь Англия — священная сень, куда со всей земли стекаются государственные мужи, чтобы испросить совета у английских мудрецов, обогащенных двух с половиной вековым жизненным опытом. Страна, вывозившая когда-то ситцевые рубашки и скобяной товар, ныне экспортирует мудрость. Сударыня, перед вами человек, который по горло сыт уик-эндами в евфратских отелях, клоунами и менестрелями на песках Персидского залива, тобогганом и фуникулерами Гиндукуша. Удивительно ли, что, истосковавшись по тайнам и красотам этих сказочных островов, населенных призраками легендарного прошлого и освященных стопами мудрецов Запада, я и направился сюда? Подумайте об острове, где мы сейчас находимся, об этом последнем приюте человека на востоке Атлантики, об этой Ирландии, которую древние барды называли изумрудом в серебряной оправе моря! Могу ли я, отпрыск прославленной британской нации, забыть, что, когда империя переместилась на Восток и объявила издавна угнетаемым ею, но вечно непокорным мятежникам-ирландцам: «Мы наконец предоставляем вас себе, и да пойдет вам это на благо», ирландцы, как один, ответили историческим кличем: «Черта с два!» — и переселились в Индию, Персию, Корею, Марокко, Тунис и Триполи, в страны, где все еще остро стоял национальный вопрос. В этих странах они неизменно становились отважнейшими борцами за национальную независимость, и весь мир был оглашен рассказами об их жертвах и муках. Но какой поэт сумел бы достойно воспеть конец, увенчавший их борьбу? Не прошло и двухсот лет, как права наций получили столь широкое и полное признание, что на земле не осталось страны, где имели бы место национальная рознь и национальное движение. Подумайте, в какое положение попали ирландцы, нация, которая, не находя в прошлом применения своим политическим способностям, сохранила только одну из них — талант националистической агитации и которая привлекала к себе самые горячие симпатии всего мира лишь благодаря своим страданиям! Те самые народы, которым они помогли освободиться, бойкотировали их теперь, как невыносимо надоедливых смутьянов. Там, где прежде их боготворили как олицетворение живого ума и пылкого сердца, теперь бежали от них, как от чумы. Чтобы вернуть себе былой престиж, ирландцы потребовали передачи им Иерусалима, ссылаясь на то, что они — одно из рассеянных колен израильских. Но при их появлении евреи покинули город и вновь расселились по всей Европе. И вот тогда эти фанатичные ирландцы, ни один из которых в глаза не видел своей родины, получили от некоего английского архиепископа, родоначальника оракулов, совет возвратиться в страну отцов. Такое им и в голову не приходило: этому ведь никто не препятствовал и этого никто не запрещал. Они ухватились за предложение и высадились здесь, на берегах залива Голуэй. Выйдя на сушу, те, кто были постарше, пали ниц и, страстно целуя землю предков, призвали молодежь последовать их примеру. Но молодежь осмотрелась и мрачно ответила: «Тут не земля, а одни камни». Оглянитесь вокруг, сударыня, и вы поймете, почему они так сказали: поля здесь усеяны валунами, холмы увенчаны гранитом. На другой же день все прибывшие отплыли в Англию. С тех пор ни один ирландец никому, даже собственным детям, не признавался в том, что он ирландец, и, когда это поколение вымерло, мир начисто забыл об ирландской нации. Точно такая же история произошла с рассеявшимися по всему свету евреями, которые боялись, как бы их не отправили назад в Палестину, и на земле, лишившейся ирландцев и евреев, стало спокойно, но скучно. Разве эта повесть не волнует вас? Неужели вам и теперь не понятно, зачем я посетил арену, с которой так трагически сошли герои и поэты?

Зу. Мы до сих пор рассказываем малышам подобные сказки в целях общего развития. Но в жизни так не бывает. Сцена с высадкой ирландцев и целованием земли была бы правдоподобна, будь их человек сто. Но вы не хуже меня знаете, что это немыслимо, коль скоро речь идет о сотнях тысяч человек. И что за нелепость называть людей ирландцами лишь по той причине, что они живут в Ирландии! С равным успехом их можно было бы именовать, например, аэроландцами, поскольку все они дышат воздухом. Эти люди ничем не отличались от остальных. Зачем же вы, недолгожители, упорно выдумываете всякие глупости о мире и жизни и пытаетесь поступать так, словно ваши выдумки правда? Столкновение с правдой ранит и пугает вас, и вы прячетесь от нее в воображаемый вакуум, чтобы подлинная реальность не мешала вам предаваться на свободе вашим желаниям, надеждам, пристрастиям и предубеждениям. Вы любите пускать пыль в глаза самим себе.

Пожилой джентльмен. Вот теперь, сударыня, я в свой черед должен заявить, что не понял ни единого вашего слова. Я полагал, что применение вакуум-аппарата для удаления пыли есть признак скорее цивилизации, нежели дикости.

Зу (безнадежно). Ах, Папочка, Папочка, вы и на человека-то не похожи — до того глупы. В старину про таких, как вы, очень метко говорили: «Прах еси, и во прах отыдеши»{207}.

Пожилой джентльмен (с достоинством). Да, сударыня, плоть моя — прах, но дух — нет. Не все ли равно, из чего сотворена моя плоть — из персти, частиц воздуха или даже речного ила? Важно другое — то, что, взяв этот — все равно какой — материал, творец вдохнул в него жизнь и человек обрел душу живу. Да, сударыня, душу живу. Я — живая душа. Это великая, облагораживающая мысль! Кроме того, это крупнейший научный факт. Меня не интересуют химикаты и микробы. Пусть ими занимаются болваны и олухи, тупицы и выгребатели грязи, недостойные славного назначения человека и неспособные постичь свою божественную природу. Они сообщают мне, что в крови у меня содержатся лейкоциты, а в тканях — натрий и углерод. Я благодарю их за информацию и отвечаю, что у меня на кухне есть тараканы, в прачечной — сода, в погребе — уголь. Я не отрицаю, что эти вещи существуют, но держу их в подобающем месте, а не в храме святого духа, да простится мне это архаическое выражение. Вы, без сомнения, думаете, что я отстал от века, а я горжусь своей просвещенностью и отвергаю ваше невежество, слепоту и недомыслие. Сердцем я жалею вас, разумом — презираю.

Зу. Браво, Папочка! Крепко же это в вас сидит! Вижу, что от депрессии вы не умрете.

Пожилой джентльмен. Не имею ни малейшего желания, сударыня. Я немолод, у меня бывают минуты слабости. Но стоит мне заговорить об этих предметах, как искра божья вновь вспыхивает во мне, тленное становится нетленным и смертный Болдж Блубин Барлоу возвышается до бессмертия. Здесь я равен вам, пусть даже вы переживете меня на десять тысяч лет.

Зу. Допустим. Но что нам известно об этом дыхании жизни, которое так возвеличивает вас? Ровно ничего. Пожмем же друг другу руки, как подобает цивилизованным агностикам, и переменим тему.

Пожилой джентльмен. Цивилизованным агностикам? Вздор, сударыня! Эту тему нельзя переменить, пока не прейдут небо и земля. Я не агностик, а джентльмен. Когда я во что-нибудь верю, я говорю, что верю; когда не верю, говорю, что не верю. Я не уклоняюсь от ответственности под тем предлогом, что ничего не знаю и, следовательно, не могу ни во что верить. Ни отрекаться от знания, ни уклоняться от ответственности нельзя. Наш долг — идти вперед, отправляясь от известных посылок. Без этого нет человеческого общества.

Зу. Посылки должны быть научными, Папочка. В конечном счете, наш долг — жить для науки.

Пожилой джентльмен. Я преисполнен глубочайшего уважения к блистательным открытиям, которые подарила нам наука. Но открытия, сударыня, способен делать даже дурак. Любой ребенок в первые годы жизни делает больше открытий, чем сделал Роджер Бэкон{208} в своей лаборатории. Я, например, еще в семь лет открыл, что у осы есть жало. Но я не требую, чтобы вы за это преклонялись передо мной. Поверьте, сударыня, самое последнее ничтожество способно открыть самые поразительные явления природы — нужно лишь быть достаточно цивилизованным, чтобы найти время для занятий и суметь изобрести соответствующие инструменты и приборы. А что получается в итоге? Открытия лишь подрывают веру в простые религиозные предания. Сперва мы не имели представления о космическом пространстве. Мы верили, что небо — это всего-навсего потолок комнаты размером с землю, комнаты, над которой расположена другая. Смерть была для нас лишь переходом из нижней комнаты в верхнюю или, если мы не повиновались священникам, падением в угольный погреб. На этой нехитрой основе строилось все — религия, нравственность, право, образование, поэзия, молитва. Но едва люди стали астрономами и создали телескоп, их вера рассеялась. Стоило им перестать верить в небо, как они разуверились и в боге, потому что, по их представлению, он живет на небе. Когда сами священники утратили веру в бога и уверовали в астрономию, они, переменив имя и одежду, стали называть себя мужами науки и докторами. Они основали новую религию, в которой место бога заняли чудеса и таинства, творимые с помощью научных инструментов и приборов. Раньше люди поклонялись величию и мудрости господней, теперь они глупо вперились в пространство, измеряемое миллионами миллиардов миль, и обожествили всеведущего непогрешимого астронома. Они воздвигли храмы для его телескопов. Затем, посредством микроскопа, они заглянули в свое собственное тело и обнаружили там не душу, в которую верили прежде, а миллионы микроорганизмов. Они вперились в них так же, как в миллионы миль пространства, и воздвигли для микроскопов храмы, где приносились кровавые жертвы. Люди жертвовали даже собой, отдавая свое тело в руки жрецов микроскопа, которых, как и астрономов, они боготворили за всеведение и непогрешимость. Таким образом, наши открытия не только не сделали нас мудрей, но лишили и той крупицы ребяческой мудрости, которая была нам дана. Я согласен с вами только в одном: они расширили наши познания.

Зу. Чепуха! Знакомство с фактом не есть еще знание факта. В противном случае рыба знала бы о море больше, чем географы и биологи.

Пожилой джентльмен. Очень метко замечено, сударыня. Самая глупая рыба отнюдь не хуже многих моих знакомых географов и биологов знает, как величав океан.

Зу. Вот именно. Даже самый непроходимый дурак, глядя на компас, может сообразить, что стрелка всегда обращена к полюсу. Но неужели, осознав этот факт, он становится умней?

Пожилой джентльмен. Нет, сударыня, не умней, разве что самодовольней. Но я все-таки не понимаю, как можно быть знакомым с фактом и не знать его.

Зу. Разве не бывает так, что вы видите человека и не знаете его?

Пожилой джентльмен (его наконец осенило). Ах, как это верно! Разумеется, бывает. Один из членов нашего клуба путешественников усомнился в правдивости того, что я рассказывал о своем пребывании на Южном полюсе. У себя в Багдаде я вижу этого человека чуть ли не каждый день, но знать его не хочу.

Зу. А что бы вы знали о нем, если б имели возможность взглянуть на него пристальней, через лупу, или рассмотреть каплю его крови под микроскопом, или вырезать его органы и произвести их химический анализ?

Пожилой джентльмен. Безусловно, ничего. Исследование такого рода лишь усугубило бы отвращение, внушаемое мне этим человеком, и укрепило бы меня в решении ни при каких обстоятельствах не знаться с ним.

Зу. Но ведь таким образом вы познакомились бы с ним гораздо ближе.

Пожилой джентльмен. Я никогда не опущусь до близкого знакомства с подобным субъектом. Я дважды посетил летние спортивные состязания на Южном полюсе, а этот человек смеет утверждать, что он побывал на Северном, хотя это вообще вряд ли возможно, поскольку Северный полюс находится посреди моря. Он хвастается, будто повесил на него свою шляпу.

Зу (со смехом). Он просто знает, что путешественники занимательны лишь тогда, когда врут. Но, может быть, посмотрев на этого человека через микроскоп, вы усмотрите в нем кое-что хорошее.

Пожилой джентльмен. Я не желаю усматривать в нем хорошее. Кроме того, сударыня, ваши слова дают мне смелость признаться в одной своей мысли, настолько передовой и дерзкой, что я до сих пор не отваживался высказать ее из боязни сесть в тюрьму, а то и угодить на костер за кощунство.

Зу. Ого! Что же это за мысль?

Пожилой джентльмен (опасливо оглянувшись по сторонам). Я отвергаю микроскопы. И всегда отвергал.

Зу. И вы считаете такую мысль передовой? Ох, Папочка, да это же чистейший обскурантизм!

Пожилой джентльмен. Называйте это, как вам угодно, сударыня, но я утверждаю, что людям, не знающим, на что они смотрят, опасно показывать слишком много. Я нахожу, что человек, пребывающий в здравом уме до тех пор, пока он смотрит на все своими глазами, может впасть в буйное помешательство, начав разглядывать мир через телескоп и микроскоп. Даже когда мы рассказываем сказки о великанах и карликах, великанам не следует быть чересчур огромными, а карликам — чересчур маленькими и злыми. До изобретения микроскопа наши сказки вызывали у детей лишь приятную дрожь и нисколько не страшили взрослых. Но жрецы микроскопа до смерти запугали и себя и всех нас, увидев под ним невидимые прежде чудовища — жалкие, безобидные, крошечные создания, мгновенно гибнущие на солнечном свету и сами являющиеся жертвами тех недугов, которые якобы вызываются ими. Что бы ни говорили ученые, до микроскопа наше воображение оставалось добрым, а часто и смелым, поскольку имело дело с вещами, о которых мы кое-что знали. Но воображение, вооруженное микроскопом и имеющее дело со страшным зрелищем — миллионами уродливых тварей, природа которых нам неизвестна, такое воображение поневоле выродилось в жестокую, ужасную, навязчивую манию. Слыхали ли вы, сударыня, что в двадцать первом веке так называемой христианской эры произошло повсеместное избиение ученых, а лаборатории их были снесены и приборы уничтожены?

Зу. Да, слыхала. У недолговечных все жестоко — и прогресс, и возврат к прошлому. Но когда наука воскресла, ее сумели поставить на надлежащее место. Люди поняли, что простые собиратели анатомических и химических фактов разбираются в ней не больше, чем собиратель гашеных марок в мировой литературе или торговле. Террористу от науки, который боялся коснуться ложки или бокала, не вымыв их предварительно бактерицидным раствором, больше не давали ни пенсий, ни титулов, ни чудовищной власти над телом ближнего; его просто отправляли в сумасшедший дом и держали там до полного выздоровления. Но все это седая старина. Продление жизни до трехсот лет обеспечило человечеству способных руководителей и положило конец детским затеям.

Пожилой джентльмен (раздраженно). Вы, кажется, склонны объяснять любой успех цивилизации вашей необычной долговечностью. Разве вам не известно, что вопрос о ней был впервые поставлен людьми, не дожившими даже до моих лет?

Зу. Да, кое-кто из них делал туманные намеки на этот счет. У одного древнего писателя, чье имя дошло до нас в разных формах — Шекспир, Шеридан, Шелли, Шодди, — есть примечательная фраза о том, как жутко потрясает естество мечта, недостижимая для наших душ{209}. Но много ли от этого проку?

Пожилой джентльмен. Как бы то ни было, сударыня, вы уже в сознательном возрасте; поэтому осмелюсь напомнить, что, сколько бы ни жили ваши вторичные и третичные, вы-то сами моложе меня.

Зу. Да, Папочка, но соблюдать осторожность, чувствовать ответственность и во всем искать истину обязывают нас не годы, уже прожитые нами, а те, которые еще предстоит прожить. А вот вам истина безразлична. Ваша плоть — как трава: вы распускаетесь быстрей, чем цветок, и вянете уже во втором детстве. На ваш век довольно и лжи; на мой — ее мало. Знай я, что умру через двадцать лет, мне бы не стоило учиться. Я заботилась бы об одном — как получить при жизни свою маленькую долю радостей.

Пожилой джентльмен. Вы заблуждаетесь, девушка. При всей нашей недолговечности, мы — я имею в виду лучших из нас — видим в цивилизации и просвещении, искусстве и науке неугасимый факел, который передается от одного поколения к другому, разгораясь все более ярким и горделивым пламенем. Каждая эпоха, как бы кратка она ни была, привносит новый кирпич в обширное и вечно растущее здание, новую страницу в священную книгу, новую главу в Библию, новую Библию в литературу. Пусть мы ничтожные насекомые, но мы, как коралловые полипы, воздвигаем острова, зародыш будущих континентов, и, как пчелы, заготовляем пищу для грядущих поколений. Индивид преходящ, род бессмертен. Сегодня желудь, через тысячу лет дуб. Я закладываю свой камень в постройку и умираю, но приходят другие, делают то же самое, и вот уже высится гора. Я…

Веселый смех Зу прерывает его рассуждения.

(Обиженно.) Не скажете ли, чем это я так вас развеселил?

Зу. Ох, Папочка, Папочка, до чего ж вы смешны с вашими факелами и пламенем, кирпичами и зданием, страницами, книгами и главами, коралловыми полипами и пчелами, желудями, камнями и горами!

Пожилой джентльмен. Но это же метафоры, сударыня. Просто метафоры.

Зу. Образы, образы, образы!{210} Я говорила не о них, а о людях.

Пожилой джентльмен. А я иллюстрировал — и, надеюсь, не так уж неудачно — величественное движение прогресса. Я показал вам, что, хотя мы, люди Востока, и недолговечны, человечество растет из поколения в поколение, из эпохи в эпоху — от дикости к цивилизации, от цивилизации к совершенству.

Зу. Понятно. Отец вырастает до шести футов; сын наследует его рост и вытягивается до двенадцати; внук, унаследовав двенадцатифутовый рост, увеличивается до восемнадцати, и так далее. Через тысячу лет все вы оказываетесь ростом в несколько миль. Согласно такому расчету рост ваших предков Билджа и Блуберда, которых вы именуете исполинами, не превышал четверти дюйма.

Пожилой джентльмен. Я здесь не для того, чтобы играть словами и состязаться в парадоксах с девочкой, искажающей самые славные в истории имена. Я говорю серьезно. Серьезно рассматриваю важную проблему. Я вовсе не утверждал, что у человека ростом в шесть футов будет двенадцатифутовый сын.

Зу. Значит, вы не это хотели сказать?

Пожилой джентльмен. Конечно нет.

Зу. Тогда вы вообще ничего не сказали. А теперь слушайте меня, маленькое эфемерное существо. Я отлично поняла, что вы разумели под факелом, передаваемым от поколения к поколению. Но всякий раз, когда он переходит из рук в руки, пламя гаснет до последней искры, и человек, принявший этот светильник, может разжечь его лишь своим собственным огнем. Вы не выше ростом, чем Билдж и Блуберд, и вы не умнее их. Какова бы ни была их мудрость, она угасла вместе с ними, равно как их сила, если таковая существовала не только в вашем воображении. Я не знаю, сколько вам лет, хотя на вид вам верных пятьсот…

Пожилой джентльмен. Пятьсот? Однако, сударыня!..

Зу (продолжая). Но я, разумеется, знаю, что вы — обыкновенный недолгожитель. Следовательно, мудрости у вас никак не больше, чем у любого человека, не накопившего еще достаточно опыта, чтобы отличать мудрость от безумства, истинное свое призвание от заблуждений, свое…

Пожилой джентльмен. Словом, меньше, чем, скажем, у вас.

Зу. Да нет же, нет! Сколько раз вам повторять, что мудрыми нас делают не воспоминания о прошлом, а сознание ответственности перед будущим? Перейдя в третичные, я стану куда беззаботней, чем ныне. Если вы неспособны уразуметь это, поймите, по крайней мере, что я училась у третичных. Я видела плоды их труда и жила по их установлениям. Как все, кто молод, я восставала против них, а они, вечно алча новых идей и знаний, прислушивались ко мне и поощряли мой бунт. Однако путь, избранный мною, оказался ложным, а их путь верным, и они сумели объяснить мне — почему. Власть их надо мной состоит лишь в том, что они отказываются от всякой власти, а потому ей и нет пределов, кроме тех, которые они ставят сами. Вы же — ребенок, управляемый детьми, притом такими злыми и бестолковыми, что вы непрерывно бунтуете против них; а так как они бессильны убедить вас в своей правоте, им остается лишь один способ управлять вами — бить вас, сажать в тюрьму, мучить и убивать, если вы не подчиняетесь им и в то же время слишком слабы, чтобы самому убивать и мучить их.

Пожилой джентльмен. Допускаю, что все это факт, хотя и прискорбный. Я осуждаю его и сожалею о нем. Но дух наш выше фактов. Мы-то это знаем. Великие учителя древности, вослед которым пришла целая плеяда Христов двадцатого века, не говоря уже о таких сравнительно близких нам по времени духовных вождях, как Блисеринджем, Тош и Спифкинз{211}, единодушно учили, что наказание, месть, принуждение и милитаризм суть заблуждения и что золотое правило…

Зу (прерывая его). Да, да, Папочка, мы, долгожители, все это превосходно знаем. Но разве хоть один из их последователей хоть один день управлял вами согласно их христианским заветам? Знать, что такое добро, мало; нужно еще его делать. А они не могли, потому что жили слишком недолго, чтобы понять, как делать добро или подавить в себе ребяческие страсти, мешавшие им всерьез стремиться к добру. Вам отлично известно, что их хватало лишь на то, чтобы поддерживать существующий порядок с помощью того самого принуждения и милитаризма, который они обличали и по поводу которого так сокрушались. Им оставалось либо убивать ближнего за то, что он проповедует их же Евангелие, либо позволить ему убивать их самих.

Пожилой джентльмен. Кровь мучеников — семя церкви, сударыня.

Зу. Опять образы, Папочка? Кровь недолгожителей орошает лишь бесплодный камень.

Пожилой джентльмен (запальчиво вскакивая). Вы просто помешались на долгожительстве! Лучше переменим тему: она у нас чересчур личная, а это признак дурного вкуса. Сколько бы человек ни жил, природа его была и будет неизменной.

Зу. Итак, вы отвергаете идею прогресса? Отрекаетесь от факела, кирпича, желудя и прочего?

Пожилой джентльмен. Никоим образом. Я за прогресс и свободу, все более безграничные с каждым новым поколением.

Зу. Я вижу, вы настоящий британец.

Пожилой джентльмен. И горжусь этим, хотя не благодарю вас за комплимент: в ваших устах он лишь маскирует какое-то новое оскорбление.

Зу. Я имела в виду только одно — что британцы говорят подчас вещи умные и глубокие, подчас глупые и пустые, но уже через десять минут неизменно забывают то, что сказали.

Пожилой джентльмен. Оставим это, сударыня, оставим это. (Вновь садится.) Даже папа не всегда священнодействует. А наши вспышки вдохновения лишь доказывают, что сердце у нас — на своем месте.

Зу. Еще бы! Где ж ему быть, как не на своем месте?

Пожилой джентльмен. Ну, довольно!

Зу. А вот руки у вас порой оказываются не на своем месте. Например, в кармане соседа. Как видите, дело не в сердце, а в руках.

Пожилой джентльмен (сдаваясь). Ладно. Последнее слово всегда за женщиной. Не собираюсь оспаривать у вас это право.

Зу. Тем лучше. А теперь вернемся к подлинно интересному пункту нашего спора. Мы рассуждали о пристрастии недолгожителей к образам и метафорам. Помните?

Пожилой джентльмен (с ужасом). Как, сударыня! Вы заговорили меня до того, что я потерял голову, вы своей нестерпимой болтовней довели меня до отчаяния и принудили замолчать, и вы же предлагаете начать все сначала? Нет, я немедленно ухожу.

Зу. Нельзя, Папочка. Я — ваша няня, и вы обязаны оставаться со мной.

Пожилой джентльмен. Категорически отказываюсь. (Встает и с подчеркнутым достоинством удаляется.)

Зу (достав камертон). Зу, Берринский причал, вызываю полицию Эннистимонского оракула. Вы меня слышите? Что? Да, теперь слышу, только прибавьте частоту… Да, чуточку выше… Так лучше… Еще чуть-чуть… Вот теперь хорошо… Немедленно изолируйте Берринский причал.

Пожилой джентльмен (вдалеке). Ой!

Зу (все так же монотонно). Благодарю… Нет, ничего серьезного; нянчилась с недолгожителем, дурачок взял и убежал; тяжелая депрессия — бродил где попало и разговаривал со вторичными; не отхожу от него ни на шаг.

Пожилой джентльмен возвращается с негодующим видом.

Вернулся, выключите причал; благодарю; до свиданья! (Прячет камертон.)

Пожилой джентльмен. Это возмутительно! Не успел я спуститься с причала, как меня отшвырнуло назад и по всему телу словно мурашки побежали. И так продолжалось, пока я не вернулся на камни.

Зу. Да, у нас там электроизгородь. Очень старый и примитивный способ не давать скоту разбредаться.

Пожилой джентльмен. Он широко практикуется у нас в Багдаде, но я никогда не думал, что его применят ко мне. Дожить до такого позора!.. Вы буквально киплингизировали меня.

Зу. Киплингизировали? Что это значит?

Пожилой джентльмен. Лет с тысячу тому назад жили два литератора с одинаковой фамилией — Киплинг. Один, уроженец Востока, был выдающимся писателем; другой, житель Запада, остался, естественно, всего лишь забавным варваром.{212} Говорят, что электроизгородь — его изобретение. Считаю, что, применив подобный метод ко мне, вы позволили себе слишком большую вольность.

Зу. Что такое вольность?

Пожилой джентльмен (доведенный до белого каления). Ничего я не буду объяснять. Вы, сударыня, сами все знаете не хуже меня. (Негодующе опускается на тумбу.)

Зу. Нет, не знаю. Как видно, даже от вас можно услышать кое-что новое. Разве вы не заметили, что с самого вашего приезда мы все время расспрашиваем вас?

Пожилой джентльмен. Заметил ли я? Да я чуть не рехнулся от этого! Видите, какой я седой? А ведь когда я высадился здесь, волосы у меня были едва тронуты сединой и во многих местах сохраняли еще свой первоначальный каштановый цвет.

Зу. Поседение — один из симптомов депрессии. А вы не обратили внимания на другое, более важное для вас обстоятельство — на то, что нас вы ни о чем не спрашиваете, хотя знаем мы куда больше, чем вы?

Пожилой джентльмен. Я не ребенок, сударыня. И кажется, уже имел случай заявить об этом. К тому же, я бывалый путешественник и знаю: все, что наблюдаешь в пути, доподлинно существует, иначе и наблюдать было бы нечего. А вот все, что слышишь от туземцев, — сплошная выдумка.

Зу. Только не здесь, Папочка. Мы живем слишком долго, чтобы лгать: рано или поздно ложь все равно обнаруживается. Так что советую поспрашивать меня, пока есть возможность.

Пожилой джентльмен. Если мне потребуется совет, я обращусь к настоящему оракулу — к третичному человеку, а не к первичной девчонке, разыгрывающей из себя мудреца. А если уж вы назначены няней, исполняйте свои обязанности, а не обезьянничайте со старших.

Зу (краснеет и угрожающе поднимается). Ах вы глупое…

Пожилой джентльмен (громовым голосом). Молчать! Слышите? Попридержите язык!

Зу. Со мной творится что-то странное: я вся горю. Меня так и подмывает стукнуть вас. Что вы со мной сделали?

Пожилой джентльмен (с торжеством). Ага! Я таки вогнал вас в краску. Поняли теперь, что значит краснеть от стыда?

Зу. Не знаю, что вы сделали, но это так скверно, что я убью вас, если вы не прекратите.

Пожилой джентльмен (осознав опасность). Вы, конечно, думаете, что старику можно безнаказанно угрожать…

Зу (яростно). Старику? Вы ребенок, злой ребенок, а злых детей мы уничтожаем. Подчас даже против своей воли, инстинктивно. Берегитесь!..

Пожилой джентльмен (струхнув, учтиво поднимается). Я не имел намерения обидеть вас. Я… (С трудом выдавливая слова.) Я приношу извинения. (С поклоном снимает шляпу.)

Зу. Что это значит?

Пожилой джентльмен. Я беру свои слова обратно.

Зу. Как можно взять обратно то, что сказано?

Пожилой джентльмен. Могу прибавить лишь одно — я сожалею о случившемся.

Зу. И правильно делаете. То мерзкое чувство, которое вы во мне пробудили, уже рассеивается, но еще одно слово, и вам не поздоровилось бы. Не вздумайте снова пытаться убить меня. Как только ваше лицо или голос выдадут ваши намерения, я вас прикончу.

Пожилой джентльмен. Я пытался убить вас? Что за чудовищное обвинение!

Зу хмурится.

(Благоразумно поправляется.) Я хотел сказать — недоразумение. Мне это и в голову не приходило. Неужели вы предположили, что я убийца?

Зу. Я это знаю. Вы — убийца. И не только потому, что бросали в меня словами, как камнями, чтобы сделать мне больно. Нет, вы еще пробудили инстинкт убийства во мне самой. Я и не знала, что он живет во мне. До сегодняшнего дня он ни разу не просыпался и не предупреждал: убей, если не хочешь быть убита. Теперь мне придется целиком пересмотреть свою политическую позицию. Больше я не консерватор.

Пожилой джентльмен (роняя шляпу). Боже праведный! Да вы просто помешались! Как я сразу не догадался, что я в руках сумасшедшей? Нет, я этого больше не выдержу. (Подставляя грудь как для заклания.) Убейте меня и радуйтесь моей смерти.

Зу. Что пользы убивать вас, если нельзя разом истребить всех недолгожителей? К тому же такая мера должна осуществляться не частным лицом, а в политическом и конституционном порядке. Впрочем, я готова обсудить ее с вами.

Пожилой джентльмен. Нет, нет, не надо. Обсудим лучше ваше намерение порвать с консервативной партией. Совершенно не понимаю, как консерваторы до сих пор терпели в своих рядах человека с подобными взглядами. Тут возможно лишь одно объяснение — вы, наверно, очень щедро пополняли партийную кассу. (Поднимает шляпу и вновь садится.)

Зу. Довольно нести чепуху. Спор, идущий у нас об основной политической проблеме, имеет решающее значение и для вас, и для всех вам подобных.

Пожилой джентльмен (с интересом). Неужели? Смею ли я спросить, о чем же у вас тут спорят? Я опытный политик и, может быть, пригожусь вам. (Надевает шляпу чуть-чуть набекрень.)

Зу. У нас есть две большие партии — консерваторы и колонизаторы. Колонизаторы считают, что нам следует увеличивать нашу численность и основывать колонии. По мнению же консерваторов, мы должны оставаться на месте, изолироваться на этих островах в качестве особой расы, окруженной ореолом величия и мудрости, и не покидать земли, которая священна в глазах боготворящего нас мира и границы которой неприкосновенны уже потому, что начертаны морем. Они утверждают, что мы призваны править миром и правили им еще тогда, когда не были долгожителями. Они считают, что отдаленность, обособленность, замкнутость и немногочисленность — порука нашего могущества и нашего мирного существования. Пять минут назад я разделяла их политическую программу. А теперь я полагаю, что недолгожителей вообще не должно быть. (Вновь небрежно шлепается на мешки.)

Пожилой джентльмен. Значит, вы отрицаете за мной право на жизнь только потому, что я осмелился неосторожно пожурить вас?

Зу. На что жизнь, если она так коротка? Какой от вас прок? Даже вам самому?

Пожилой джентльмен (ошеломленно). Вот это да!

Зу. У вас такая ничтожная душа. Вы только вводите нас в грех гордыни: мы поневоле смотрим на вас сверху вниз, хотя могли бы смотреть снизу вверх на что-нибудь, что выше нас.

Пожилой джентльмен. Но ведь это эгоистично, сударыня! Подумайте, как важны для нас советы ваших оракулов.

Зу. А какую пользу извлекли вы из этих советов? Вы являетесь просить их, когда узнаете, что оказались в трудном положении, но узнаете вы это лет через двадцать после того, как совершите ошибки, которые привели вас к нам, а тогда уже слишком поздно. К тому же вы не понимаете наших советов. Часто, следуя им, вы творите больше зла, чем если бы руководствовались собственным ребяческим разумом. Не будь вы так ребячливы, вы вообще не ездили бы к нам: опыт доказал бы вам, что от ваших обращений к оракулу все равно нет никакого прока. Вы создали себе сказочное, фантастическое представление о нас, вы сочиняете стихи и рассказы о благодеяниях, совершенных нами в прошлом, о нашей мудрости, справедливости, милосердии, и в ваших выдумках мы нередко выглядим сентиментальными простофилями, которых вы дурачите с помощью жертв и молений. Но всем этим вы лишь маскируете правду от самих себя, а правда состоит в том, что вы не умеете использовать нашу помощь. Ваш премьер-министр уверяет, что прибыл к нам затем, чтобы оракул наставил его, но мы не обольщаемся и прекрасно понимаем, что приезд его продиктован желанием приобрести, вернувшись домой, вес и авторитет, которые придает человеку посещение священных островов, где он лично беседовал с неисповедимыми. А потом он сделает вид, будто меры, которые он хочет принять в собственных целях, подсказаны ему оракулом.

Пожилой джентльмен. Но вы забываете, что ответы оракула нельзя держать в секрете или толковать на свой лад. Их публикуют в печати. Их копии получает лидер оппозиции. Они известны всем народам. Тайная дипломатия давным-давно отошла в прошлое.

Зу. Да, вы публикуете документы, но только подтасовав и подделав их. И если бы вы даже печатали наши ответы в подлинном виде, все равно ничего бы не изменилось: недолгожители неспособны разобраться в простейшем тексте. Ваше Священное писание, например, яснее ясного учит вас делать то, что решительно противоречит вашим собственным законам, равно как приказам и наставлениям избранных вами правителей. Вы не можете стать выше природы. А закон ее таков, что поведение человека всегда определяется продолжительностью его жизни.

Пожилой джентльмен. Никогда не слышал о подобном законе, сударыня.

Зу. Зато теперь услышали.

Пожилой джентльмен. Позволю себе заметить, что мы, недолгожители, как вы нас величаете, значительно удлинили свою жизнь.

Зу. Каким же это образом?

Пожилой джентльмен. Экономя время. Научившись за полдня пересекать океан, видеть и слышать друг друга на расстоянии в тысячу миль. Мы рассчитываем в скором времени так научно организовать свой труд и так подчинить себе силы природы, что необходимость трудиться перестанет быть ощутимым бременем и рядовой человек получит столько свободного времени, что ему некуда будет его девать.

Зу. Папочка, человек, жизнь которого вы удлинили таким способом, может быть, и станет деятельней, чем дикарь, но это лишь усугубит различие между ему подобными, что живут семьдесят лет, и теми, кто живет триста. Для недолгожителя продление жизни означает только продление скорби; для долгожителя каждый лишний год — перспектива, вынуждающая его дать все, на что он способен. Вот почему я говорю, что мы, живущие триста лет, ничем не можем быть полезны вам, живущим меньше ста, и что истинное наше назначение не в том, чтобы наставлять вас и править вами, а в том, чтобы вытеснить вас. Уверовав в это, я и объявляю себя колонизатором и истребителем.

Пожилой джентльмен. Не спешите, пожалуйста, не спешите! Умоляю вас, подумайте хорошенько. Колонизировать можно и не истребляя туземцев. Неужели вы обойдетесь с нами еще бесчеловечней, чем наши предки-варвары с краснокожими и неграми? И разве мы, британцы, не заслуживаем хотя бы некоторого снисхождения?

Зу. Какой смысл затягивать агонию? Как бы мы ни пытались спасти вас, рядом с нами вы все равно обречены на медленное вымирание. Когда я сегодня взяла на себя присмотр за вами, вы уже были полутрупом только потому, что несколько минут говорили со вторичным. Кроме того, кое-чему нас учит и собственный опыт. Слыхали вы, что наши дети возвращаются подчас к первоначальному типу и рождаются недолгожителями?

Пожилой джентльмен (с явным интересом). Никогда не слыхал. Надеюсь, вы не сочтете за обиду, если я признаюсь, что мне было бы весьма отрадно оказаться под присмотром одного из таких нормальных людей.

Зу. Вы хотите сказать — ненормальных? Ваше желание неосуществимо: мы их выпалываем.

Пожилой джентльмен. Меня прямо мороз по коже дерет, когда я слышу из ваших уст такое слово. Надеюсь, вы не хотите сказать, что… что вы… что вы тем или иным способом помогаете природе?

Зу. А почему бы ей не помочь? Разве вам не известно изречение китайского мудреца Ди Нина: «Хороший сад нужно полоть»{213}? Но в нашем вмешательстве нет нужды. У нас от рождения довольно высокие требования к условиям, при которых мы согласны существовать. Мы не придаем значения случайной потере руки, ноги или глаза: в конце концов, никто не чувствует себя несчастным лишь потому, что у него две ноги, а не три. С какой же стати человеку с одной ногой быть несчастным из-за того, что у него нет второй? Другое дело — изъяны характера и душевные недуги. Если кто-то из нас лишен самообладания, или слишком слаб, чтобы, не дрогнув, выносить напряжение нашей суровой жизни, или снедаем извращенными страстями, или привержен к суевериям, или неспособен побеждать боль и апатию, он сам по себе впадает в депрессию и отказывается жить.

Пожилой джентльмен. Боже праведный! Значит, он перерезает себе глотку?

Зу. Зачем перерезать себе глотку? Нет, он просто умирает, потому что хочет умереть. В таких случаях мы говорим, что он потерял себя.

Пожилой джентльмен. Ну и ну!.. Но предположим, он настолько извращен, что не захочет умирать и усмотрит выход из положения в том, чтобы перебить всех вас. Что тогда?

Зу. А тогда это самый отъявленный выродок-недолгожитель, какие иногда появляются у нас. Он эмигрирует.

Пожилой джентльмен. И что с ним станет?

Зу. Вы, недолгожители, всегда очень высоко цените людей такого высокого сорта. Вы принимаете их и объявляете великими.

Пожилой джентльмен. Вы поражаете меня. И все же не могу не признать, что сказанное вами во многом объясняет отдельные известные мне подробности частной жизни наших великих людей. Мы, вероятно, весьма удобная свалка для ваших отбросов.

Зу. Не отрицаю.

Пожилой джентльмен. Тем лучше. Но допустим, вы осуществите ваши колонизаторские планы и в мире не останется ни одной страны, населенной недолгожителями. Куда же вы тогда денете нежелательных для вас людей?

Зу. Убьем. Наши третичные не слишком щепетильны на этот счет.

Пожилой джентльмен. Боже милостивый!

Зу (взглянув на солнце). Идем. Сейчас ровно шестнадцать часов. Через полчаса у вас встреча с вашими спутниками в Голуэйском храме.

Пожилой джентльмен (поднимаясь). Голуэй! Наконец-то я смогу с гордостью рассказывать, что побывал в этом великолепном городе!

Зу. Должна вас разочаровать — у нас нет городов. Там только храм оракула и ничего больше.

Пожилой джентльмен. Увы! А я-то ехал сюда в надежде осуществить две свои давнишние мечты. Первая — увидеть Голуэй. Недаром говорится: «Взгляни на Голуэй и умри». Вторая — полюбоваться развалинами Лондона.

Зу. У нас нет развалин — мы их не терпим. А что, Лондон действительно был значительным поселением?

Пожилой джентльмен (ошеломленный). Что? Лондон? Да это же был величайший город древности! (Высокопарно.) Расположенный там, где дорога на Дувр пересекает Темзу, он…

Зу (сухо останавливал его). Теперь там ничего нет. Кому охота жить в такой глуши? Ближайшие дома расположены в местности, называемой Зеленый Стрэнд. Это очень древнее поселение. Но идемте — нам еще предстоит перебраться через залив. (Спускается по лестнице.)

Пожилой джентльмен. Sic transit gloria mundi[8].

Зу (снизу). Что вы сказали?

Пожилой джентльмен. Ничего. Вы все равно не поймете. (Спускается по лестнице.)

Действие второе

Двор храма перед портиком с колоннадой. В центре портика дверь, ведущая в храм. За колоннами, по направлению к двери, шествует величавая женщина в длинной одежде и под покрывалом. С другой стороны, навстречу ей, размеренным шагом идет мужчина — плотный, гладко выбритый, мрачный и сосредоточенный, короче говоря, очень схожий с Наполеоном I. На нем мундир, скроенный на манер наполеоновского сюртука. Он по традиции скрещивает руки на груди и окидывает женщину взглядом. Она останавливается, всем своим видом выражая высокомерное удивление перед такой дерзостью. Мужчина стоит справа, женщина слева.

Наполеон (внушительно). Я — избранник судьбы.

Женщина под покрывалом (невозмутимо). Как вы сюда попали?

Наполеон. Просто вошел. Я иду, пока меня не остановят. Но меня никогда не останавливают. Повторяю: я — избранник судьбы.

Женщина под покрывалом. Ваша судьба будет весьма плачевна, если вы не перестанете разгуливать тут в одиночку, без кого-нибудь из наших детей. Вы, наверно, принадлежите к багдадскому посольству?

Наполеон. Я приехал с ним, но не принадлежу к нему. Я принадлежу только себе. Если можете, проводите меня к оракулу; если нет, не задерживайте — у меня мало времени.

Женщина под покрывалом. Я не задержу вас, жалкое существо: вам действительно отпущено не много времени. Ваш посол и его спутники сейчас будут здесь. Им разрешено испросить совета у оракула. Церемония совершится согласно установленному ритуалу. Можете подождать их здесь. (Поворачивается и хочет войти в храм.)

Наполеон. Я никогда не жду.

Женщина останавливается.

Ритуал здесь, наверно, установлен классический: пифия на треножнике, дурманящие испарения из пропасти, конвульсии жрицы, возвещающей волю божества, и так далее. Этим меня не обманешь: я сам прибегаю к таким же уловкам, чтобы обманывать простофиль. Нет, я верю: что есть — то есть. И знаю: чего нет — того нет. Меня не интересуют фокусы женщины, восседающей на треножнике и делающей вид, будто она одурманена. Слова ей подсказывает не божество, а трехсотлетний старик, умеющий использовать свой опыт. С этим стариком я и хочу говорить наедине, без комедий и обмана.

Женщина под покрывалом. Вы, видимо, на редкость здравомыслящий человек. Но у нас нет никакого старика. Дежурный оракул сегодня — я. Сейчас я сяду на треножник и разыграю обычную комедию, как вы справедливо это назвали, чтобы произвести впечатление на вашего друга посла. Но коль скоро вы стоите выше всего этого, спрашивайте меня прямо здесь. (Выходит на середину двора.) Что вы хотите знать?

Наполеон (следуя за ней). Сударыня, я отправился в такую даль не для того, чтобы рассуждать о государственных делах с женщиной. И я вынужден просить вас отвести меня к самому старому и мудрому из ваших мужчин.

Оракул. Наши старейшие и мудрейшие мужчины и женщины даже не подумают тратить на вас время: вы не пробудете с ними и трех часов, как уже погибнете от депрессии.

Наполеон. Приберегите эти пустые россказни о депрессии для тех, кто легковерен и поддается запугиванию. Я в метафизику не верю.

Оракул. Кто вас просит в нее верить? Поле — понятие не метафизическое, а физическое. И у меня оно есть.

Наполеон. А у меня их несколько миллионов. Я — император Турании.

Оракул. Вы не поняли меня. Я имела в виду поле не в сельскохозяйственном смысле слова. Разве вам не известно, что любая масса движущейся материи окружена невидимым гравитационным полем, любой магнит — магнитным, любой живой организм — гипнотическим? Такое гипнотическое поле ощущается даже у вас. При всей его слабости оно сильнее тех, какие мне довелось наблюдать у недолгожителей.

Наполеон. Оно отнюдь не слабое, сударыня. Теперь я вас понял и могу заверить, что передо мной бледнеют и мне подчиняются самые волевые люди. Только я не называю свою силу физической.

Оракул. А как ее назвать иначе? Наши физики изучают ее, наши математики определяют ее параметры с помощью алгебраических уравнений.

Наполеон. Значит, мое поле тоже можно определить?

Оракул. Да. Сила его — величина, бесконечно близкая к нулю. На первой сотне лет жизни она ничтожна даже у нас. Но уже на второй быстро возрастает и становится опасной для недолгожителей, приближающихся к нам. Не будь на мне изолирующей мантии и покрывала, вы не выдержали бы моего присутствия, хоть я еще молодая женщина — мне всего сто семьдесят, если вас интересует точная цифра.

Наполеон (скрестив руки на груди). Я не из пугливых. Женщине — неважно, девушка она или старуха — никогда не привести меня в замешательство. Откиньте покрывало, сударыня. Сбросьте мантию. Вам легче сдвинуть с места этот храм, чем поколебать меня.

Оракул. Прекрасно. (Откидывает покрывало.)

Наполеон (вскрикнув и пошатнувшись, закрывает глаза рукой). Нет! Довольно! Опустите покрывало. (Закрыв глаза и отчаянно хватаясь то за горло, то за сердце.) Пустите! Помогите! Умираю!

Оракул. Вы и теперь хотите обратиться к кому-нибудь постарше?

Наполеон. Нет, нет! Покрывало! Умоляю, опустите покрывало!

Оракул (опуская покрывало). То-то!

Наполеон. Уф!.. Человек не может всегда быть на высоте. Доныне я лишь дважды терял самообладание и вел себя как трус. Но прошу вас не судить обо мне по этим минутам невольной слабости.

Оракул. Зачем мне вообще судить о вас? Вы ждете от меня совета. Спрашивайте, или я пойду по своим делам.

Наполеон (секунду поколебавшись, почтительно преклоняет колено). Я…

Оракул. Да встаньте же! Неужели вы настолько глупы, что собираетесь разыгрывать со мной комедию, которая смешна даже вам?

Наполеон (поднимаясь). Я преклонил колено совершенно непроизвольно, сударыня. Я лишь воздал должное вашему величию.

Оракул (нетерпеливо). Время, время, время!

Наполеон. Вы не станете ограничивать его, сударыня, когда узнаете, с чем я к вам пришел. Я — человек, обладающий совершенно особым даром и притом в совершенно особой степени. Во всех остальных отношениях я вполне зауряден, происхожу из семьи отнюдь не влиятельной и, не будь у меня этого дара, никогда не добился бы такого исключительного положения в мире.

Оракул. А зачем занимать в нем исключительное положение?

Наполеон. Тот, кто выше других, не может не утверждать себя, сударыня. Но сказав, что я обладаю особым даром, я выразился неточно. Не я обладаю им, а он владеет мной. Этот дар — мой гений, и он вынуждает меня проявлять его. Иначе я просто не могу: когда я проявляю его — я велик; когда не проявляю — ничтожен.

Оракул. Проявляйте его и дальше. Разве для этого требуется одобрение оракула?

Наполеон. Погодите. Мой дар вынуждает меня проливать человеческую кровь.

Оракул. Вы хирург? Или дантист?

Наполеон. Фу! Как вы низко цените меня, сударыня! Я разумел океаны крови, смерть миллионов людей.

Оракул. Надеюсь, они возражают против этого?

Наполеон. Напротив, они обожают меня.

Оракул. Неужели?

Наполеон. Я никогда не проливаю крови своими руками. Люди убивают друг друга и умирают с торжествующим кличем. Даже тот, кто умирает с проклятиями, проклинает не меня. Мой дар в том, что я организую это взаимоистребление, даю людям грозную радость, которую они именуют славой, и выпускаю на волю черта, живущего в них, но сидящего на цепи, пока длится мир.

Оракул. А сами вы разделяете их радость?

Наполеон. Ни в коей мере. Охота мне смотреть, как один болван вгоняет штык в живот другому! По характеру я истый властелин, но привычки и вкусы у меня самые скромные. У меня добродетели труженика: я работящ и равнодушен к житейским благам. Но я должен властвовать: я настолько выше остальных, что мне нестерпимо покоряться их неумелой власти. А прийти к власти я могу лишь через человекоубийство. Я не способен быть великим писателем — уже пробовал, но безуспешно. У меня нет таланта ваятеля или живописца. Стать адвокатом, проповедником, врачом, актером? Но здесь я буду не лучше, а то и хуже, чем сотни посредственностей. Я даже не дипломат. У меня один козырь — сила. Я умею одно — организовать войну. Взгляните на меня. На вид я такой же, как все, потому что на девять десятых я обыкновенный человек. Но одна десятая моего «я» — это способность видеть вещи как они есть, а этой-то способности и не хватает остальным.

Оракул. Вы хотите сказать, что лишены воображения?

Наполеон (подчеркнуто). Я хочу сказать, что обладаю единственной разновидностью воображения, какой стоит обладать, — умением представлять себе вещи как они есть, даже не видя их. Я знаю, вы считаете себя выше меня, и вы действительно выше. Разве я сам непроизвольно не преклонил перед вами колено? И все же я предлагаю вам померяться силами. Способны ли вы, не прибегая к бумаге и алгебраическим знакам, вычислить то, что математики называют вектором? Или двинуть десять тысяч человек через горный хребет на границу и с точностью до мили определить, где они окажутся через семь недель? Всему остальному грош цена: я научился этому из книг в военной школе. Так вот, я должен предаваться этой великой игре в войну, перебрасывая армии, как другие бросают шары в кегли, должен отчасти потому, что каждый обязан делать то, к чему способен, а не то, к чему лежит душа; отчасти потому, что, прекратив игру, я разом потеряю власть и стану нищим в той самой стране, где сейчас опьяняю людей славой.

Оракул. Очевидно, вы хотите узнать, как выпутаться из столь незавидного положения?

Наполеон. Его мало кто считает незавидным. Скорее чрезвычайно завидным.

Оракул. Раз вы так считаете, продолжайте опьянять людей славой. Зачем тогда докучать мне их безумствами и вашими векторами?

Наполеон. К сожалению, люди не только герои, сударыня. Они еще и трусы. Они жаждут славы, но боятся смерти.

Оракул. Почему? Их жизнь слишком коротка, чтобы им стоило жить. Очевидно, поэтому они и полагают, что ваша игра в войну стоит свеч.

Наполеон. Они смотрят на дело несколько иначе. Самый скверный солдат хочет жить вечно. Чтобы он пошел на риск пасть от руки врага, я должен внушить ему, что трусить еще опасней, ибо за это он будет расстрелян на рассвете собственными же товарищами.

Оракул. А если товарищи откажутся расстреливать?

Наполеон. Тогда, естественно, расстреляют их самих.

Оракул. Кто?

Наполеон. Другие.

Оракул. А если и те откажутся?

Наполеон. До известного предела они не отказываются.

Оракул. А если все же дойдет до этого предела, вам придется расстреливать их самому?

Наполеон. К сожалению, сударыня, в таком случае они пристрелят меня.

Оракул. Гм! По-моему, вас вполне можно было бы пристрелить первым, а не последним. Почему они этого не делают?

Наполеон. Потому что любят сражаться, жаждут славы, боятся прослыть предателями, инстинктивно хотят испытать себя перед лицом грозной опасности, страшатся, что противник убьет их или превратит в рабов, верят, что защищают свой домашний очаг и семью; это заставляет их преодолеть в себе врожденную трусость и не только рисковать собственной жизнью, но и убивать всякого, кто отказывается рисковать ею. Однако стоит войне слишком затянуться, как наступает момент, когда солдаты, а также налогоплательщики, за чей счет кормится и снабжается армия, приходят в состояние, которое они характеризуют словами «сыты по горло». Войска, доказав свою храбрость, мечтают теперь разойтись по домам и спокойно наслаждаться обретенной в боях славой. К тому же, если война длится до бесконечности, риск превращается в неизбежность: на шесть месяцев у солдата еще хватает надежды избежать смерти, на шесть лет — никогда. Нечто похожее происходит и с гражданским населением: разорение становится для него уже не возможностью, а неотвратимостью. Вы понимаете, чем это грозит мне?

Оракул. Да разве это важно, когда вокруг такое бедствие?

Наполеон. Вздор, сударыня! Только это и важно. Ценность человеческой жизни определяется ценностью жизни величайшего из современников. Срежьте бесконечно тонкий слой серого вещества, отличающий мой мозг от мозга среднего человека, и вы сразу понизите уровень человечества от гиганта до пигмея. Я — всё, мои солдаты — ничто: им всегда найдется замена. Убейте меня или — что одно и то же — помешайте мне действовать, и человеческая жизнь лишится самого высокого своего содержания. Ваш долг, сударыня, спасти мир от подобной катастрофы. Война принесла мне популярность, власть, славу, бессмертие в веках. Но я предвижу, что, продолжая воевать, навлеку на себя всеобщую ненависть, буду свергнут, заточен, возможно, даже казнен. Прекратив же войны, я убью в себе великого человека и превращусь в посредственность. Как мне уйти от этой трагически острой дилеммы? Победа мне всегда обеспечена: я не знаю поражений. Но победитель платит за нее не дешевле, чем побежденный, и цена эта — деморализация, обезлюдение, разруха. Как мне удовлетворить свой гений, требующий, чтобы я воевал до самой смерти, — вот о чем я хочу спросить вас.

Оракул. Не слишком ли большая дерзость ехать на священные острова с подобным вопросом? Вояки здесь не в почете, друг мой.

Наполеон. Солдат, которого останавливают такие соображения, уже не солдат. К тому же (достает пистолет) я приехал не безоружный.

Оракул. Что это за вещь?

Наполеон. Мой профессиональный инструмент, сударыня. Я взвожу курок, направляю на вас дуло, нажимаю указательным пальцем вот здесь, на собачку, и вы падаете мертвой.

Оракул. Покажите. (Выпрастывает руку из-под покрывала и протягивает к пистолету.)

Наполеон (отступая на шаг). Извините, сударыня, но я не вверяю свою жизнь человеку, над которым не властен.

Оракул (сурово). Дайте сюда! (Подносит руку к покрывалу.)

Наполеон (роняя пистолет и закрывая глаза рукой). Пощады, камрад! Вот он, сударыня! (Ногой толкает к ней пистолет.) Сдаюсь!

Оракул. Поднимите и подайте. Или вы думаете, что я наклонюсь за ним сама?

Наполеон (с усилием отрывая руку от глаз). Дешевая победа, сударыня! (Поднимает пистолет и протягивает ей.) Такую можно одержать и без векторной стратегии. (Рисуясь своим унижением.) Ну что ж, гордитесь своим триумфом! Вы принудили просить пощады меня, Каина Адамсона Карла Наполеона, императора Турании!

Оракул. У вас есть очень простой способ выйти из затруднения, Каин Адамсон.

Наполеон (с жадным любопытством). Превосходно. Какой же?

Оракул. Умереть раньше своей славы. (Стреляет в него.)

Наполеон вскрикивает и падает. Женщина отбрасывает пистолет и гордо входит в храм.

Наполеон (с трудом поднимаясь). Убийца! Чудовище! Ведьма! Выродок! Исчадье ада! Да тебя повесить, гильотинировать, колесовать, сжечь живьем мало! Никакого уважения к святости человеческой жизни! Никакого сострадания к моей жене и детям! Сука! Свинья! Потаскуха! (Подбирает пистолет.) И еще промахнулась с пяти ярдов! Ну, да чего ждать от бабы.

Направляется в ту сторону, откуда пришел, но сталкивается с Зу, ведущей за собой британского посла, пожилого джентльмена, супругу посла и дочь его, девицу лет восемнадцати. Посол — ярко выраженный тип государственного деятеля: он сильно напоминает собой не вполне исправившегося преступника, который переоделся у хорошего портного. Туалеты дам выдержаны в стиле той же эпохи, что и костюм пожилого джентльмена: они были бы вполне уместны на официальном приеме в какой-нибудь западной столице XVIII — XIX столетий, периода fin de siècle[9]. Новоприбывшие углубляются под колоннаду. Зу тут же бросается к Наполеону и с властным видом останавливается справа от него, супруга посла подобострастно подбегает к нему слева. Посол с дочерью проходят позади колонн к двери. Пожилой джентльмен, едва войдя в портик, замирает на месте: ему хочется посмотреть, зачем Зу так стремительно кинулась к императору Турании.

Зу (строго, Наполеону). Что вы тут делаете? Вам не положено разгуливать в одиночку. Что здесь был за шум? Что у вас в руке?

Наполеон, взглянув на нее с немым бешенством, сует пистолет в карман и выхватывает свисток.

Супруга посла. Вы идете с нами к оракулу, государь?

Наполеон. Провалитесь вы ко всем чертям с вашим оракулом! (Поворачивается и хочет уйти.)

(одновременно) Супруга посла. О, государь! / Зу. Куда вы?

Наполеон. За полицией. (Проходит мимо Зу, чуть не толкнув ее, и пронзительно свистит в свисток.)

Зу (выхватывает камертон и затягивает). Алло, Голуэй, центральная…

Свистки продолжаются.

Приготовьтесь изолировать… (Пожилому джентльмену, который провожает императора взглядом.) Куда он направляется?

Пожилой джентльмен. К смешной статуе толстого старика.

Зу (монотонно, но быстро). Изолируйте памятник Фальстафу{214}, напряжение максимальное. Да, парализуйте…

Свистки обрываются.

Благодарю. (Прячет камертон.) Теперь он не пошевельнет ни одним мускулом, пока я не приду.

Супруга посла. Но он ужасно рассердится. Вы же слышали, как он мне ответил.

Зу. Ну и пусть сердится. Невелика беда.

Дочь (становясь между матерью и Зу). Скажите, пожалуйста, сударыня, чья это статуя? И где купить открытку с видом ее? Она такая смешная. На обратном пути я, конечно, сфотографирую ее сама, но снимки иногда получаются неудачно.

Зу. В храме вам дадут игрушки и картинки на дорогу. А история этой статуи слишком длинна — она вам наскучит. (Чтобы отвязаться, идет мимо дам через двор.)

Супруга (захлебываясь). Уверяю вас, нет!

Дочь (в тон матери). Нам так интересно послушать!

Зу. Чепуха! Тут нечего особенно рассказывать. Тысячу лет тому назад, когда весь мир был заселен вами, недолгожителями, произошла война, получившая название войны за прекращение войн{215}. Через десять лет последовала новая, во время которой не погиб ни один солдат, зато семь европейских столиц были стерты с лица земли. Это была, по-видимому, злая шутка судьбы, ибо государственные деятели, полагавшие, что они благополучно послали на убой десять миллионов простых людей, сами взлетели на воздух вместе со своими семьями и домами, тогда как десять миллионов солдат отсиделись в вырытых ими пещерах. На следующий раз уцелели даже дома, но население, до последнего человека, погибло от удушливых газов. Голодные солдаты, естественно, одичали, и так называемой христианской цивилизации пришел конец. Последний акт ее состоял в том, что государственные деятели, осознав великое патриотическое значение трусости, воздвигли памятник первому ее проповеднику, древнему и очень жирному мудрецу по имени сэр Джон Фальстаф. (Указывает на статую.) Это он и есть.

Пожилой джентльмен (выйдя из-под портика и встав справа от внучки). Боже праведный! И у подножия статуи этого чудовищного труса лежит сейчас туранийский бог войны, беспомощно лопоча что-то невнятное!

Зу. Поделом ему! Хорош бог войны!

Посол (становясь между своей супругой и Зу). Я, конечно, не знаю истории: у современного премьер-министра есть дела поважнее, чем корпеть над книгами. Однако…

Пожилой джентльмен (прерывая его, ободряюще). Вы творите историю, Амброз.

Посол. Может быть, да, а может быть, история сама творит меня. Иной раз газеты так изображают меня, что я с трудом себя узнаю, а ведь их передовицы, по-видимому, представляют собой исторический, как выразились бы вы, документ. Но мне хотелось бы знать, почему война повторилась. И еще — как делаются удушливые газы, о которых упомянули вы, сударыня. Мы были бы очень рады получить эти сведения — они будут нам весьма полезны, если у нас возникнет война с Туранией. Разумеется, я лично сторонник мира и, в принципе, противник гонки вооружения, но мы должны быть впереди, иначе нас уничтожат.

Зу. Вы тоже можете производить газы — пусть только ваши химики найдут способ их изготовления. А тогда вы приметесь за старое и будете душить газами друг друга, пока не останется ни химиков, ни цивилизации. Затем вы начнете все сначала, станете темными полуголодными дикарями и будете драться с помощью бумерангов и отравленных стрел, пока вновь не изобретете взрывчатые вещества и удушливые газы. И все повторится опять, если только у нас не хватит здравого смысла истребить вас и положить конец этой нелепой игре.

Посол (в смятении). Истребить нас?

Пожилой джентльмен. Ну, что я говорил, Амброз? Я же вас предупреждал.

Посол. Но…

Зу (нетерпеливо). Не понимаю, чем занят Зозим. Он должен был прийти сюда и принять вас.

Пожилой джентльмен. Вы имеете в виду того довольно неприятного молодого человека, который изводил меня, когда вы появились на причале?

Зу. Да. Ему предстоит надеть одежду друида, парик и накладную бороду, чтобы произвести впечатление на вас, глупцы. А я буду в пурпурной мантии. Терпеть не могу эту комедию, но вы за нее держитесь, так что ее, видимо, придется разыграть. Подождите, пожалуйста, Зозима здесь. (Поворачивается и хочет войти в храм.)

Посол. Милая леди, стоит ли прибегать к переодеванию и накладной бороде, коль скоро вы заранее объявляете все это шарлатанством?

Зу. Конечно нет, но вы же верите только тому, кто переряжен; вот мы и наряжаемся ради вас. Не мы, а вы сами придумали эту чушь.

Пожилой джентльмен. И после этого вы надеетесь произвести на нас впечатление?

Зу. Не надеюсь, а по опыту знаю, что произведем. Оракул до смерти вас перепугает. (Входит в храм.)

Супруга. Эти люди обращаются с нами так, словно мы грязь у них под ногами. Не понимаю, как ты терпишь это, Амби! Самое лучшее для нас — взять и уехать. Их надо проучить, верно, Этель?

Дочь. Конечно, мамочка… А вдруг им это безразлично?

Посол. Не уговаривай меня, Молли. Я должен видеть оракула. О том, как обращались с нами здесь, дома никто не узнает. Там будут знать одно: я стоял перед лицом оракула и получил от него добрый совет. Надеюсь, этот Зозим не заставит себя ждать. По правде говоря, мне и без того не по себе — все-таки разговор с оракулом…

Пожилой джентльмен. Вот уж не думал, что мне захочется еще раз увидеть этого парня! Теперь я даже предпочитаю, чтобы за нами присматривал он, а не Зу. Сперва она показалась мне очаровательной, совершенно очаровательной, но мы с ней повздорили, и она превратилась в сущего дьявола. Вы не поверите: она чуть не убила меня. Слышали, что она здесь проповедовала? Она принадлежит к той местной партии, которая намерена всех нас истребить.

Супруга (в панике). Нас? Но мы же ничего им не сделали. Мы были с ними так любезны. Ах, Амби, уйдем отсюда, уйдем. Тут все такое жуткое — и место, и люди.

Посол. Это, конечно, верно. Но со мной вы в безопасности, и ты это знаешь. Будь же благоразумна.

Пожилой джентльмен. К сожалению, Молли, они намерены истребить не только нас, четырех беззащитных слабых людей, но весь род человеческий, кроме них самих.

Посол. Не такие уж мы беззащитные и слабые, папа, если учесть все державы. Когда доходит до убийства, в этой игре всегда два партнера, и не важно, кто они — долгожители или недолгожители.

Пожилой джентльмен. Нет, Амброз, нам с ними не справиться. Рядом с этими страшными людьми мы — черви, простые черви.

Из храма выходит Зозим в парадном одеянии. На седых развевающихся кудрях его парика венок из омелы, накладная борода свисает почти до талии, в руках жезл с причудливо изогнутой рукоятью.

Зозим (в дверях, торжественно). Привет вам, чужестранцы!

Все (благоговейно). Привет!

Зозим. Готовы ли вы?

Посол. Готовы.

Зозим (неожиданно берет непринужденный тон, бесцеремонно проталкивается на середину и становится между дамами). Ну, а я, к сожалению, должен предупредить, что оракул еще не готов. Его задержал один из ваших — тот, что отбился. А так как спектакль требует кое-каких приготовлений, вам придется минутку обождать. Если дамы желают, они могут войти в храм, осмотреть преддверие, получить разные картинки и прочее.

(одновременно) Супруга. Благодарю вас! / Дочь. С большим удовольствием!

Входят в храм.

Пожилой джентльмен (с достоинством и явным укором Зозиму за его легкомысленный тон). Сэр, ваш спектакль в том смысле, какой вы придаете этому слову, выглядит как замаскированное надругательство над здравым смыслом.

Зозим. Я сказал бы даже — как откровенное. Не старайтесь продолжать эту комедию со мной.

Посол (неожиданно становясь очень любезным). Вот именно, вот именно. Мы подождем — нам совсем не к спеху. А теперь не разрешите ли воспользоваться случаем и дружески потолковать с вами минуту-другую?

Зозим. Пожалуйста, если только будете говорить о том, что мне понятно.

Посол. Видите ли, меня интересует ваш план колонизации. Мой тесть кое-что рассказал мне о нем и даже намекнул, что вы намерены не только колонизовать нас, но и… э-э… скажем, устранить. Но зачем же нас устранять? Почему бы вам не жить так, чтобы давать жить другим? Мы отнюдь не питаем к вам вражды. Мы приветствовали бы создание на британском Среднем Востоке колонии бессмертных — у нас есть почти все основания так вас называть. Конечно, в настоящее время нас затмевает Туранийская империя с ее магометанскими традициями. Мы просто вынуждены были взять императора с собой, хотя вы не хуже меня понимаете, что он навязался нам с одной лишь целью — шпионить за мною. Не отрицаю, у него в руках все козыри против нас: если дойдет до войны, нашим генералам перед ним не устоять. Здесь я отдаю ему должное: во всем мире нет солдата лучше. Кроме того, он самодержавный император, а я лишь выборный представитель британской демократии. Я отнюдь не хочу сказать, что война страшит наших демократических британцев; нет, они готовы свернуть шею всем туранийцам, но их нужно очень долго подбивать на это, а императору довольно сказать слово, и войска уже в походе. Только вы никогда с ним не столкуетесь. Поверьте, в Турании вам всегда будет хуже, чем у нас. Мы вас понимаем. Вы нам по душе. Народ мы покладистый, к тому же богатый. Это не может не импонировать вам. А Турания — бедная страна. Пять восьмых ее территории — пустыня: там нет такой ирригации, как у нас. Наконец, и это, я уверен, небезразлично и вам, и любому благонамеренному человеку, мы — христиане.

Зозим. Наши старики предпочитают магометан.

Посол (скандализованный). Что?

Зозим (отчетливо). Они предпочитают магометан. Что тут особенного?

Посол. Да то, что из всех нечестивых…

Пожилой джентльмен (дипломатично прерывая возмущенного зятя). Боюсь, что, слишком долго сохраняя приверженность к обветшалым традициям так называемых старых христианских церквей, мы, безусловно, позволили магометанам опередить нас в весьма критический период развития восточного мира. Мусульманская реформация дала своим последователям колоссальное преимущество: они исповедуют единственную в мире религию, в догматы которой может поверить любой здравомыслящий и образованный человек.

Посол. А как же наша собственная реформация? Не черните нас, папа. Разве мы не последовали примеру магометан?

Пожилой джентльмен. К несчастью, Амброз, мы проделали это с большим опозданием. Нам ведь пришлось иметь дело не только с религией, но и с церковью.

Зозим. Что это такое?

Посол. Не знать, что такое церковь? Ну и ну!

Пожилой джентльмен. Извините, что я воздерживаюсь от объяснений, но если я в них пущусь, вы спросите, что такое епископ, а это вопрос, на который не ответит ни один смертный. Скажу одно: Магомет был поистине мудрец — он основал религию без церкви. Поэтому, когда пришла пора реформации и для мечетей, там не оказалось епископов и священников, способных помешать ей. Наши же епископы и священники двести лет не давали нам двинуться по стопам магометан, а потом нам уже никогда не удалось наверстать упущенное. В оправдание наше добавлю только, что в конце концов мы тоже реформировали свою церковь. Разумеется, нам пришлось пойти на кое-какие компромиссы в угоду хорошему вкусу, но теперь в нашем символе веры не осталось ни одной статьи, неприемлемой — по крайней мере, аллегорически — с точки зрения критического разума.

Посол (подбадривая тестя). Да и какое это имеет значение? Я, например, даже не прочел символа веры, а ведь я премьер-министр. Словом, если вам понадобится моя помощь по части приема первой партии колонистов, я к вашим услугам. И прием будет поистине королевский: салют из ста одного орудия{216}, войска шпалерами на улицах, гвардейцы у дворца, обед в ратуше!

Зозим. Заболеть мне депрессией, если я понимаю, о чем вы толкуете! Хоть бы Зу поскорей вернулась — она разбирается в этих вещах. Могу сказать одно: по общему мнению наших колонизаторов, начинать следует со страны, населенной людьми другого цвета кожи. Это исключит ошибки и ускорит дело.

Посол. Что вы разумеете под словами «ускорит дело»? Надеюсь…

Зозим (с деланной, но очень заметной непринужденностью). Да ничего, решительно ничего. Для начала мы думаем взяться за Северную Америку. Видите ли, краснокожие обитатели этой страны были когда-то белыми. Они прошли через стадию желтоватости, затем бесцветности и, наконец, стали красными, что соответствует тамошнему климату. К тому же в Северной Америке неоднократно наблюдались случаи долгожительства. Долгожители переехали сюда, к нам, и вскоре большинство из них вновь приобрело белую кожу, характерную для наших островов.

Пожилой джентльмен. А вы не допускаете, что ваша колония станет краснокожей?

Зозим. Это не имеет значения. Цвет кожи нас не интересует. В старинных книгах упоминается о краснолицых англичанах. Очевидно, было время, когда это считалось нормальным.

Пожилой джентльмен (настойчиво и убедительно). А вы уверены, что завоюете симпатии североамериканцев? Насколько я могу судить с ваших же слов, вам, видимо, нужна страна, где общество строится по принципу замкнутых кругов, где ревниво охраняется неприкосновенность личной жизни и никто не рискнет заговорить с ближним, прежде чем его не представят, причем лишь после тщательного изучения социального облика представляемого. Только в такой стране индивидуум с особыми склонностями и привычками может создать свой собственный мирок и надежно оградить его от вторжения обычных людей. Беру на себя смелость утверждать, что наше британское общество довело эту замкнутость до полного герметизма. Если вы побываете и посмотрите, как действует наша система каст, клубов, цехов, вы убедитесь, что нигде в мире и, вероятно, меньше всего в Северной Америке, где укоренилась прискорбная традиция социальной неразборчивости, нельзя так полно обособиться от окружающих.

Зозим (смущенно и добродушно). Послушайте, оставим эту тему. Я не хочу вдаваться в объяснения, но нашим колонизаторам совершенно безразлично, с какими именно недолгожителями они столкнутся. Мы все уладим, а как — не суть важно. Пойдемте лучше к дамам.

Пожилой джентльмен (сбрасывая маску дипломата и давая волю отчаянию). Мы слишком хорошо поняли вас, сэр. Что ж, истребляйте нас! Отнимите у нас жизнь, которую и так уже лишили радости, внушив нам мысль о том, что каждый может прожить три столетия. Я торжественно предаю эту мысль проклятию. Для вас она — счастье, потому что вы действительно живете триста лет. Для нас же, кому не дожить и до ста, для нас, чья плоть — как трава, такая мысль — самое невыносимое бремя, под которым когда-либо стонало несчастное, замученное человечество.

Посол. Постойте, папа! Не спешите! С чего вы это взяли?

Зозим. Что такое три столетия? На мой взгляд, очень немного. В древности, например, люди жили верой в то, что их существованию не будет конца. Они считали себя бессмертными. По-вашему, они были счастливее?

Пожилой джентльмен. Как президент Багдадского исторического общества могу заявить, что социальные формации, всерьез разделявшие это чудовищное заблуждение, были самыми жалкими из всех, о которых сохранились сведения. Возглавляемое мной общество переиздало труды отца истории Фукидиродота Маколебокля{217}. Вы не читали у него о том, что кощунственно именовалось совершенным Градом божьим{218}, и о попытке воссоздать это учреждение на земле, предпринятой на севере здешних островов неким Джонгоббсноксом{219} по прозвищу Левиафан? Такие вот заблудшие души жертвовали отпущенной им крупицей жизни во имя воображаемого бессмертия. Они распяли пророка, учившего не думать о завтрашнем дне и верить, что Австралия — это тогдашний термин для обозначения рая или вечного блаженства — может быть обретена только здесь и только сейчас. Они пытались довести себя до состояния живых трупов. У них это называлось умерщвлять плоть.

Зозим. Ну, вы-то этим не грешите. По вашему виду никак не скажешь, что плоть у вас умерщвлена.

Пожилой джентльмен. Мы, разумеется, не сумасшедшие и к самоубийству не склонны. Тем не менее мы упорно обрекаем себя на воздержание, дисциплину и учение, словно готовимся жить триста лет, хотя не часто доживаем даже до ста. В детстве меня бесцельно притесняли, в юности столь же бесцельно заставляли слишком много работать — и все ради этой смехотворной подготовки к долгожительству, на которое у меня был один шанс из ста тысяч. Меня лишили и свободы, и естественных радостей в угоду этой мечте и несбыточной надежде на ее осуществление, внушаемой нам самим фактом существования здешних островов и оракулов. Я проклинаю день, когда люди додумались до мысли о долгожительстве, подобно тому как жертвы Джонгоббснокса проклинали день, когда родилась идея вечной жизни.

Зозим. Вздор! Вы тоже могли бы жить триста лет, если бы захотели.

Пожилой джентльмен. Обычный ответ счастливца неудачнику. Ну, что ж, пусть так — не хочу. Предпочитаю свои семьдесят. Если они отданы служению общей пользе, справедливости, милосердию, добру; если они прожиты так, что сердце всегда остается честным, а разум восприимчивым, с меня уже достаточно, потому что эти безмерные и непреходящие ценности приравнивают десять моих лет к тридцати вашим. Я мог бы сказать в заключение: «Живите сколько влезет и будьте прокляты!» — но не скажу так, потому что стою теперь бесконечно выше зависти к вам или другим моим ближним, потому что я равен вам перед лицом вечности, для которой разница между продолжительностью вашей и моей жизни столь же ничтожна, как и разница между одной и тремя каплями воды для всемогущей силы, породившей нас обоих.

Зозим (тронутый). Очень удачная речь, Папочка! Мне бы так ни за что не сказать. Красиво звучит. Но вот и дамы.

К его облегчению, обе женщины как раз появляются в дверях храма.

Пожилой джентльмен (воодушевление его опять сменилось подавленностью). Мои слова для него пустой звук. В этой стране отчаяния великое стало смешным. (Поворачивается к безнадежно озадаченному Зозиму.) «Вот, ты дал мне дни, как пяди, и век мой ничто перед тобою»{220}.

(одновременно, бросаясь к нему) Супруга. Папа, папа, не надо так расстраиваться! / Дочь. Что с вами, дедушка?

Зозим (пожимая плечами). Депрессия.

Пожилой джентльмен (величественным жестом отстраняя женщин). Лжец! (Тут же берет себя в руки, с достоинством приподнимает шляпу, учтиво кланяется и добавляет.) Прошу прощения, сэр, но я отнюдь не страдаю депрессией.

В храме раздаются звуки оркестра, перемежающиеся с гулкими ударами гонга. На пороге появляется Зу в пурпурной мантии.

Зу. Войдите. Оракул готов.

Зозим указывает жезлом на дверь, приглашая гостей войти. Посол и пожилой джентльмен снимают шляпы и на цыпочках входят в храм следом за Зу. Супруга и дочь, переборов страх, спесиво задирают подбородок и направляются вслед за мужчинами, ступая на всю ногу и смелея при мысли о своем высоком положении и парадных туалетах. Под портиком остается только Зозим.

Зозим (снимает парик, бороду, одеяние, сворачивает их и сует под мышку). Уф! (Отправляется восвояси.)

Действие третье

Храм изнутри. Галерея, висящая над пропастью. Полное безмолвие. Галерея ярко освещена, но за ней, то светлее, то чернее, царит мгла. Внезапно кверху взлетает сноп фиолетовых лучей, раздается серебристый, мелодичный перезвон колокольчиков. Когда он смолкает, фиолетовый свет гаснет. По галерее шествует Зу, за ней дочь посла, его супруга, сам посол и пожилой джентльмен. Мужчины держат шляпы перед собой, полями к носу, словно приготовясь по первому знаку излить туда свои молитвы. Зу останавливается, прочие следуют ее примеру, боязливо созерцая бездну. Звучит орган, исполняющий музыку, которую в XIX веке называли духовной. Посетители трепещут все явственней. Из пропасти снова взлетает фиолетовый луч, но теперь он расплывается в туманное пятно.

Супруга (благоговейно шепчет Зу). Встать на колени?

Зу (громко). Дело ваше. Если угодно, становитесь хоть на голову. (Равнодушно садится на перила галереи, спиной к пропасти.)

Пожилой джентльмен (шокированный ее бесчувственностью). Нам угодно держать себя как подобает.

Зу. Вот и прекрасно. Держите себя как умеете. Это никого не интересует. Только не перетрусьте, когда появится пифия, а то еще забудете, о чем хотели ее спросить.

(одновременно) Посол (взволнованно вытаскивает бумажку с вопросами и пробегает ее). Гм! / Дочь (в панике). Пифия? Значит, она змея?{221}

Пожилой джентльмен. Тсс! Это не змея, а жрица оракула. Сивилла. Пророчица.

Супруга. Как страшно!

Зу. Рада слышать.

Супруга. Господь с вами! Неужели вам не страшно?

Зу. Нет. Такие зрелища действуют на вас, но не на меня.

Пожилой джентльмен. В таком случае не мешайте им действовать на нас, сударыня. Я глубоко взволнован, а вы портите все впечатление.

Зу. Не спешите волноваться. Вся эта игра на органе и цветная подсветка — только шуточки. Вы дождитесь пифии!..

Супруга посла падает на колени, ища прибежища в молитве.

Дочь (вся дрожа). Неужели нам действительно покажут женщину, прожившую триста лет?

Зу. Чепуха! Вы бы умерли от одного взгляда третичной. Оракулу всего-навсего сто семьдесят, но вам и с ней будет нелегко.

Дочь (жалобно). Ох! (Падает на колени.)

Посол. О-о! Встаньте поближе, папа. Здесь чуточку пострашней, чем я ожидал. Колени преклонить, что ли…

Пожилой джентльмен. Пожалуй, так будет приличнее.

Мужчины опускаются на колени.

Туман в пропасти сгущается, и кажется, что в глубине ее рокочет дальний гром. Оттуда медленно поднимается треножник с восседающей на нем пифией. Она сняла изолирующее покрывало и мантию, в которых разговаривала с Наполеоном, и теперь одеяние ее состоит из куска сероватой, ниспадающей тяжелыми складками ткани. В пифии чувствуется что-то сверхъестественное, и это приводит посетителей в такой ужас, что они повергаются ниц. Контуры ее расплываются и колеблются: они то почти отчетливы, то смутны и неясны. Самое же главное в том, что пифия кажется больше обычного человека: она недостаточно огромна, чтобы перепуганные молящиеся могли определить на глаз ее размеры, но достаточно внушительна, чтобы ошеломить людей жутким сознанием ее сверхъестественности.

Зу. Эй, вы, да встаньте же! Возьмите себя в руки.

Посол и его семья лишь дрожат, давая этим понять, что не могут выполнить приказание. Только пожилому джентльмену удается встать на четвереньки.

Смелей, Папочка! Вы-то ведь не боитесь. Говорите. Вы же знаете: целый день она вас ждать не станет.

Пожилой джентльмен (почтительно поднимаясь). Извините, сударыня, за вполне естественное смятение: я первый раз в жизни беседую с бо… бо… божеством. Посол, мой друг и родственник, совершенно выбит из колеи. Я же, возлагая надежды на вашу снисходительность…

Зу (безжалостно прерывая его). Не возлагайте, иначе провалитесь сквозь нее и свернете себе шею. В отличие от вас она нематериальна.

Пожилой джентльмен. Я выразился метафорически…

Зу. Я вас уже предупреждала, чтобы вы этого не делали. Спрашивайте о том, что вас интересует, да поскорее.

Пожилой джентльмен (наклоняясь и трогая распростертого посла за плечо). Сделайте над собой усилие, Амброз. Вы не можете уехать в Багдад без ответа на свои вопросы.

Посол (вставая на колени). Я готов уехать куда угодно, лишь бы выбраться отсюда живым. Я давно б уж удрал на корабль, да только ноги не держат.

Пожилой джентльмен. Ни в коем случае. Помните: ваше достоинство…

Посол. К черту достоинство! Я умираю от страха. Ради бога, уведите меня.

Пожилой джентльмен (достав флягу с бренди и отвинчивая крышку). Глотните чуть-чуть. Слава богу, она еще почти полная.

Посол (хватает флягу и жадно пьет). Ох, наконец-то полегчало! (Хочет сделать еще глоток, но видит, что фляга пуста, и протягивает ее тестю вверх дном.)

Пожилой джентльмен (принимая флягу). Боже милостивый! Полпинты{222} чистого бренди зараз! (В полной растерянности завинчивает крышку и сует флягу в карман.)

Посол (пошатываясь, встает, вытаскивает из кармана бумажку, говорит громко и самоуверенно). Вставай, Молли! И ты, Этель.

Обе женщины встают с колен.

Вот что я хотел спросить. (Заглядывает в бумажку.) Гм! Начался кризис цивилизации. Мы стоим на распутье. Перед нами Рубикон. Прыгнуть ли нам в воду? Из сивиллиной книги уже вырвана первая страница. Стоит ли ждать, пока будет вырвана последняя? Справа от нас кратер вулкана, слева — пропасть. Один неверный шаг, и мы сорвемся в бездну, увлекая за собой все человечество. (Переводит дух.)

Пожилой джентльмен (оживая под привычным возбуждающим воздействием политического красноречия). Верно, верно!

Зу. Что вы несете? Спрашивайте, пока не поздно. Что вы хотите узнать?

Посол (покровительственным тоном премьер-министра, урезонивающего юного представителя оппозиции). Молодая женщина обращается ко мне с вопросом. Что ж, я всегда рад, когда молодежь проявляет интерес к политике. Вопрос, заданный ею, необдуман, но это вопрос разумный, вопрос практический. Она спрашивает, зачем мы силимся приподнять край завесы, скрывающей от наших слабых глаз будущее.

Зу. Ни о чем я не спрашиваю. Я прошу вас спросить у оракула то, что вам нужно, и не задерживать ее тут на целый день.

Пожилой джентльмен (запальчиво). К порядку, к порядку!

Зу. Что означает «к порядку, к порядку»?

Посол. Я прошу великого оракула выслушать меня…

Зу. Вам, недолгожителям, никогда не надоедает слушать самих себя, но нам это скучно. Чего вы хотите?

Посол. Я хочу, девушка, чтобы мне не мешали говорить и не прерывали меня неуместными замечаниями.

Глухие раскаты грома на дне пропасти.

Пожилой джентльмен. Видите? Оракул — и тот возмущен. (Послу.) Амброз, не позволяйте этой даме сбивать вас своими грубыми окриками. Не обращайте на них внимания. Продолжайте.

Супруга. Амби, я больше не выдержу. Не забывайте: я бренди не пила.

Дочь (дрожа). В тумане извиваются змеи. Я боюсь молнии. Папа, кончай скорее, или я умру!

Посол (сурово). Тихо! На карте судьба британской цивилизации. Положитесь на меня. Я-то не боюсь. Как я уже сказал… О чем это я говорил?

Зу. Не знаю. И никто не знает.

Пожилой джентльмен (тактично). По-моему, мы подошли к вопросу о выборах.

Посол (вновь обретая самоуверенность). Именно так. О выборах. Мы хотим знать, следует ли нам распуститься в августе или повременить до весны.

Зу. Зачем вам распускаться? Разве вы цветы?

Гром.

Вот теперь виновата я. Гром означает, что оракул понял вас и требует, чтобы я придержала язык.

Посол (горячо). Благодарю оракула!

Супруга (к Зу). Поделом вам!

Пожилой джентльмен. Прежде чем оракул возьмет слово, я просил бы разрешения изложить мотивы, побуждающие меня утверждать, что правительство должно продержаться до весны. Во-первых…

Страшная молния и гром. Пожилой джентльмен падает навзничь, но тут же приподнимается и садится, из чего явствует, что он не пострадал. Дамы в ужасе приседают на корточки. С посла срывает шляпу, но он успевает поймать ее еще над головой и обеими руками прижимает к вискам. Он вдребезги пьян, но вполне владеет речью, так как давно приучил себя подкрепляться перед публичными выступлениями.

Посол (отрывая одну руку от шляпы и делая такой жест, словно укрощает бурю). Довольно! Мы всё поняли — нам достаточно и намека. Я изложу суть дела в двух словах. Я — лидер партии стоеросов. Это правящая партия, а я — премьер-министр. За последние полгода на всех выборах побеждала оппозиция — партия ничевоков. Они…

Пожилой джентльмен (яростно вскакивая на ноги). Они прибегали к нечестным приемам. К подкупу, к дезинформации, к потаканию самым низменным предрассудкам!

Слабые раскаты грома.

Извините. (Умолкает.)

Посол. И подкуп, и ложь еще не беда. Оракулу это знакомо. Суть в другом: до истечения нашего пятилетнего срока еще целый год, но в результате дополнительных выборов мы уже к пасхе потеряем большинство. Нам нельзя сидеть сложа руки. Мы должны поднять какой-то вопрос, который взбудоражит общественное мнение и поставит страну перед новыми выборами. Но одни из нас считают, что сделать это нужно немедленно. Другие предлагают подождать до весны. Что вы нам посоветуете?

Зу. И каким же вопросом вы намерены взбудоражить общественное мнение?

Посол. Это неважно. Еще не знаю. Что-нибудь придумаем. Мы не оракулы, чтобы предвидеть будущее.

Гром.

Что это значит? Я неудачно выразился?

Зу (строго). Сколько раз вам повторять, что мы не можем предвидеть будущее? Никакого будущего нет, есть только настоящее.

Пожилой джентльмен. Позвольте напомнить вам, сударыня, что пятнадцать лет тому назад, когда стоеросы обратились к оракулу, последний предсказал им победу на выборах, и они победили. Отсюда следует, что оракул может предвидеть будущее и подчас соглашается возвестить о нем.

Посол. Совершенно верно. Благодарю, папа. А теперь, через вашу голову, девушка, я обращаюсь к высокому оракулу с просьбой удостоить меня столь же безмерной милости, как и моего прославленного предшественника сэра Фулера Истуинда, дав мне такой же ответ, какой получил он.

Пифия поднимает руку, призывая к молчанию.

Все. Тсс!

Незримые тромбоны трижды издают торжественный звук, совсем как в «Волшебной флейте»{223}.

Пожилой джентльмен. Позвольте мне…

Зу (поспешно). Тише! Оракул хочет говорить.

Оракул. Убирайся восвояси, дурак! (Исчезает.)

Искусственное освещение сменяется прозаическим дневным светом. Зу спрыгивает с перил, сбрасывает мантию, сворачивает ее и сует под мышку. Волшебная, таинственная атмосфера рассеивается. Женщины встают. Посол и его спутники растерянно переглядываются.

Зу. Тот же ответ, слово в слово, был дан пятнадцать лет назад вашему прославленному, как вы его именуете, предшественнику. Что просили, то и получите. Заодно подумайте, сколько важных вопросов вы могли задать. И она ответила бы. Вот так всегда. Ну, я пойду распоряжусь насчет вашего отъезда, а вы подождите меня у выхода. (Уходит.)

Посол. И с какой стати я попросил ответить мне так же, как старику Истуинду?

Пожилой джентльмен. Но вам дали совсем другой ответ. Ответ, полученный Истуиндом, много лет вдохновлял нашу партию. Он помог нам победить на выборах.

Дочь. Я учила его в школе, дедушка. Он был совсем не такой. Могу повторить. (Цитирует.) «Когда колыбелью Британии был запад, восточный ветер{224} закалил и возвеличил ее. Пока дует восточный ветер, Британия процветает. Восточный ветер рассеет ее недругов в день испытаний. Пусть ничевоки помнят об этом».

Посол. Старик сам это придумал. Теперь мне все понятно. Он был уже слабоумной развалиной, когда явился просить совета у оракула. Тот, естественно, и ответил: «Убирайся восвояси, дурак!» Говорить такие вещи мне — нелепо, но, как справедливо заметила девушка, я сам напросился. Что оставалось бедному старикану, как не сочинить такой ответ, который не стыдно обнародовать? Об этом шептались, но никто не верил. Теперь я верю.

Пожилой джентльмен. Нет, нет! Не могу допустить, что сэр Фулер Истуинд был способен на подобное мошенничество.

Посол. Он был способен на все. Я ведь знавал его личного секретаря. Что же мы скажем в Багдаде? Надеюсь, вы не предполагаете, что по возвращении туда я оповещу Британскую империю о том, как оракул обозвал меня дураком?

Пожилой джентльмен. Мы, разумеется, обязаны сказать правду, как бы это ни ранило наше самолюбие.

Посол. Я думаю не о своем самолюбии — для этого я, слава богу, недостаточно эгоистичен. Я думаю о стране, о нашей партии. Правда, как вы это называете, поставит ничевоков к власти на ближайшие двадцать лет. Она равнозначна моей политической смерти. Впрочем, меня это нисколько не заботит. Если мне подыщут более достойную замену, я буду лишь рад уйти на покой. Так что меня в расчет не принимайте.

Пожилой джентльмен. Нет, Амброз, вы незаменимы. Второго такого не найти.

Посол. Очень хорошо. Что же вы намерены предпринять?

Пожилой джентльмен. Дорогой Амброз, лидер партии вы, а не я. Что намерены предпринять вы?

Посол. Сказать чистую правду — вот что. Или вы считаете меня лжецом?

Пожилой джентльмен (он озадачен). Ах, извините! Насколько я понял, вы…

Посол (безапелляционно). Вы поняли меня совершенно правильно. Вернувшись в Багдад, я уведомлю британских избирателей, что оракул дословно повторил мне ответ, данный им пятнадцать лет тому назад сэру Фулеру Истуинду. Молли и Этель подтвердят мои слова. И вы тоже, если вы порядочный человек. Идемте. (Уходит, супруга и дочь следуют за ним.)

Пожилой джентльмен (оставшись один, он весь поникает — теперь это раздавленный отчаянием старик). Что делать? Я совершенно растерян. Я конченый человек. (Падает на колени, с мольбой простирая руки над пропастью.). Я взываю к оракулу. Я не в силах вернуться домой и потворствовать кощунственной лжи. Умоляю наставить меня.

Пифия подходит к нему сзади по галерее и трогает его за плечо. Теперь это женщина обычных размеров с лицом, закрытым капюшоном. Пожилой джентльмен вздрагивает, как от электрического тока, оборачивается и в ужасе приседает, закрыв глаза рукой.

Нет, не подходите близко. Боюсь, мне этого не выдержать.

Оракул (сурово, но сострадательно). Взгляните: теперь я опять нормального роста. Вы видели не меня, а мое искаженное изображение, спроецированное волшебным фонарем на облако. Чем я могу вам помочь?

Пожилой джентльмен. Мои спутники возвращаются домой и скажут там неправду о том, что услышали от вас. Я не в состоянии ехать с ними, не в состоянии жить с людьми, для которых нет ничего святого. Я больше не способен на это теперь, когда побывал здесь. Умоляю, разрешите мне остаться.

Оракул. Друг мой, оставшись с нами, вы погибнете от депрессии.

Пожилой джентльмен. А если вернусь, умру от отвращения и отчаяния. Я выбираю тот риск, который благороднее. Прошу вас, не отвергайте меня. (Цепляется за ее платье.)

Оракул. Берегитесь! Я прожила здесь уже сто семьдесят лет. Ваша смерть значит для меня гораздо меньше, чем для вас.

Пожилой джентльмен. Мне страшно быть изгнанным отсюда не потому, что я боюсь смерти, а потому, что я боюсь жизни.

Оракул. Что ж, пусть будет по-вашему. Оставайтесь.

Протягивает ему руки. Он хватается за них и, прильнув к ней, встает на ноги. Она пристально смотрит ему в лицо. Он напрягается всем телом, конвульсивно вздрагивает, разжимает руки и падает мертвым.

(Глядя на труп.) Бедное недолговечное создание! Чем еще я могла тебе помочь?

Часть V

У предела мысли

Год 31920-й н. э., летний день. Залитая солнцем лужайка у южного подножия лесистого холма. На западной его стороне ступени и колоннада небольшого красивого храма в классическом вкусе. Между храмом и холмом грубая замшелая каменная лестница, уходящая к поросшей деревьями вершине. На восточном склоне роща. Посредине лужайки, неподалеку от холма, алтарь — низкий мраморный стол длиной в человеческий рост, стоящий параллельно ступеням храма. На переднем плане от алтаря веером расходятся полукруглые мраморные скамьи, отделенные от него широким проходом. Юноши и девушки пляшут под звуки нескольких флейт, на которых играют музыканты, сидящие в непринужденных позах на ступенях храма. Детей не видно: впечатление такое, что всем присутствующим не меньше чем по восемнадцати лет. У некоторых юношей бороды. Покрой одежды, архитектура театра, форма алтаря и полукруглых скамей напоминают греческий стиль IV века до н. э. в вольной трактовке. Движения танцоров, стремительно исполняющих нечто вроде фарандолы, необычайно изящны и пластичны: никто не скачет и не обнимает партнера, как это принято у нас. После первого круга они хлопками останавливают музыкантов, и те начинают играть сарабанду. В этот момент на лестнице между холмом и храмом появляется странная фигура. Человек, погруженный в задумчивость, медленно, с закрытыми глазами, спускается вниз, машинально нащупывая ногами грубые неровные ступени. Он почти обнажен — на нем только полотняная юбочка, вроде шотландской, да и та, в сущности, представляет собой широкий пояс с несколькими карманчиками и висящей на нем кожаной сумкой. Судя по мужественной осанке новоприбывшего, это мужчина в цвете лет; ни глаза его, ни рот не обличают никаких признаков старости; однако лицо, плотное и свежее, покрыто сетью морщин — от еле заметных, не толще волоска, до глубоких борозд, словно время трудилось над каждым дюймом его кожи в течение целых геологических эпох. Голова у него могучая и красивая, но совершенно лысая: кроме ресниц — ни одного волоска. Не замечая окружающих, он идет прямо на одну из танцующих пар, разделяет ее, просыпается и с изумлением осматривается. Пара возмущенно останавливается, другие тоже, музыка смолкает. Юноша, которого он толкнул, обращается к нему — без злобы, но и без намека на то, что мы называем хорошими манерами.

Юноша. Эй, старый лунатик, не пора ли раскрыть глаза да посмотреть, куда идешь?

Древний (тихо, кротко и снисходительно). Я не знал, что тут детская, а то бы не направился в эту сторону. Такое всегда может случиться. Продолжайте ваши игры — я поверну обратно.

Юноша. Останься и хоть раз порадуйся жизни. Мы научим тебя плясать.

Древний. Нет, благодарю. Я плясал, когда был ребенком, как вы. Пляска — это неумелая попытка войти в ритм жизни. Мне было бы тяжело выбиться из него ради ваших детских забав. Да я и не смогу, даже если захочу. Но в ваши годы плясать приятно, и мне жаль, что я вам помешал.

Юноша. Полно тебе! Признайся-ка лучше, что ты несчастлив. До чего же страшно смотреть на вас, древних: ходите в одиночку, никого не замечаете, не пляшете, не смеетесь, не поете, словом, ничего не берете от жизни! Нет, мы будем не такими, когда вырастем. У вас собачья жизнь.

Древний. Неправда. Ты повторяешь старинное выражение, даже не подозревая, что на земле водилось когда-то животное, которое называли собакой. Те, кто занимается исчезнувшими формами жизни, скажут вам, что собака любила слушать собственный голос и прыгала, когда бывала довольна, — совсем как вы. Значит, это у нас собачья жизнь, дети мои.

Юноша. Если так, собака была хорошее умное животное. Она подала вам благой пример.

Древний. Дети мои, дайте нам жить и веселиться на свой лад. (Поворачивается и хочет уйти.)

Девушка. Не спеши. Почему вы, древние, не расскажете нам, как вы развлекаетесь? У вас, наверное, есть свои тайные радости, которые вы скрываете от нас и которые никогда вам не приедаются. А вот мне наскучили наши песни и пляски. И все мои партнеры тоже.

Юноша (подозрительно). Наскучили? Я это запомню.

Все переглядываются, словно в словах девушки скрыт некий зловещий смысл.

Девушка. Нам всем скучно. Зачем же притворяться? Это естественно.

Несколько молодых людей. Нет, нет. Нам не скучно. Вовсе это не естественно.

Древний (девушке). Выходит, ты старше, чем он. Ты растешь.

Девушка. Откуда ты это знаешь? Разве я старше их на вид?

Древний. Нет, я даже не взглянул на тебя. Мне безразлично, как ты выглядишь.

Девушка. Благодарю.

Общий смех.

Юноша. Ах ты старый чудак! Ты, наверно, уже забыл разницу между мужчиной и женщиной.

Древний. Эта разница давным-давно не интересует меня в том смысле, в каком интересует вас. А что нас не интересует, то мы забываем.

Девушка. Ты так и не ответил, что выдает мои годы. А я хочу это знать. Я действительно старше этого мальчика — намного старше, чем он предполагает. Как ты это узнал?

Древний. Очень просто. Ты больше не притворяешься. Ты признаешь, что детские игры — пляски, пение, спаривание — довольно быстро приедаются и наскучивают. И ты больше не стараешься выглядеть моложе своих лет. А это признак перехода от детства к отрочеству. Кстати, посмотри, какой неописуемой рванью ты прикрыта. (Касается рукой ее одежды.) Вот здесь совсем протерлось. Почему ты не сделаешь себе новое платье?

Девушка. Да я ничего и не заметила. К тому же новое платье — это слишком хлопотно. Одежда — такая обуза! Я думаю, что когда-нибудь научусь обходиться без нее, как вы, древние.

Древний. А вот это уже признак зрелости. Скоро ты забудешь про игрушки, забавы и сласти.

Юноша. Что? Она станет такой же несчастной, как вы?

Древний. Дитя, даже минута того упоения жизнью, какое вкушаем мы, убила бы тебя. (Торжественной поступью удаляется через рощу.)

Все, помрачнев, провожают его взглядом.

Юноша (музыкантам). Играйте. Попляшем еще.

Музыканты, пожав плечами, встают со ступеней и гурьбой направляются в храм. Остальные следуют за ними, кроме девушки, которая садится на алтарь.

Другая девушка (на ходу). Ну вот, древний всех расстроил. Это ты виноват, Стрефон, — ты сам к нему привязался. (Уходит с огорченным видом.)

Второй юноша. Зачем было говорить ему дерзости? (Уходит, недовольно ворча.)

Стрефон (вдогонку). Мне казалось, у нас принято дерзить всем древним из принципа.

Третий юноша. Тоже верно. Иначе с ними сладу не будет. (Уходит.)

Девушка. Почему вы не смеете открыто дать им отпор? Я же посмела.

Четвертый юноша. Потому что мы форменные ублюдки, отвратительные, жалкие, трусливые, — вот почему. Примирись с правдой, хоть она и неприглядна. (Уходит.)

Пятый юноша (оглянувшись, бросает на ходу со ступеней). И не забудь, дитя, даже минута того упоения жизнью, какое вкушаю я, убила бы тебя. Ха-ха-ха!

Стрефон (он единственный, кто остался с девушкой). А ты не идешь, Хлоя?

Девушка качает головой.

(Бросаясь к ней.) Что-нибудь случилось?

Хлоя (в трагической задумчивости). Не знаю.

Стрефон. Значит, что-то и впрямь случилось. Ты это хотела сказать?

Хлоя. Да, со мною что-то творится, а что — не знаю.

Стрефон. Ты разлюбила меня. Я это уже с месяц как почувствовал.

Хлоя. А тебе не кажется, что все это глупости? Нельзя же без конца вести себя так, словно вся жизнь — одни пляски да нежности.

Стрефон. А что в ней есть лучшего? Ради чего еще жить?

Хлоя. Экий вздор! Не будь таким легкомысленным.

Стрефон. С тобой происходит что-то страшное. У тебя не осталось ни сердца, ни чувства. (Садится на алтарь рядом с ней и закрывает лицо руками.) Я так несчастен!

Хлоя. Несчастен? До чего же пуста твоя голова, если у тебя одна забота — как бы поплясать с девушкой, которая ничем не лучше остальных!

Стрефон. Раньше ты так не считала. Стоило мне взглянуть на другую, как ты уже злилась.

Хлоя. Мало ли что я делала, когда была ребенком. Тогда для меня существовало лишь то, что можно отведать, потрогать, увидеть. И мне хотелось взять все это себе — точно так же, как хотелось поиграть с луной. А теперь предо мной распахнулся целый мир. Нет, не мир — вселенная. Даже мелочи стали для меня чем-то великим и захватывающе интересным. Ты когда-нибудь задумывался над значением чисел?

Стрефон (выпрямляясь, с явным разочарованием). Числа? Что может быть скучнее и противней?

Хлоя. Нет, они увлекательны, прямо-таки увлекательны. Мне хочется бросить наши вечные пляски и музыку, посидеть одной и подумать о числах.

Стрефон (негодующе вскакивает). Ну, это уж слишком! Я давно тебя заподозрил. И не один я — все наши. Все девушки говорят, что ты скрываешь свои годы, что грудь у тебя стала плоской, что мы наскучили тебе и ты при каждом удобном случае норовишь поговорить с древними. Скажи правду: сколько тебе лет?

Хлоя. Я ровно вдвое старше тебя, мой бедный мальчик.

Стрефон. Вдвое? Значит, тебе четыре года?

Хлоя. Почти.

Стрефон (со стоном опускаясь на алтарь). Ох!

Хлоя. Только ради тебя, бедный мой Стрефон, я уверяла, что мне два года: мне уже было столько, когда ты родился. Я видела, как ты вылупился из скорлупы. Ты был такой очаровательный ребенок — крупный, хорошенький, так забавно бегал и говорил с нами, что я сразу отдала тебе сердце. А теперь я, кажется, совсем потеряла его — мной владеет нечто более великое. Но все-таки по-своему, по-детски, мы были очень счастливы с тобой первый год, правда?

Стрефон. Я был счастлив, пока не заметил, что ты охладела ко мне.

Хлоя. Не к тебе, а ко всему обыденному в нашей жизни. Подумай: мне предстоит жить сотни, может быть, тысячи лет. Неужели ты полагаешь, что я согласна убить целые века на то, чтобы плясать, слушать, как флейты выводят все те же ноты и мелодии, восторгаться красотой все тех же колонн и арок; говорить громкие слова; лежать в твоих объятиях, хотя это неловко и неудобно; вечно ломать себе голову, какого цвета выбрать одежду, вечно надевать ее и стирать; отсиживать с другими определенные часы за столом, поглощая пищу и вместе с ней слабые яды, которые искусственно возбуждают чувство наслаждения; а ночью забиваться в постель и проводить полжизни в бессознательном состоянии. Сон — это нечто постыдное; последние недели я перестала спать. По ночам, когда вы лежите, как бесчувственные, — а по-моему, это отвратительно, — я скитаюсь по лесу и думаю, думаю, думаю. Я вбираю в себя мир, разымаю его на части, вновь воссоздаю, придумываю новые методы, изобретаю опыты для проверки этих методов и великолепно провожу время. Каждое утро мне все тяжелей возвращаться к вам, и я знаю: скоро наступит день — может быть, он уже наступил, — когда я не вернусь совсем.

Стрефон. Но ведь жить так ужасно холодно и неудобно!

Хлоя. Ах, оставь ты эти удобства! Если постоянно думать о них, жизнь теряет всякую цену. Из-за них зима превращается в пытку, весна — в болезнь, лето — в обузу, и только осень приносит облегчение. Если б древние стремились к удобствам, они могли бы сделать из своей жизни сплошной праздник. Но они и пальцем не шевельнут ради удобств. Они не спят под крышей, не носят одежды — на них только пояс с карманами для разной мелочи. Они готовы сидеть на мокром мхе и колючем дроке, даже если в двух шагах от них сухой вереск. Два года тому назад, когда ты родился, я этого не понимала. А теперь чувствую, что ради всех удобств на свете не дам себе труда лишний раз шагнуть.

Стрефон. Но ты не понимаешь, что все это значит для меня. Это значит, что для меня ты умрешь. Уже умираешь. Выслушай меня! (Обнимает ее.)

Хлоя (отстраняясь). Не надо. Разговаривать можно и не касаясь друг друга.

Стрефон (с ужасом). Ох, Хлоя, это же самый ужасный признак! Древние никогда не притрагиваются друг к другу.

Хлоя. А зачем притрагиваться?

Стрефон. Ах, не знаю! Но неужели тебе не хочется коснуться меня? Раньше ты это любила.

Хлоя. Правда, любила. Когда-то нам казалось, что спать обнявшись очень приятно, только мы никогда не могли заснуть: тяжесть наших тел останавливала кровообращение вот тут, выше локтя. Затем мои чувства начали понемногу изменяться. Тело твое стало мне безразлично, но голова и руки еще волновали меня. А теперь прошло и это.

Стрефон. Значит, ты меня совсем разлюбила?

Хлоя. Вздор! Я люблю тебя еще глубже, чем раньше. Впрочем, вероятно, не только тебя. Я хочу сказать, что сильнее люблю теперь всех. Но мне не хочется без нужды притрагиваться к тебе и уж подавно не хочется, чтобы ты притрагивался ко мне.

Стрефон (решительно встает). Итак, всему конец. Я тебе противен.

Хлоя (нетерпеливо). Повторяю: ты не противен мне, но раздражаешь меня своей непонятливостью. По-моему, впредь мне лучше быть одной. А ты поищи себе новую подругу. Не выбрать ли тебе ту девушку, которая должна родиться сегодня?

Стрефон. Не нужна мне девушка, которая родится сегодня. Откуда я знаю, какая она будет? Мне нужна ты.

Хлоя. Я не могу быть с тобой. Пойми, что это так, и примирись с этим. Нет никакого смысла гоняться за женщиной вдвое старше тебя. Я не в силах ради тебя продлить свое детство. Пора любви приятна, но коротка. Настало время уплатить долг природе. Ты меня больше не привлекаешь, а я не стремлюсь привлечь тебя. В мои годы человек растет быстро: с каждой неделей я все больше взрослею.

Стрефон. Ты называешь это взрослеть, а я называю это стареть с каждой минутой. Ты уже сейчас старше, чем была в начале нашего разговора.

Хлоя. Нет, так быстро я не взрослею, а только сознаю, что уже повзрослела. Теперь, когда я чувствую, что детство позади, каждое твое слово все больше убеждает меня в этом.

Стрефон. А твой обет? Ты забыла о нем? Мы все приносили его в этом храме, в храме любви. Ты клялась еще горячей, чем остальные.

Хлоя (с мрачной улыбкой). Никогда не давать сердцу остыть! Никогда не уподобляться древним! Никогда не гасить священный светильник! Никогда не изменять и не забывать! Вечно помнить об этом, потому что мы — первые любовники, которым суждено соблюсти клятву, столько раз принесенную и столько раз нарушенную прошлыми поколениями! Ха-ха-ха! Умора!

Стрефон. Что тут смешного? Это благородный, святой уговор, и я буду верен ему, пока жив. Неужели ты нарушишь его?

Хлоя. Милый мальчик, он расторгся сам собой. Все переменилось, невзирая на мой ребяческий обет. (Встает.) Ты не возражаешь, если я прогуляюсь по лесу одна? Наша болтовня кажется мне непростительной тратой времени: мне о стольком нужно подумать.

Стрефон (вновь падая на алтарь и закрывая глаза руками). Сердце мое разбито. (Всхлипывает.)

Хлоя (пожимая плечами). На мое счастье, я рассталась с детством, не испытав твоих страданий. Это доказывает, как мудро я поступила, избрав возлюбленного вдвое моложе себя. (Направляется к роще и наполовину скрывается между деревьями.)

В этот момент из храма выходит кудрявый мускулистый юноша, более взрослый и мужественный, чем Стрефон, и с порога окликает девушку.

Юноша. Эй, Хлоя, там не видно древней женщины? Час рождения давно уже наступил. Ребенок брыкается как безумный. Того и гляди преждевременно вылупится из скорлупы.

Хлоя (смотрит на лестницу, ведущую к вершине холма, указывает на нее рукой и говорит). Вот она, Акис. (Пересекает рощу и исчезает за деревьями.)

Акис (подходя к Стрефону). Что случилось? Хлоя обидела тебя?

Стрефон. Она стала взрослой, невзирая на все свои обещания. Она скрывала от нас свои годы. Ей уже четыре!

Акис. Четыре? Сочувствую тебе, Стрефон. Мне самому уже три, и я знаю, что такое преклонный возраст. Не стану напоминать, что тебя предупреждали, — я этого не люблю, — но она действительно стала менее гибкой, похудела с лица, и грудь у нее делается плоской.

Стрефон (в отчаянии). Не надо про это!

Акис. Возьми себя в руки. Сегодня у нас много дел: сначала рождение, потом праздник художников.

Стрефон (поднимаясь). Стоит ли родиться на свет только затем, чтобы через каких-то четыре года превратиться в противоестественное, бессердечное, черствое, безрадостное чудовище? Кому нужны художники, если они не властны воплотить в жизнь свои высокие замыслы? Как мне хочется умереть и разом покончить со всем! (Отходит к самой дальней скамье и гневно бросается на нее.)

Пока Стрефон предается ламентациям, по лестнице с холма спускается древняя женщина, которая успевает услышать бо́льшую часть его жалоб. Она похожа на древнего мужчину — так же лыса, так же лишена всякого очарования, присущего ее полу, но выглядит в высшей степени любопытно и, пожалуй, страшно. Грудь у нее мужская, фигура также, и только голос выдает ее истинный пол. На ее нагое тело небрежно наброшена ритуальная мантия, в руках — два инструмента, напоминающие тонкие пилы. Она проходит между юношами к алтарю.

Древняя (Стрефону). Дитя, ты только начинаешь. (Акису.) Готов ли ребенок родиться?

Акис. Давным-давно, древняя. Кричит, брыкается, бранится. Мы уже уговаривали эту девочку успокоиться и подождать твоего прихода, но она, разумеется, плохо поняла нас и проявляет сильное нетерпение.

Древняя. Очень хорошо. Выносите ее на солнце.

Акис (спешит в храм). Все готово. Идем.

Музыка в храме играет мажорный марш.

Древняя (приближаясь к Стрефону). Посмотри на меня.

Стрефон (сердито отворачиваясь). Благодарю. Я не желаю, чтобы меня лечили. Лучше уж быть несчастным на свой лад, чем бесчувственным, как вы.

Древняя. Тебе нравится быть несчастным? Ничего, скоро ты это перерастешь.

Из храма выходит процессия, предводительствуемая Акисом. Шесть юношей несут на плечах какой-то груз, прикрытый роскошным, но легким покровом. Перед ними шествует группа девушек, несущих новую тунику, кувшины с водой, серебряные блюда с отверстиями, ткани и огромные губки. Остальные, держа в руках увитые лентами жезлы, усыпают путь цветами. Ношу опускают на алтарь, покров сдергивают, и глазам предстает колоссальное яйцо.

(Деловито выпростав руки из-под мантии и раскладывая пилы на алтарь так, чтобы до них было легко дотянуться.) Мне послышалось, ты сказал, что это девочка?

Акис. Да.

Девушка, несущая тунику. Какое безобразие! Неужели нельзя было мальчика?

Несколько юношей (протестующе). Зачем нам мальчики? Девочек! Нам нужны девочки!

Голос девочки из яйца. Выпустите меня! Выпустите. Я хочу родиться. Я хочу родиться. (Яйцо качается.)

Акис (выхватив у одного из юношей жезл и стуча им по яйцу). Кому я сказал — уймись? Жди. Скоро ты родишься.

Голос из яйца. Нет, сейчас, сейчас! Я хочу родиться, хочу родиться! (Сильные удары внутри яйца, качающегося так сильно, что юношам приходится удерживать его на алтаре.)

Древняя. Тише!

Музыка смолкает, яйцо перестает раскачиваться. Древняя берет пилы и несколькими движениями вскрывает яйцо. В раскрытой скорлупе сидит новорожденная — хорошенькая, очаровательно свежая, розовая девушка, которой в наши дни дали бы лет семнадцать. Кое-где к ней еще прилипли остатки белка.

Новорожденная (ослепленная раскрывшимся перед ней миром). О-о! О-о! (Во время последующей сцены она продолжает постанывать, несмотря на все уговоры.)

Акис. А ну-ка помолчи!

Новорожденную обмывают, она визжит и отбивается.

Юноша. Не вырывайся, чертенок! Ты же вся еще липкая.

Девушка. Тебя надо вымыть, маленькая. Ну, не капризничай, не капризничай. Будь паинькой.

Акис. Перестань, или я заткну тебе рот губкой.

Девушка. Закрой глазки, иначе будет щипать.

Вторая девушка. Будь же умницей. Ты ведь не первая рождаешься на свет.

Новорожденная визжит.

Акис. Поделом тебе. Кому говорили — закрой глаза?

Юноша. Да вытирайте же ее скорей, не то она от меня вырвется. (Новорожденной.) Сиди тихо, или я из тебя лепешку сделаю!

Начинается одевание. Новорожденная кудахчет от удовольствия.

Девушка. А ручки вот сюда, маленькая. Ну, разве не красиво? Ты очень хорошенькая в этом платьице.

Новорожденная (в восторге). О-о! О-о!

Второй юноша. Нет, другую руку: ты надеваешь задом наперед. Эк, ты, глупышка!

Акис. Вот теперь все. Ты чистенькая и приличная. А ну, вставай! Гоп! (Рывком поднимает ее, ноги у ней разъезжаются, но уже через несколько шагов она начинает управлять своими движениями.) Итак, вперед!.. Она перед тобой, древняя. Наставь ее.

Древняя. Как вы ее назовете?

Акис. Амариллидой.

Древняя (новорожденной). Твое имя Амариллида.

Новорожденная. Что оно означает?

Юноша. Любовь.

Девушка. Мать.

Второй юноша. Лилию.

Новорожденная (Акису). А тебя как зовут?

Акис. Акис.

Новорожденная. Я люблю тебя, Акис. Ты должен быть только моим. Обними меня.

Акис. Осторожно, малышка! Мне уже три года.

Новорожденная. Ну и что? Я люблю тебя, и ты будешь моим, если не хочешь, чтобы я опять спряталась в скорлупу.

Акис. Не спрячешься — она разбита. Вот, погляди. (Указывает на Стрефона, который все это время сидел на скамье и даже не взглянул на рождение — до того он поглощен своим горем.) Видишь этого беднягу?

Новорожденная. Что с ним?

Акис. Родившись, он избрал своей возлюбленной девушку, которой было два года. Теперь ему самому столько же, и сердце его разбито, потому что ей целых четыре. Это значит, что она выросла, стала как вот эта древняя женщина и покидает его. Если ты изберешь меня, нам предстоит лишь год счастья, а потом я вырасту и разобью твое сердце. Лучше выбери самого молодого из нас.

Новорожденная. Никого я кроме тебя не выберу. А ты не расти. Мы будем вечно любить друг друга.

Общий смех.

Почему вы смеетесь?

Древняя. Слушай меня, дитя.

Новорожденная. Поди прочь, старая уродина! Я тебя боюсь.

Акис (древней). Дай ей минутку. Она еще не совсем разумна. Да и можно ли ждать другого от ребенка, которому всего пять минут от роду?

Новорожденная. Мне кажется, я уже становлюсь разумней. Конечно, я была еще очень молода, когда сказала дерзость, но в голове у меня быстро проясняется. Растолкуйте мне, пожалуйста, все, все.

Акис (древней). Как по-твоему, у нее все в порядке?

Древняя окидывает новорожденную критическим взором, ощупывает, как френолог, неровности ее черепа, пробует мускулы на руках, похлопывает по ногам, осматривает зубы, на секунду заглядывает в глаза и, наконец, отпускает ее с видом человека, исполнившего свой долг.

Древняя. Ничего, годится. Может жить.

Все размахивают жезлами и кричат от радости.

Новорожденная (негодующе). Могу жить! А если бы что-нибудь оказалось не в порядке?

Древняя. Такие дети у нас не живут, дочь моя. Жизнь здесь дается недешево. Но все равно ты ничего бы не почувствовала.

Новорожденная. Ты хочешь сказать, что меня убили бы?

Древняя. Убить — одно из тех смешных слов, которые новорожденный приносит с собой из прошлого. Завтра ты его уже забудешь. А теперь слушай. Впереди у тебя четыре года детства. Ты не будешь очень счастлива, но тебя заинтересует и займет новизна мира, а товарищи научат тебя, как все эти четыре года сохранять видимость счастья с помощью того, что у них называется искусством, забавами и наслаждением. Самое тяжелое время для тебя уже прошло.

Новорожденная. Как! За пять минут?

Древняя. Нет, за два года, что ты росла в яйце. Ты прошла там через различные стадии. Сперва напоминала собой вымерших животных, которые встречаются теперь только в ископаемом виде; потом стала похожа на человека, и за пятнадцать месяцев проделала весь путь развития, на который человек тратил когда-то двадцать лет блужданий на ощупь от рождения до созревания. Еще пятьдесят он проводил в полудетском состоянии, а у тебя оно будет длиться четыре года. Затем он дряхлел и умирал. А ты не умрешь, пока с тобой не произойдет несчастный случай.

Новорожденная. Что такое несчастный случай?

Древняя. Рано или поздно ты упадешь и свернешь себе шею, на тебя обрушится дерево, в тебя ударит молния. Так или иначе, когда-нибудь придет конец и тебе.

Новорожденная. А почему со мной должен произойти несчастный случай?

Древняя. Этого не объяснить. Он произойдет — и все тут. Рано или поздно с каждым что-нибудь происходит, было бы время. А у нас его целая вечность.

Новорожденная. Ничего со мной не произойдет. В жизни не слышала такого вздора! Я-то уж себя уберегу.

Древняя. Это ты так думаешь.

Новорожденная. Не думаю, а знаю. Я буду вечно наслаждаться жизнью.

Древняя. Если из тебя получится бесконечно разносторонний человек, жизнь действительно покажется тебе бесконечно интересной. А пока что тебе предстоит одно — играть с товарищами. Как видишь, у них много красивых игрушек: театр, картины, священные статуи, цветы, яркие ткани, музыка и, главное, они сами — для ребенка нет игрушки лучше, чем другой ребенок. К концу четвертого года ты изменишься, станешь мудрой, и тебя облекут властью.

Новорожденная. А я хочу ее сейчас.

Древняя. Не сомневаюсь. Она нужна тебе для того, чтобы играть с миром, раздергивая его на части.

Новорожденная. Но я хочу только посмотреть, как он устроен. Потом я опять соберу его, и он станет еще лучше.

Древняя. Было время, когда детям позволялось играть миром, потому что они обещали сделать его лучше. Но они не сделали его лучше и довели бы до гибели, будь у них такая же власть, какую дадут тебе, когда ты перестанешь быть ребенком. А пока что твои сверстники научат тебя всему, что нужно. Тебе не возбраняется общаться и с древними, но не советую: почти всем нам давно уже наскучило смотреть на детей и разговаривать с ними. (Хочет уйти.)

Новорожденная. Погоди. Объясни, что я должна делать и чего не должна. Я чувствую, что мне не хватает воспитания.

Все, кроме древней, смеются.

Древняя. Завтра ты перерастешь и это. Делай что хочешь. (Уходит вверх по холму.)

Участники церемонии уносят в храм ритуальный реквизит и осколки скорлупы.

Акис. Представляешь себе? Эта старуха существует уже семьсот лет, но до сих пор с нею не произошло несчастного случая и ей не надоело жить.

Новорожденная. Разве может надоесть жить?

Акис. Может. Если, конечно, жизнь всегда одинакова. Но древние каким-то чудом ухитряются изменяться. Иногда посмотришь, а у них несколько лишних голов, или рук, или ног — ну прямо смех разбирает. Большинство из них разучилось говорить, и тем, кто присматривает за нами, приходится раза два в год упражняться, чтобы развязать себе язык. Насколько я понимаю, им безразлично все на свете. Они никогда не веселятся. Не знаю, как они выдерживают. Они не ходят даже на праздник искусств. Та старуха, что помогла тебе вылезти из яйца, бродит сейчас, предаваясь никому не нужным размышлениям, хотя знает, что сегодня празднество.

Новорожденная. Что такое празднество?

Акис. Два наших лучших ваятеля покажут свои последние творения, а мы увенчаем их цветами, будем петь им дифирамбы и плясать вокруг них.

Новорожденная. Как замечательно! А что такое ваятель?

Акис. Вот что, малышка, догадывайся обо всем сама и не задавай вопросов. Первые несколько дней старайся поменьше раскрывать рот, побольше смотреть и слушать. Не годится, чтобы ребенка слышали, — его должны только видеть.

Новорожденная. Это кто, по-твоему, ребенок? Мне уже полных четверть часа. (С самым взрослым видом садится на скамью подле Стрефона.)

Голоса в храме (протестующе, разочарованно, возмущенно). О! О! Мерзость! Стыд! Срам! Гадость! Это что, шутка? Да ведь это же древние! Ну и ну! Ты с ума сошел, Архелай? Это обидно! Оскорбительно! Фу! (И т. д., и т. п. Недовольные, ворча, высыпают на ступени храма.)

Акис. Эй, что у вас там такое? (Направляется к ступеням.)

Из храма выходят два ваятеля — один с двухфутовой бородой, другой безбородый. Между ними шествует красивая нимфа: резкие черты лица, волосы черные, густые и вьющиеся, вид властный.

Властная нимфа (стремительно спустившись с ваятелями на середину лужайки, останавливается на полпути между Акисом и новорожденной). Не пытайся меня запугать, Архелай, только потому, что у тебя искусные руки. Ты играешь на флейте?

Архелай (бородатый ваятель справа от нее). Нет, Экрасия, не играю. При чем здесь флейта? (Тон у него наполовину насмешливый, наполовину раздраженный, и ясно видно, что он решил не принимать свою собеседницу всерьез, невзирая на всю ее красоту и властность.)

Экрасия. Да то, что вы, не задумываясь, судите о наших лучших флейтистах и берете на себя смелость решать, хорошо они играют или нет. Почему же я не имею права судить о ваших бюстах, хотя ваяю не лучше, чем ты играешь на флейте?

Архелай. На флейте или еще на чем-нибудь сыграет любой дурак — тут достаточно поупражняться; а вот ваяние — это тебе не в трубку дудеть, это искусство, творчество. В ваятеле должно быть нечто от божества. Его рука создает форму, через которую раскрывается дух. Он творит не для твоего, даже не для собственного удовольствия, а потому что не может иначе. Твое же дело — принять его создания или отвергнуть, если ты их недостойна.

Экрасия (презрительно). Недостойна? Ого! А может быть, я вправе отвергнуть их потому, что они недостойны меня?

Архелай. Недостойны тебя? Перестань нести вздор, чванная хвастунья. Что ты понимаешь в нашем ремесле?

Экрасия. То, что понятно каждому культурному человеку, — что художник должен творить прекрасное. До сегодняшнего дня твои произведения были прекрасны, и я первая заявила об этом.

Архелай. Невелика заслуга! Могла бы и не заявлять — у людей есть глаза; они сами видят то, что ясно как день.

Экрасия. Однако ты был очень рад, когда я заговорила об этом. Тогда ты не называл меня чванной хвастуньей, а чуть не задушил в объятиях. И даже изобразил меня в виде гения искусства, который опекает твоего детски беспомощного учителя Марцелла. (Указывает на второго ваятеля.)

Марцелл, безмолвно и задумчиво следивший за их беседой, вздрагивает, качает головой, но сохраняет молчание.

Архелай (задиристо). Тогда ты просто вскружила мне голову своей болтовней.

Экрасия. Я первая открыла в тебе талант. Правда это или нет?

Архелай. Все и без того знали, что я человек недюжинный: я родился на свет с бородой в три фута.

Экрасия. Да, но теперь она укоротилась до двух. Наверно, в этом лишнем футе и таился твой талант, коль скоро ты разом утратил и то и другое.

Марцелл (с сардоническим смешком). Ха! При рождении борода у меня была в три с половиной фута, но ее спалила молния, убившая заодно того древнего, который меня принимал. Однако и без единого волоска на лице я стал величайшим ваятелем десяти последних поколений.

Экрасия. Тем не менее ты пришел к нам сегодня с пустыми руками. И нам остается одно — увенчать Архелая. Другие-то вообще ничего не выставили.

Акис (спустившись со ступеней храма и обогнув сзади одну из полукруглых скамей, приближается к трем спорщикам). Почему вы ссоритесь, Экрасия? Что у тебя вышло с Архелаем?

Экрасия. Он обидел нас! Оскорбил! Надругался над своим искусством! Ты знаешь, как мы ждали этого дня, когда должны были снять покров с двенадцати бюстов, поставленных Архелаем в храме. Так вот, пойди и взгляни на них. Больше мне нечего прибавить. (Быстро отходит и садится на скамью, там, где сзади на нее оперся Акис.)

Акис. Я не слишком разбираюсь в ваянии: искусство не моя область. Чем плохи бюсты?

Экрасия. Чем? Да тем, что вместо идеально красивых нимф и юношей они отвратительно реалистически изображают… Нет, я не в силах выговорить — кого.

Новорожденная, сгорая от любопытства, бежит к храму и заглядывает туда.

Акис. Брось, Экрасия! Довольно прикидываться чересчур деликатной. Кого они изображают?

Новорожденная (с храмовых ступеней). Древних.

Акис (удивленный, но не скандализованный). Древних?

Экрасия. Да, древних. Единственный сюжет, который с общего согласия всех знатоков решительно исключен из сферы искусства. (Архелаю.) Чем ты оправдаешь такой поступок?

Архелай. Раз на то пошло, ответь сперва, что хорошего вы находите в самодовольных нимфах и жеманных юношах, понатыканных вами где попало?

Экрасия. Ты не спрашивал об этом, пока не разучился их лепить.

Архелай. Разучился? Запомни, носатая дура: я зажмурю глаза, привяжу одну руку к спине и все-таки смогу лепить их целыми дюжинами. Но зачем? Мне противно было бы смотреть на них, да и тебе тоже, будь ты чуточку поумней. Пойди и погляди на мои бюсты. Всмотрись в них хорошенько и пойми наконец, какое напряжение мысли они передают. А потом сравни их с приторными сладостями, которые называются у вас статуями. Вот тогда мы увидим, долго ли ты согласишься терпеть их вялую пустоту. (Вскакивает на алтарь.) Слушайте меня все, а ты, Экрасия, помолчи, если способна хоть на это.

Экрасия. Молчание — лучший способ выразить презрение. Да, презрение — вот что внушают мне твои отвратительные бюсты!

Архелай. Глупая, они лишь первый шаг к осуществлению великого замысла. Слушайте!

Акис. Продолжай, дружище. Мы слушаем.

Марцелл растягивается на траве возле алтаря. Новорожденная опускается на ступени храма, подпирает подбородок рукой и с нетерпением ждет первой речи, которую ей предстоит услышать в жизни. Остальные сидят и стоят как попало.

Архелай. Летописи, спасенные поколениями детей от глупого пренебрежения древних, донесли до нас миф, который, как и многие другие мифы, повествует не о том, что сделано в прошлом, но о том, что предстоит сделать в будущем. Это легенда о сверхъестественном существе, которое именовалось архангелом Михаилом.{225}

Новорожденная. Это сказка? Я хочу послушать. (Сбегает со ступеней и садится на алтарь у ног Архелая.)

Архелай. Архангел Михаил был великим ваятелем и живописцем. Он отыскал в самом центре земли храм, сооруженный в честь Медитерранеи, богини тех мест{226}. Храм был украшен глупыми картинами, изображавшими хорошеньких детей во вкусе Экрасии.

Акис. Нечестный ход, Архелай! Если требуешь, чтобы она молчала, не задевай ее сам.

Экрасия. Я не собираюсь перебивать его, Акис. Но разве я не вправе предпочитать молодость и красоту старости и уродству?

Архелай. Ну, еще бы!.. Однако архангел Михаил держался моего, а не твоего мнения. Он начал с того, что расписал потолок храма фигурами новорожденных во всей их детской прелести. Но, завершив работу, он не почувствовал удовлетворения, потому что от росписи храм не стал величественнее, хотя новорожденные были изображены сильней и талантливей, чем вещи любого прежнего художника. Тогда он написал вокруг своих новорожденных группу древних, которых в те времена звали пророками и сивиллами и величие которых заключалось только в напряженности духовной жизни. Его росписи в течение долгих веков считались образцом и вершиной искусства. Разумеется, это предание не следует воспринимать буквально. Оно всего лишь сказка. В архангелов мы не верим, а мысль о том, будто тридцать тысяч лет назад ваяние и живопись не только существовали, но даже достигли высочайшего совершенства, какое возможно лишь в наши дни, — совершенно нелепа. Но людям свойственно мечтать о том, что они не в силах осуществить. Им приятно верить, что их мечта уже была осуществлена в минувшем золотом веке. Эта ослепительная легенда живет и ныне, потому что в ней воплощены заветные чаяния величайших художников. Храма Медитерранеи никогда не было, архангела Михаила — тоже. Но сегодня такой храм построен — вот он (указывает на портик), такой человек родился (бьет себя в грудь) — это я. Я украшу ваш театр такими статуями новорожденных, которые удовлетворят даже Экрасию с ее пристрастием к красивости, и я окружу их древними, еще более величавыми, чем те, что бродят по нашим лесам.

Марцелл (все так же сардонически). Ха-ха!

Архелай (задетый). Тебе ли смеяться? Ты-то ведь пришел с пустыми руками и, похоже, с пустой головой.

Экрасия (возмущенно вскакивая). Как тебе не стыдно! Ты смеешь чернить Марцелла, хотя он в двадцать раз искусней тебя?

Акис. Замолчишь ты или нет? (Хватает ее за плечи и силой усаживает на скамью.)

Марцелл. Пусть он чернит меня, сколько ему угодно, Экрасия. (Приподнимается и садится на траву.) Я сам мечтал о том же, что и ты, бедный мой Архелай. В один прекрасный день я тоже пришел к убеждению, что мой идеал красоты пошл, никчемен, скучен, что я впустую растрачиваю время и материал. Я тоже потерял охоту лепить руки и ноги, сохранив интерес лишь к голове и лицу. Я тоже ваял бюсты древних, только делал это не так смело, как ты, а втайне, скрывая их от вас.

Архелай (изумленный и взволнованный, спрыгивает с алтаря и становится позади Марцелла). Ты ваял бюсты древних? Где они? Неужели твое вдохновение угаснет из-за болтовни Экрасии и прочих дураков, которых сбивает с толку ее самоуверенность? Выставь свои работы здесь, в театре, рядом с моими. Я проложил для тебя дорогу, и, как видишь, ничего со мной не случилось.

Марцелл. Невозможно. Они разбиты. (Со смехом встает.)

Все. Как разбиты?

Архелай. Кем?

Марцелл. Мною. Вот потому я и смеялся сейчас над тобой. Ты тоже перебьешь свои статуи еще до того, как закончишь первую дюжину их. (Подходит к алтарю и садится на край рядом с новорожденной.)

Архелай. Но почему?

Марцелл. Потому что мы не властны вдохнуть в них жизнь. Живой древний лучше, чем мертвое изваяние. (Сажает новорожденную к себе на колени, та, польщенная, страстно прижимается к нему.) Живое всегда лучше, чем то, что лишь хочет казаться живым. (Архелаю.) Ты начал с разочарования в красоте, которую создал сам, а кончишь тем, что разочаруешься в ваянии вообще. Чем искусней твоя рука, чем острей резец, тем ближе ты подходишь к правде и действительности, тем решительней отвергаешь преходящее очарование плоти ради непреходящего очарования духа. Но разве изображение, даже правдивое, способно удовлетворить столь высокие стремления? В конце концов та самая честность художника, которая побуждает тебя отринуть преходящее во имя вечного, вынудит тебя вовсе отречься от искусства, ибо оно лживо, а истинна только жизнь.

Новорожденная обнимает его и восхищенно целует. Марцелл встает, относит ее налево, опускает на скамью рядом со Стрефоном, так, словно кладет пальто, и невозмутимо продолжает.

Какую форму ни придавай мрамору, он останется мрамором. Статуя всегда только идол. Я разбил своих идолов, выбросил свои резцы и молотки; точно так же ты разобьешь свои бюсты.

Архелай. Ни за что!

Марцелл. Не торопись, друг мой. Сегодня я пришел не с пустыми руками, как ты вообразил. Напротив, я принес с собой такое творение искусства, какого вы еще не видывали, и привел сюда художника, который превзошел нас обоих настолько же, насколько мы превзошли своих соперников.

Экрасия. Быть не может! Нельзя превзойти величайшие произведения искусства.

Архелай. Кто же этот образцовый мастер, которого ты ставишь выше меня?

Марцелл. Я ставлю его выше себя, Архелай.

Архелай (хмурясь). Понятно. Ты решил сгрести меня в охапку и утащить за борт вместе с собой, чтобы только я не остался в живых.

Акис. Да перестаньте вы ссориться по пустякам. Это самое скверное в вас, художниках. Вечно вы делитесь на враждующие группки, и наихудшая из них та, где всего один человек. Кто же этот новенький, которым вы колете глаза друг другу?

Архелай. Спрашивай Марцелла, а не меня. Мне о нем ничего не известно. (Отходит от Марцелла и садится слева от Экрасии.)

Марцелл. Ты прекрасно его знаешь. Это Пигмалион.

Экрасия (негодующе). Пигмалион? Этот бездушный тупица? Этот ученый? Этот лабораторный червь?

Архелай. Пигмалион создал произведение искусства? Да ты просто утратил всякое художественное чутье, Марцелл! Этому парню не вылепить даже ногтя на пальце, не то что целого человека.

Марцелл. Не беда. Я сделал это за него.

Архелай. Что ты хочешь сказать, черт побери?

Марцелл (громко). Пигмалион, иди сюда.

От храма к центру группы направляется юноша с толстыми квадратными пальцами, с лицом, словно слепленным из нескольких положенных друг на друга камней, и неизменной улыбкой, выражающей благожелательный интерес ко всему на свете и ожидание такого же интереса в каждом из ближних. Это Пигмалион. Экрасия смотрит на него с нескрываемым презрением, остальные — с неудовольствием, опасаясь, как бы он не нагнал на них скуку.

Друзья, к сожалению, Пигмалион от природы не способен что-нибудь показать, не прочитав предварительно лекцию о том, что показывает. Но обещаю, что, если вы наберетесь терпения, он покажет вам два произведения искусства, которым нет равных на земле и в которые вложена также немалая доля моего мастерства. Позвольте добавить лишь одно: они внушат вам такое отвращение, что вы навеки излечитесь от безумного пристрастия к искусству. (Садится рядом с новорожденной, та, надувшись, холодно отворачивается, но эта демонстрация не производит никакого впечатления.)

Пигмалион с наивной улыбкой и доверчивой готовностью фанатика науки неуклюже вскарабкивается на алтарь. Все приготовляются к самому худшему.

Пигмалион. Друзья мои, я не стану прибегать к алгебре…

Все. Слава богу!

Пигмалион (продолжая). Поскольку Марцелл взял с меня слово не делать этого. Перехожу прямо к существу вопроса. Мне удалось искусственно создать людей. Я хочу сказать — настоящих, живых людей.

Недоверчивые голоса. Полно! Придумай что-нибудь поумнее! Хватит, Пиг{227}! Слезай! Где уж тебе! Вот враль!

Пигмалион. А я говорю — удалось. Я вам их покажу. Такие опыты удавались и раньше. Один из древнейших дошедших до нас документов содержит предание о некоем биологе, который добыл какой-то не специфицированный им точно минерал и, как старомодно сказано в документе, «вдохнул в лице его дыхание жизни»{228}. Это единственное оставшееся нам от первобытных времен свидетельство, которое можно считать вполне научным. Мы располагаем и позднейшими документами, специфицирующими минералы с весьма большой точностью, вплоть до их атомного веса, однако спецификация эта крайне ненаучна, потому что в ней обходится молчанием жизненное начало, которым и определяется отличие живого организма от простого соединения солей и газов. Подобные соединения многократно создавались в примитивных лабораториях эпохи Глупой мудрости, но из них ничего не получалось, пока вышеназванный замечательный экспериментатор не добавил к ним ингредиент, который у древнего летописца именуется «дыханием жизни». На мой взгляд, этот человек и явился основоположником биологии.

Архелай. Это все, что о нем известно? Не густо.

Пигмалион. Сохранились обрывки документов и фрагменты картин, изображающие его в момент, когда он гуляет по саду и учит людей его возделывать. Имя этого человека дошло до нас в различных формах. Иногда его называли Юпитером, иногда Вольтером.{229}

Экрасия. Ты с ума нас сведешь своим скучным Вольтером! Расскажи наконец о созданных тобою людях.

Архелай. Да, да, переходи к ним.

Пигмалион. Уверяю вас, эти подробности в высшей степени интересны.

Со всех сторон крики: «Нет, не интересны! Переходи к людям! К черту Вольтера! Кончай, Пиг!»

Сейчас вы поймете их значение. Обещаю, что долго вас не задержу. Мы, питомцы науки, знаем, что вселенная насыщена различными видами силы, энергии, способности к творчеству. Сок, поднимающийся по стволу дерева; камень, не распадающийся на части благодаря своей кристаллической структуре; мысль философа, непостижимая мощь которой заставляет мозг его функционировать в определенных формах; бессознательное стремление к эволюции — все эти силы можно использовать. Например, отправляясь купаться и придавливая камнем свою тунику, чтобы ее не сдуло ветром, я использую силу тяготения. Заменив камень соответствующими машинами, мы подчинили себе не только тяготение, но и электричество, магнетизм, внутриатомное сцепление и отталкивание, поляризацию и так далее. Одна лишь Жизненная сила до сих пор ускользала от нас, почему ей и пришлось самой конструировать для себя необходимые механизмы. Она создала и развила костные структуры надлежащей прочности и обволокла их клеточной тканью столь невероятной чувствительности, что состоящие из нее органы приспосабливаются к изменениям атмосферы, которою они дышат, пищи, которую они усваивают, и обстоятельств, которые они осмысливают. А поскольку органические тела, как мы их называем, в конечном счете представляют собой механизмы, их, без сомнения, можно изготовлять механическим способом.

Архелай. На свете все возможно. Вопрос в другом — получилось ли это у тебя?

Пигмалион. Да. Но это всего-навсего факт. Интересны же не сами факты, а их объяснение. Простите за откровенность, но мне очень досадно, что вы, художники, лишены интеллекта.

Экрасия (наставительно). Не согласна. Художник с помощью вдохновения мгновенно постигает те истины, к которым так называемый ученый, долго и тупо корпя в лаборатории, приходит много позже него.

Архелай (Экрасии, сварливо). Что ты в этом понимаешь? Разве ты художница?

Акис. Да заткнитесь вы оба! А ты, Пигмалион, подавай нам искусственных людей. Тащи их сюда.

Пигмалион. Это мужчина и женщина. Но, честное слово, сначала я должен объяснить…

Общий стон.

Да, я…

Акис. Нам нужны не объяснения, а результаты.

Пигмалион (обиженно). Вам, видно, очень скучно. Никому из вас нет дела до науки. Прощайте! (Слезает с алтаря и идет к храму.)

Несколько юношей и девушек (вскакивая и бросаясь вдогонку). Нет, нет! Не уходи. Не обижайся. Мы хотим взглянуть на искусственную чету. Мы согласны слушать. Нам страшно интересно. Рассказывай все, что знаешь.

Пигмалион (сдаваясь). Я задержу вас всего на две минуты.

Все. Хоть на полчаса. Продолжай, Пигмалион. Ну пожалуйста! (Тащат его назад и подсаживают на алтарь.) Гоп! (Занимают прежние места.)

Пигмалион. Как я уже отметил, предпринималось немало попыток получить протоплазму в лабораторных условиях. Почему же синтетическая плазма неизменно оказывалась непригодной?

Экрасия. Вот ты и ответь на это.

Новорожденная (подражая Экрасии и стараясь показать свое умственное превосходство над нею). Ясно почему! Потому что она была мертвая.

Пигмалион. Недурно для ребенка, милочка. Но мертвое и живое — понятия весьма относительные. Сейчас ты тоже живая, но через каких-нибудь два месяца станешь вдвое более живой. Порок синтетической протоплазмы состоял в том, что она не могла аккумулировать и проводить Жизненную силу. Она была все равно что магнит из дерева или громоотвод из шелка, то есть непроводником.

Акис. Что за чушь? Кому это взбредет в голову делать деревянный магнит и ждать, когда он что-нибудь притянет?

Пигмалион. Тому, кто настолько невежествен, что не отличает дерева от железа. В былые дни люди не умели различать предметы, потому что владели лишь примитивными методами анализа. Они получали соединения, схожие с протоплазмой, и не замечали разницы между ними и ею. А разница была, только люди не умели ее уловить, потому что анализировали поверхностно и неполно. Не забывайте: эти бедняги стояли почти на том же уровне, что наши теперешние идиоты. Нам и в голову бы не пришло оставить их в живых после появления на свет. Вот смотрите: сегодняшняя новорожденная уже интуитивно знает многое такое, до чего величайшие физики прошлого вряд ли дошли бы и после сорока лет непрерывного труда. Заложенное в ней чувство времени, пространства и количества дает ей возможность бессознательно решать задачи, которые прежде требовали от крупнейших математиков многолетних сложных вычислений и такого умственного напряжения, что эти ученые, погружаясь в свои выкладки, нередко забывали дышать и чуть ли не погибали от удушья.

Экрасия. Оставь этих темных доисторических недоносков и вернись к своей синтетической чете.

Пигмалион. Приступив к созданию синтетических людей, я не стал тратить время на протоплазму. Мне было совершенно ясно, что если в лабораторных условиях можно получить протоплазму, то в них же можно пойти и дальше, получив вполне развитую мышечную и нервную ткань, кости и тому подобное. Зачем сажать семя, если ничуть не труднее сразу сорвать цветок? Я перепробовал тысячи комбинаций и наконец нашел-таки способ аккумулировать жизненную энергию высокого потенциала.

Архелай. Высокого — чего?

Пигмалион. По-тен-ци-а-ла. Иначе говоря — напряжения. Жизненная сила — не такая простая штука, как кажется. При высоком напряжении ток ее может превратить мертвую ткань в мозг философа, при низком — в гниющую массу. Вы не поверите, если я скажу, что даже в человеке жизненная энергия нередко падала от нормального, человеческого уровня до уровня полипа, в результате чего развитие тканей продолжалось уже в уродливой, низшей форме, получившей название рака, и шло до тех пор, пока низшая форма не убивала высшую, а затем самым жалким образом погибала сама.

Марцелл. Оставь первобытные племена, Пигмалион. Они интересуют тебя, но нагоняют скуку на молодежь.

Пигмалион. Я только стараюсь, чтобы вы поняли… Итак, вокруг меня бушует Жизненная сила, и я попытался создать органы, способные аккумулировать ее, как батарея — электричество, и ткани, которые могли бы ее проводить и направлять. Сконструировать глаза, более совершенные, чем у нас, и уши, улавливающие более широкую гамму звуков, оказалось нетрудно; но эти глаза и уши не видели и не слышали, потому что были невосприимчивы к Жизненной силе. Когда же я открыл, как сообщить им такую восприимчивость, положение еще более усложнилось, поскольку первым следствием моего открытия явилось превращение этих глаз и ушей в массу белых червячков.

Экрасия. Экая мерзость! Сейчас же замолчи!

Акис. Не хочешь слушать — уходи. А ты, Пиг, рассказывай.

Пигмалион. Я продолжал опыты. Так как выяснилось, что Жизненная сила низкого напряжения создает не уши и глаза человека, а лишь червячков, я принялся совершенствовать ткань, пока она не стала наконец восприимчива к высоким напряжениям.

Архелай (с живейшим интересом). Так, так. А дальше?

Пигмалион. А дальше глаза и уши переродились в раковую ткань.

Экрасия. Фу, какая гадость!

Пигмалион. Нисколько. Это был серьезный шаг вперед. Он настолько окрылил меня, что, оставив глаза и уши, я сконструировал мозг. Переделывал я его раз двенадцать, но все-таки добился, что он стал аккумулировать Жизненную силу, причем оказалось, что он воспринимает достаточно высокое напряжение и не разряжается; то же случилось с глазами и ушами, когда я подключил их к мозгу. Таким путем я создал безрукое и безногое чудовище, которое прожило целых полчаса.

Новорожденная. Полчаса? Стоило ради этого возиться! А почему оно умерло?

Пигмалион. Кровообращение работало ненормально. Но я наладил его и доделал остальное — руки, ноги, словом, весь организм. Так был создан мой первый человек.

Архелай. А кто его лепил?

Пигмалион. Я.

Марцелл. Выходит, ты сперва попробовал сам и лишь потом прибег к моей помощи?

Пигмалион. Разумеется. И пробовал я не один раз. Мой первый человек был мерзким животным, такой мешаниной ужаса и нелепости, какой вы, не видавшие его, даже представить себе не можете.

Архелай. Ну, раз ты приложил к нему руку, воображаю, что это было за зрелище!

Пигмалион. Нет, беда тут заключалась не в форме тела. Понимаете, сам я ничего не выдумывал, а просто копировал собственные размеры и контуры. Вы же знаете: ваятели частенько так делают, хоть и не признаются в этом.

Марцелл. Гм!

Архелай. Кха!

Пигмалион. Внешне с ним было все в порядке. Но вел он себя с самого начала ужасно, а дальше начался такой кошмар, что мне этого даже не описать. Мой питомец хватал и заглатывал все, что попадется. Выпивал в лаборатории все жидкости. Я пытался внушить ему, чтобы он ел лишь то, что может переварить и усвоить, но он, конечно, не понял меня. Из того, что он поглощал, усваивалось лишь очень немногое; извергнуть же прочую мерзость он был не в состоянии. Она отравила ему кровь, и он погиб в муках, воя от боли. Тогда я сообразил, что создал доисторического человека: ведь и в нашем организме есть рудименты устройств, позволявших примитивному человекообразному обновлять свое тело за счет поглощения мяса, зерна, овощей и прочей грубой, противоестественной пищи, а непереваренные ее остатки выбрасывать наружу.

Экрасия. Очень жаль все-таки, что он умер. Мы лишились неповторимой возможности заглянуть в прошлое. Он мог бы поведать нам предания золотого века.

Пигмалион. Он-то? Нет, это был просто зверь, и притом очень опасный. Он боялся меня и даже пытался убить: хватал, что было под рукой, и норовил стукнуть. Мне пришлось несколько раз задать ему трепку, прежде чем он уразумел, что находится в моей власти.

Новорожденная. Зачем же ты создал мужчину, а не женщину? Та вела бы себя прилично.

Марцелл. Почему ты не создал и мужчину, и женщину? Было бы очень любопытно взглянуть на их потомство.

Пигмалион. Я собирался сделать и женщину, но после опыта с мужчиной об этом не могло быть больше речи.

Экрасия. Почему?

Пигмалион. Это трудно объяснить тем, кто не знаком с первобытным способом размножения людей. Понимаете ли, я мог создать лишь один тип мужчины и женщины — тип, представляющий собой в физическом отношении точную копию наших мужчин и женщин. Это-то и погубило моего бедного самца: я не принял во внимание ужасный доисторический метод принятия пищи. Теперь предположите, что самка оказалась бы не яйцеродной, как наши женщины, а производила бы детей каким-нибудь иным, доисторическим способом. Из-за современного строения ее тела она оказалась бы неспособной к самовоспроизведению. Кроме того, опыт мог стоить ей чрезмерных мучений.

Экрасия. Значит, тебе нечего нам показать?

Пигмалион. Нет, отчего же. Я так легко не сдаюсь. Я опять принялся за дело и убил еще несколько месяцев на разработку пищеварительной системы, автоматически удаляющей отходы, и детородной системы, предполагающей внутреннее вскармливание и вынашивание плода.

Экрасия. Почему ты не придумал, как сделать их похожими на нас?

Стрефон (подавая голос в первый раз после своего несчастья). Почему ты не создал женщину, которую мог бы любить? Вот какую тайну надо разгадать.

Новорожденная. Да, да. Как это верно! Какая великая мысль, милый Стрефон! (Порывисто целует его.)

Стрефон (гневно). Отстань от меня!

Марцелл. Держи свои рефлексы в узде, девочка.

Новорожденная. Что? Кого держать в узде?

Марцелл. Свои рефлексы. Иными словами — бессознательные поступки. Сейчас Пигмалион покажет тебе двух человек, у которых, кроме рефлексов, ничего нет. Пусть эта пара послужит тебе предостережением.

Новорожденная. А они такие же, как мы? Живые?

Пигмалион. Ты задаешь трудный вопрос, милая. Признаюсь честно: я-то сам думал, что создал живые существа, но Марцелл считает их всего лишь автоматами. Однако Марцелл — мистик, а я — человек науки. Он проводит грань между автоматом и живым организмом, я же не берусь сделать это сколько-нибудь удовлетворительно.

Марцелл. Твои искусственные люди не умеют управлять собой. Они только реагируют на внешние раздражители.

Пигмалион. Но у них есть сознание. Я научил их говорить и читать, а теперь они начали лгать. Это очень роднит их с живыми.

Марцелл. Нисколько. Будь они живыми, они говорили бы правду. Ты можешь заставить их повторять любую нелепую ложь, можешь угадать, в чем именно они тебе солгут. Ударь их под колено — они выбросят ногу вперед. Пробуди в них аппетит, тщеславие, похоть, жадность — они будут хвастать и лгать, утверждать и отрицать, ненавидеть и любить, не считаясь ни с очевидными фактами, ни со своими столь явно ограниченными возможностями. А это доказывает, что они автоматы.

Пигмалион (не сдаваясь). Знаю, дружище, но у нас есть доказательство того, что мы потомки существ, столь же ограниченных и нелепых, как эти. В конце концов, наша новорожденная покамест тоже на три четверти автомат. Посмотри, как она себя ведет.

Новорожденная (возмущенно). Это еще что за новости? Как я себя веду?

Экрасия. Раз они не стремятся к истине, в них нет подлинной жизнеспособности.

Пигмалион. Истина подчас настолько искусственна, настолько относительна, как выражаемся мы, люди науки, что ложное и смешное для нас вполне может показаться истинным для них.

Экрасия. Снова спрашиваю: почему ты не сделал их похожими на нас? Разве подлинный художник может мириться с несовершенством?

Пигмалион. Я и не смог. Пытался, но безуспешно. Я убежден, что покажу вам сегодня наивысшие живые организмы, какие только можно сконструировать в лабораторных условиях. Помните: самая совершенная ткань, выращенная нами, не воспринимает столь же высокого напряжения, как продукт естественного развития. Тут природа сильнее нас. По-моему, вы все просто не понимаете, какая неслыханная победа — создать искусственное сознание.

Акис. Довольно болтать! Где твоя синтетическая чета?

Несколько юношей и девушек. Да, да. Хватит разговоров! Заткнись, Пиг! Показывай, Пиг! Тащи их сюда! Живо! Синтетическую чету! Синтетическую чету!

Пигмалион (машет рукой, пытаясь восстановить спокойствие). Сейчас, сейчас. Посвистите-ка им. Свист — раздражитель, который они воспринимают.

Все, кто умеют, свистят, как уличные мальчишки. Экрасия с гримасой затыкает уши пальцами.

Тише! Тише! Довольно! Довольно!

Шум смолкает.

А теперь чуточку музыки. Какой-нибудь танец, только не очень быстрый.

Флейтисты играют неторопливый танец.

Марцелл. Приготовиться! Зрелище будет не из приятных.

Из храма, рука об руку, выходят две фигуры — мужчина и женщина. Осанка у них благородная, сложение безупречное, одежда роскошная. Заметив, что все взоры устремлены на них, они с улыбкой удовлетворенного тщеславия останавливаются на ступенях. Женщина стоит слева от мужчины.

Пигмалион (потирая руки и сияя от гордости за свое творение). Пожалуйте сюда.

Фигуры снисходительно приближаются и располагаются в центре, между скамьями.

Не соблаговолите ли изобразить нам что-нибудь? Вы же так прелестно танцуете. (Садится рядом с Марцеллом и шепчет ему.) На лесть они реагируют особенно активно.

Фигуры, милостиво вняв просьбе, танцуют с некоторой важностью, но вполне прилично и, закончив танец, кланяются друг другу.

Все (аплодируя). Браво! Благодарим! Замечательно! Превосходно! Неподражаемо!

Новорожденная. А любить они могут?

Пигмалион. Да. Они реагируют на любой раздражитель. В них заложены все рефлексы. Обнимешь мужчину за шею, он обнимет тебя за талию. Это у него получается непроизвольно.

Женская фигура (хмурясь). Вы хотели сказать — обнимет меня.

Пигмалион. Вас, разумеется, тоже, если раздражение исходит от вас.

Экрасия. А на самостоятельные поступки они способны?

Пигмалион. Нет. Но я, знаешь ли, не уверен, что мы сами способны на них, хотя Марцелл утверждает противное.

Акис. Может он отвечать на вопросы?

Пигмалион. О да. Вопрос — это уже раздражитель. Спроси его о чем-нибудь.

Акис (фигуре мужчины). Что вы думаете о том, что видите вокруг? Скажем, о нас, наших обычаях и поведении?

Мужская фигура. Я еще не читал сегодняшней газеты.

Женская фигура. Откуда моему супругу знать, что о вас думать, если вы не принесли ему газету к завтраку?

Марцелл. Видите? Он просто автомат.

Новорожденная. Я, пожалуй, не дала бы ему обнять меня. Они мне не нравятся.

Лицо мужской фигуры изображает обиду, лицо женской — ревность.

А я-то думала, они не понимают. Выходит, они умеют чувствовать?

Пигмалион. Разумеется. Повторяю: в них заложены все рефлексы.

Новорожденная. Чувство — не рефлекс.

Пигмалион. Но это ощущение. Когда свет попадает к ним в глаз и на сетчатке получается изображение, мозг воспринимает его, и они поступают соответствующим образом. Когда звуковые колебания, вызванные твоими словами, проникают к ним в ухо и обидное замечание воздействует на кортиев орган, мозг воспринимает обиду, и они поступают соответствующим образом. Не задень ты их, они бы не рассердились. Они просто реагируют на раздражение.

Мужская фигура. Мы — часть мировой системы. Свобода воли — фикция. Мы — детища причины и следствия. Мы — неизменность, непреложность, незыблемость, неизбежность.

Я — Озимандия, я — мощный царь царей!

Взгляните на мои великие деянья…{230}

Все выказывают явные признаки любопытства.

Акис. Что за чертовщину он мелет?

Мужская фигура. Умолкни, низкое порождение природы! (Берет женскую фигуру за руку.) Вот Клеопатра-Семирамида, супруга царя царей и, следовательно, царица цариц. Вы — жалкие твари, выращенные в яйце безмозглым солнцем и слепым огнем. Царь же царей и царица цариц — это не случайные производные от яйца: они задуманы и сотворены, дабы воспринять священную Жизненную силу. Царь и царица — два разные существа, но Жизненная их сила едина, слава равна, величие одинаково вечно. Каков царь, такова и царица. Царь задуман и сотворен, царица — тоже. Деяния царя обусловлены причинностью и потому предопределены от начала до скончания времен, деяния царицы — тоже. Царь логичен, предопределен, непререкаем; царица логична, предопределена, непререкаема. И все-таки они не два логичных, предопределенных, непререкаемых существа, а одно — логичное, предопределенное, непререкаемое. Посему не смешивайте два существа, но и не делите единую субстанцию, а поклоняйтесь нам обоим, восседающим на общем троне, двоим в одном и одному в двоих — поклоняйтесь, да не постигнет вас вечное проклятие.

Женская фигура. А если кто спросит вас: «Кому из двоих?» — помните, что, хотя один из нас царь, а другая — царица, мы несхожи меж собой, ибо один — мужчина, а другая — женщина. Но поелику женщина сотворена после мужчины, а значит, более умело и разумно, часть этого умения и разума перешла к ней, и вам надлежит чтить ее достоинства выше его достоинств, и…

Мужская фигура. Умолкни, женщина, ибо слова твои — предосудительная ересь. И мужчина, и женщина суть то, что они есть, и должны поступать сообразно вечным законам причины и следствия. Взвешивай же свои слова, ибо если они войдут мне в ухо и сверх меры раздражат мое чувствилище, один бог знает, какой будет неотвратимая реакция на такое раздражение. Быть может, мозг мой прикажет мышцам схватить что-нибудь поувесистей и разнести тебя на куски.

Женская фигура подбирает камень с намерением запустить им в супруга.

Архелай (вскакивает и кричит Пигмалиону, любовно созерцающему мужскую фигуру). Берегись, Пигмалион! Посмотри на женщину!

Пигмалион, уразумев, что происходит, кидается к женской фигуре и вырывает у нее камень.

Все в ужасе вскакивают.

Она хотела убить его!

Стрефон. Какой ужас!

Женская фигура (отбиваясь от Пигмалиона). Пусти меня! Кому я говорю — пусти! (Кусает его за руку.)

Пигмалион (отпустив ее и пошатнувшись). Ох!

Его стону вторит вопль ужаса. Пигмалион бледнеет как полотно и опирается на край скамьи.

Женская фигура (супругу). Трус, баба, как тебе не стыдно стоять сложа руки, когда со мной так обращаются!

Пигмалион падает мертвым.

Новорожденная. Ай! Что случилось? Почему он упал? Что с ним?

Марцелл опускается на колени и осматривает тело Пигмалиона, остальные с тревогой следят за ним.

Марцелл. Она вырвала у него из руки кусок размером с ноготь. Этого довольно, чтобы убить десять человек. Ни пульса, ни дыхания.

Экрасия. Но большой палец у него согнут.

Марцелл. Нет, уже распрямился. Видишь? Он мертв. Бедный Пигмалион!

Новорожденная. Ох! (Рыдает.)

Стрефон. Тише, милая. Не будь такой ребячливой.

Новорожденная всхлипывает, подавляя рыдания.

Марцелл. Умереть на третьем году жизни!.. А какая потеря для науки!

Архелай. Кому есть дело до науки? А ему так и надо — не создавай чудовищ.

Мужская фигура (сверкая глазами). Ха!

Женская фигура. Эй, ты, повежливей!

Новорожденная. Ах, Архелай, не будь таким злым! У меня от твоих слов глаза опять станут мокрые.

Марцелл (разглядывая фигуры). Нет, вы только посмотрите на этих дьяволов! Я сам вылепил их из материала, заготовленного Пигмалионом. Образцовые творения искусства, а что наделали! Ну, Архелай, неужели и это не раскрыло тебе глаза на истинную цену искусства?

Стрефон. Они опасны. Не приближайтесь к ним.

Экрасия. Излишнее предупреждение, Стрефон. Фу! Они отравляют воздух.

Мужская фигура. Берегись, женщина! Гнев Озимандии разит, как молния.

Женская фигура. Посмей только повторить свои слова, дрянь ты этакая!

Акис. Что ты собираешься делать с ними, Марцелл? Теперь, после смерти Пигмалиона, за них отвечаешь ты.

Марцелл. Будь они из мрамора, все уладилось бы просто — я бы их разбил. А теперь попробуй убей их так, чтобы не замараться!

Мужская фигура (принимая героическую позу). Ха! (Декламирует.)

А ну, кто первый? Я — скала,

Что остается, где была.

Женская фигура (нежно). Мой муж! Мой героический супруг! Горжусь тобою! Люблю тебя!

Марцелл. Придется позвать кого-нибудь из древних.

Акис. Стоит ли беспокоить их по пустякам? На то, чтобы превратить беднягу Пигмалиона в горсть праха, уйдет не больше секунды. Почему бы не уничтожить заодно и эту парочку?

Марцелл. Автоматы — это действительно пустяки. А вот с нашей способностью уничтожать шутить не следует. По-моему, дело требует разбирательства.

Из рощи выходит древний. Фигуры в ужасе.

Древний (мягко). Я нужен? Я чувствую, что меня звали. (Видит труп Пигмалиона, тон его сразу становится суровым.) Ребенок умер? Погублена жизнь? Как это произошло?

Женская фигура (исступленно). Я не виновата! Это не я! Умереть мне на месте, если я его хоть пальцем тронула! Это все он! (Указывает на мужскую фигуру.)

Все (потрясенные столь бесстыдной ложью). О!

Мужская фигура. Лгунья! Ты укусила его. Все видели.

Древний. Молчать! (Становится между фигурами.) Кто сделал эти мерзкие куклы?

Мужская фигура (напуская на себя важность, хотя колени у нее трясутся). Я — Озимандия, царь…

Древний (с презрительным жестом). Скажите на милость!

Мужская фигура (падая на колени). Не надо, сэр! Не надо! Это все она, сэр. Только она.

Женская фигура (жалобно скулит). О-о! О-о!

Древний. Кому я сказал — молчать!

Легким ударом в подбородок снизу ставит автомата-мужчину на ноги. Женщина-автомат даже не всхлипывает — так ей страшно. Бессмертные со стыдом и отвращением разглядывают их. Из-за деревьев, что позади храма, выходит древняя.

Древняя. Я кому-то нужна. Что случилось? (Не замечая труп Пигмалиона, подходит слева к женской фигуре.) Фу! (Строго.) Вы наделали кукол? Этим заниматься нельзя: они не только отвратительны — они опасны.

Женская фигура (жалко хлюпая носом). Я не кукла, сударыня. Я всего лишь бедная Клеопатра-Семирамида, царица цариц. (Закрывает лицо руками.) Ох, не смотрите на меня так, сударыня! Я не хотела ему зла. Он сделал мне больно. Ей-богу, больно.

Древний. Эта тварь убила бедного мальчика.

Древняя (увидев наконец труп Пигмалиона). Что? Этого умницу, подававшего такие надежды?

Женская фигура. Он создал меня. Я имела такое же право убить его, как он — создать меня. Почем я знала, что он умрет от такого пустяка. Отрежь он мне руку или ногу, я бы и то не умерла.

Экрасия. Вот вздор!

Марцелл. Может быть, и не вздор. Мне кажется, если ей отрезать ногу, у нее вырастет новая, как у омара или ящерицы.

Древний. Значит, эта пара сделана погибшим мальчиком?

Марцелл. Он изготовил их в лаборатории. Тела лепил я. Это моя вина. Я был неосторожен — не предвидел, что они начнут убивать, выдавать себя за других, говорить заведомую неправду и замышлять зло. Я считал, что они будут просто заводными паяцами.

Мужская фигура. Вы корите нас нашей человеческой природой?

Женская фигура. Мы не ангелы, мы из плоти и крови.

Мужская фигура. Неужели у вас нет сердца?

Архелай. Они не только злодеи, они еще и безумцы. Можно их уничтожить?

Стрефон. Они мерзки.

Новорожденная. Они гадки.

Экрасия. Они вредны.

Акис. Я хотел бы обойтись с этими беднягами помягче, но мне при них как-то не по себе. Впервые в жизни испытываю подобное чувство.

Марцелл. Я немало повозился с ними. Но если остановка только за мной — уничтожайте их. Они с самого начала были мне отвратительны.

Все. Да, да. Они всем нам отвратительны. Кремируем их.

Женская фигура. О, не будьте такими жестокими! Я не в силах умереть. Я больше не стану кусаться. Буду говорить правду. Буду хорошая. Разве я виновата, что так неудачно сделана? Его убейте, а меня пощадите.

Мужская фигура. Нет! Я никому не сделал зла. Это все она. Если хотите, убейте ее. Но вы не имеете права убивать меня.

Новорожденная. Слышите? Каждый хочет, чтобы убит был другой.

Архелай. Чудовищно! Убить обоих!

Древний. Тише! Эти твари — всего-навсего автоматы. Они бессознательно стремятся любой ценой избежать смерти. Как видите, они лишены самообладания и руководствуются лишь цепью рефлексов. Посмотрим, нельзя ли вложить в них немного больше жизни. (Берет мужскую фигуру за руку и кладет другую свою руку ему на голову.) Слушай меня. Один из вас должен быть уничтожен. Кто именно?

Мужская фигура (после легкой судороги и не сводя глаз с древнего). Пощадите ее и убейте меня.

Стрефон. Это уже лучше.

Новорожденная. Куда лучше.

Древняя (проделывая те же манипуляции с женщиной-автоматом). Кого из вас убить?

Женская фигура. Убейте нас обоих. Мы не можем жить один без другого.

Экрасия. Женщина гораздо разумней мужчины.

Древние отпускают автоматов.

Мужская фигура (опускаясь на землю). Я раздавлен. Жизнь — слишком тяжкое бремя.

Женская фигура (падая). Умираю. И рада этому. Я боюсь жизни.

Новорожденная. Мне кажется, будет хорошо, если музыканты поиграют для этих несчастных.

Архелай. Почему?

Новорожденная. Не знаю. Но будет хорошо.

Музыканты играют.

Женская фигура. Слышишь, Озимандия? (Приподнимается, встает на колени и восторженно смотрит в пространство.) Царица цариц! (Умирает.)

Мужская фигура (подползая к ней и беря ее за руку). Знаю: я воистину был царь царей. (Остальным.) Прощайте, призраки! Мы восходим на наш трон. (Умирает.)

Музыка обрывается. Минута гробового молчания.

Новорожденная. До чего забавно!

Стрефон. Еще бы! Древние — и те улыбаются.

Новорожденная. Да, слегка.

Древняя (быстро принимая свой обычный суровый и решительный вид). Отнесите этих тварей в лабораторию Пигмалиона и уничтожьте вместе с прочими отходами. (Тем, кто спешит исполнить ее приказ.) Осторожней! Не прикасайтесь к телам — это опасно. Держите за одежду. А Пигмалиона отнесите в храм и поступите с его останками как положено по обряду.

Трупы уносят в соответствии с ее распоряжениями: Пигмалиона — в храм, взяв его за руки и за ноги; автоматов — куда-то через рощу, держа их только за одежду. Переноской автоматов руководит Марцелл, переноской Пигмалиона — Акис. Экрасия, Архелай, Стрефон и новорожденная опять усаживаются, но меняют при этом места: Стрефон и новорожденная оказываются теперь лицом к роще, Экрасия и Архелай — к храму. Древние по-прежнему стоят у алтаря.

Экрасия (опускаясь на скамью). Хоть бы ветер с гор подул.

Стрефон. Или с моря — там сейчас прилив.

Новорожденная. Как хочется подышать чистым воздухом!

Древний. Потерпите немного — он вот-вот очистится. Куклы, которые делаются детьми, разлагаются очень быстро. А когда их к тому же снедали присущие этим тварям страсти, трупы распадаются и гниют почти мгновенно.

Древняя. Да послужит вам это уроком, дети. Довольствуйтесь впредь неодушевленными игрушками и не пытайтесь делать живые. Что подумали бы вы о нас, древних, если бы мы сделали игрушками вас?

Новорожденная (заискивающе). А почему бы нет? Вы играли бы с нами, и это было бы очень приятно.

Древняя. Нас это не забавляет. Играя друг с другом, вы играете своими телами, и это придает вам гибкость и силу; но если бы мы стали играть с вами, мы играли бы вашими душами и, чего доброго, искалечили бы их.

Стрефон. Вы, древние, — сущие чудовища. Когда мне исполнится четыре года, я покончу с собой. Ради чего вы живете?

Древний. Вырастешь — узнаешь. И не покончишь с собой.

Стрефон. Если ты убедишь меня в этом, я покончу с собой сегодня же.

Новорожденная. Нет, нет! Я хочу тебя. Я тебя люблю.

Стрефон. А я люблю другую. Но она стала старая-престарая. И навеки погибла для меня.

Древний. Сколько ей лет?

Стрефон. Четыре года. Ты видел ее, когда мы плясали и ты натолкнулся на нас.

Новорожденная. Как бы я ненавидела ее еще двадцать минут назад! А теперь я переросла это чувство.

Древний. Вот и хорошо. Такая ненависть называется ревностью. Она — наихудшая из детских болезней.

Из рощи, отряхиваясь и отдуваясь, выходит Марцелл.

Марцелл. Уф! (Садится рядом с новорожденной.) Сделано.

Архелай. Древние, мне хочется сделать с вас несколько этюдов. Разумеется, не портреты — я вас чуточку идеализирую. Я пришел к выводу, что в конце концов вы — самый интересный сюжет.

Марцелл. Что? Неужели два этих страшилища, чей прах я только что с такой радостью высыпал в мусорное ведро бедняги Пигмалиона, не излечили тебя от нелепой страсти к ваянию?

Архелай. Зачем ты сделал их молодыми, глупец? Обратись Пигмалион ко мне, я вылепил бы ему древних. Это не значит, что у меня получилось бы лучше: я всегда говорил, что таких рук, как у тебя, ни у кого нет, но тут нужна голова, и я оказался бы более к месту.

Марцелл. За чем же остановка, умник-разумник? У Пигмалиона в лаборатории работало двое учеников — помогали ему изготовлять кости, ткани и прочее. Они смастерят тебе два новых автомата, а ты придашь им облик древних, если, конечно, вон эта почтенная пара согласится тебе позировать.

Экрасия (решительно). Нет. Довольно с нас автоматов. Они чересчур отвратительны.

Акис (возвращаясь из храма). Все кончено. Бедный Пиг!

Экрасия. Подумай, Акис, Архелай хочет наделать новых мерзких кукол и даже лишить их всякой художественности, придав им облик древних!

Новорожденная (древним). Вы ведь не согласитесь позировать? Пожалуйста, не надо!

Древний. Слушайте, дети.

Акис (сходя со ступеней храма и усаживаясь рядом с Экрасией). Ого! Даже древнему захотелось произнести речь. Говори, о мудрый!

Стрефон. Только, бога ради, не рассказывай, что на земле жили когда-то Озимандии и Клеопатры. У нас без того жизнь нелегкая.

Древний. Она и не должна быть легкой, дитя мое. Но утешься — она может быть захватывающей. А сказать я хотел вот что: дети играют в куклы с тех самых пор, как существуют люди.

Экрасия. Ты все время твердишь: «Куклы, куклы». Объясни, пожалуйста, что это такое.

Древняя. То, что вы именуете произведениями искусства. Изображения. Мы называем их куклами.

Архелай. Вот именно. Вы не понимаете искусства и непроизвольно принижаете его.

Древний. Известно, что дети делают кукол из тряпок. И любовно нянчатся с ними.

Древняя. Восемь веков тому назад, будучи ребенком, я сама сделала тряпичную куклу — такая особенно мила детям.

Новорожденная (с явным интересом). И она у тебя сохранилась?

Древняя. Нет, но я возилась с ней целую неделю.

Экрасия. Очевидно, ты и в детстве не ценила высокого искусства, раз даже тогда увлекалась грубыми самоделками.

Древняя. Сколько тебе от роду?

Экрасия. Восемь месяцев.

Древняя. Вот поживешь с мое и…

Экрасия (грубо перебивая). И, вероятно, тоже буду обожать тряпичные куклы. Но я, благодарение богу, еще в цвете лет.

Древняя. Ты еще не разучилась быть благодарной, хотя и не знаешь — кому. Ты просто маленькое животное, которое то благодарит, то бранится, то…

Акис. То болтает без удержу.

Архелай. И при этом думает, что разбирается в искусстве.

Экрасия (уязвленная). Я не животное, а живое существо с душой, разумом и человеческой плотью. Если бы ты, Марцелл, как следует одухотворил свои автоматы, они получились бы куда более удачными.

Древняя. Здесь-то ты и заблуждаешься, дитя мое. Будь две эти мерзкие твари всего лишь тряпичными куклами, они были бы и забавны, и приятны. Наша новорожденная играла бы с ними, и все вы со смехом подражали бы ей, пока не разорвали бы их в клочья, над чем посмеялись бы еще больше.

Новорожденная. Конечно, посмеялись бы. Разве это не смешно?

Древняя. Если что-нибудь смешит тебя, ищи в этом скрытую истину.

Стрефон. Да, ищи, пока ничего смешного не останется.

Древняя. Не озлобляйся из-за того, что твоя подруга переросла свою любовь к тебе. Новорожденная восполнит твою утрату.

Новорожденная. Да, да. Я дам тебе больше, чем она.

Стрефон. Ты? С твоей-то ревностью?

Новорожденная. Нет, я уже переросла это чувство. Теперь я даже люблю твою подругу за то, что она любила тебя, а ты любишь ее.

Древний. Это уже следующая стадия. Ты быстро идешь вперед, дитя мое.

Марцелл. Какая же все-таки истина скрыта в тряпичной кукле?

Древний. А ты подумай, почему вам мало тряпичной куклы и хочется чего-то более похожего на подлинно живое существо? Вырастая, вы принимаетесь ваять статуи и писать картины. Те из вас, кто не способны к этому, сочиняют сказки про вымышленных кукол. Третьи сами наряжаются куклами и разыгрывают пьесы про них.

Древняя. И чтобы самообман был полным, вы относитесь к куклам настолько серьезно, что Экрасия уверяет, будто изготовление их есть наивысший творческий акт, а слова, вложенные вами им в уста, — благороднейшие и священнейшие истины.

Экрасия. Чушь!

Архелай. Вздор!

Древняя. Но они чем прекрасней, тем дальше от вас. Вы не можете нянчиться с ними, как с тряпичной куклой. Не можете плакать — как плакали из-за тряпичной куклы, — когда они ломаются, теряются или вам кажется, будто они огорчили вас.

Древний. Потом, подобно Пигмалиону, вы начинаете требовать от своих кукол полного совершенства — сходства с живыми существами. Они должны двигаться и говорить.

Древняя. Любить и ненавидеть.

Древний. Думать, что умеют думать.

Древняя. Обладать гибким телом и горячей кровью.

Древний. Наконец, когда вы, как Пигмалион, добиваетесь и этого; когда автомат свергает с трона мраморное изваяние, а гомункул{231} — человека; когда тело и мозг или, по выражению Экрасии, душа, разум и плоть оказываются всего лишь обыкновенными механизмами и ваши побуждения, на поверку, сводятся к простым рефлексам, вы преисполняетесь ужаса и отвращения и готовы отдать все на свете, лишь бы вновь стать такими и вновь играть в тряпичные куклы, потому что с каждым шагом, отдалявшим вас от них, вы все больше отдалялись от любви и счастья. Разве это не правда?

Древняя. Отвечай, Марцелл. Ты ведь прошел весь этот путь.

Марцелл. Да, правда. Я испытал жестокую радость в то мгновение, когда, развив температуру в миллион градусов, увидел, как обе вылепленные мною твари превращаются в безвредный прах.

Древняя. Отвечай, Архелай. Ты ведь поднялся от изображения беззаботных детей до изображения напряженно мыслящих древних. Так это или нет?

Архелай. Отчасти так. Теперь для меня уже мало ваять хорошеньких детей.

Древняя. А ты, Экрасия, по-прежнему цепляешься за свои художественно выполненные куклы и видишь в них наивысшее выражение Жизненной силы?

Экрасия. Не будь искусства, жизнь была бы невыносима: действительность слишком груба.

Новорожденная (предвосхищая очередной вопрос древней). Как видно, теперь мой черед — я ведь родилась здесь на свет позже остальных. Но я ничего не понимаю ни в вашем искусстве, ни в ваших куклах. Я не хочу играть в них, я хочу ласкать своего милого Стрефона.

Акис. Мне уже четвертый год, и я всегда прекрасно обходился без ваших кукол. Предпочитаю не любоваться изделиями Марцелла и Архелая, а бродить по горам. Статуя милей вам, чем автомат, тряпичная кукла — чем статуя. Мне тоже, только человек мне еще милей, чем тряпичная кукла. Мне нужны друзья, а не куклы.

Древний. Однако я заметил, что по горам ты бродишь в одиночку. Не в себе ли ты обрел своего лучшего друга?

Акис. Куда ты клонишь, старик? К чему ведешь?

Древний. К тому, молодой человек, что творить ты способен лишь одно — самого себя.

Акис (задумчиво). Способен творить лишь самого себя? Экрасия, ты у нас умница. Скажи, ты поняла его слова? Я — нет.

Экрасия. Понять их не трудней, чем любое заблуждение невежды. Разве художник может стать более великим, чем его творение? Он способен создать образцовые произведения, но не властен исправить форму собственного носа.

Акис. Ловко! Что ты скажешь на это, старик?

Древний. Зато он способен изменить свою душу. Он мог бы исправить и форму собственного носа, если бы на превращение вздернутого носа в прямой стоило тратить силы. Кому охота претерпевать муки творчества ради пустяка?

Акис. Что ты скажешь на это, Экрасия?

Экрасия. А вот что: если бы древние изучили теорию искусства, они поняли бы, что различие между красивым и уродливым носом бесконечно важно, что, в сущности, только это на свете и важно.

Древняя. Иначе говоря, они поняли бы то, во что не могут верить и во что не верите вы сами?

Акис. Вот именно, сударыня. Искусство лживо, потому я его и не терплю. Оно — сплошное притворство. Экрасия никогда ничего дельного не говорит — только языком мелет.

Экрасия. Ты груб, Акис.

Акис. Ты хочешь сказать, что я не играю и не притворяюсь? Но я не прошу тебя играть со мной. Почему же ты требуешь, чтобы я играл с тобою?

Экрасия. Ты не вправе обвинять меня в притворстве. Я нашла в искусстве счастье, которого не дает мне действительность. Я говорю об искусстве с полной искренностью. В нем есть тайна и волшебство, о которых вы даже не подозреваете.

Древняя. Да, дитя, искусство — магическое зеркало, и оно нужно вам для того, чтобы в зримых образах отражать ваши незримые мечты. Чтобы видеть свое лицо, вы пользуетесь зеркалами из стекла; чтобы видеть свою душу, вы пользуетесь созданиями искусства. Нам же, старшим, не нужны ни зеркала, ни творения искусства. Мы умеем непосредственно чувствовать жизнь. Научившись этому, вы тоже отбросите свои зеркала и статуи, игрушки и куклы.

Древний. Но игрушки и куклы есть и у нас, древних. Они — наша единственная забота.

Акис. Что? У древних тоже бывают заботы? Впервые слышу такое признание от одного из них.

Древний. Взгляни на нас. Взгляни на меня. Вот мои плоть, кровь, мозг, но это — не я. Я — нетленная жизнь, вечное воскресение. Но эта машина (ударяет себя в грудь), это временное устройство, этот организм может быть изготовлен в лаборатории любым мальчиком и не разрушается лишь потому, что я пользуюсь им. Хуже того: он может разбиться, если я поскользнусь, погибнуть от колик в желудке, сгореть от молнии, ударившей из туч. Рано или поздно он будет уничтожен.

Древняя. Да, наше тело — последняя кукла, от которой нам предстоит отказаться. В детстве я тоже была художницей, как твои друзья-ваятели, Экрасия, и тоже стремилась создать совершенство за пределами своего «я»: лепила статуи, писала картины и поклонялась им.

Древний. Я не был таким искусником, но и я, подобно Акису, искал совершенства в друзьях, возлюбленных, природе — словом, за пределами своего «я». Увы! Представить себе это совершенство я мог, достичь его — нет.

Древняя. Я, как Архелай, скоро заметила, что мои статуи, воплощавшие телесную красоту, перестали казаться мне прекрасными. Тогда я пошла дальше — принялась лепить и писать гениальных мужчин и женщин, вроде тех, про которых упоминает предание о Микеланджело. Но, как и Марцелл, я уничтожила свои создания, когда увидела, что в них нет жизни, что они еще мертвее, чем труп, так как даже не разлагаются.

Древний. А я, как Акис, стал бродить по горам без друзей, в одиночку, так как уразумел, что моя творческая сила способна воздействовать лишь на меня одного. А потом перестал и бродить по горам, потому что понял: они мертвы.

Акис (пылко протестуя). Нет! Насчет друзей я, пожалуй, согласен, но горы — всегда горы: у каждой свое название, свой неповторимый облик, мощь, величие, красота…

Экрасия. Что я слышу? Акис стал декламатором?

Древний. Все это лишь метафоры, бедный мой мальчик. Горы — это трупы.

Вся молодежь (возмущенно). Что?

Древний. Да, трупы. В недрах земли, где под чудовищным давлением все еще бушует непостижный уму солнечный жар, камень живет в бешеной пляске атомов, как живем мы, хотя и не так бурно. Выброшенный же на поверхность, он умирает, как глубоководная рыба, и мы видим лишь его холодный труп. Мы дорылись до раскаленного ядра земли, как первобытный человек дорылся до подземных вод, и мы знаем: ничто не выходит живым из этих огненных глубин. Ваши ландшафты и горы — это лишь отмершие чешуйки и выпавшие зубы вселенной, на которых мы живем, как микробы.

Экрасия. Ты кощунствуешь над природой и человеком, древний!

Древняя. Дитя, дитя, будет ли столь же восторжен твой отзыв о человеке, когда ты, подобно мне, наглядишься на него за восемь веков и увидишь, как он погибает от нелепой и все же неотвратимой случайности? Разочаровавшись в куклах, как вот этот мой сверстник разочаровался в друзьях и горах, я обрела высшую реальность в себе самой. Здесь и только здесь для меня открылась возможность творить и создавать. Если рука моя была слаба, я напрягала волю, чтобы сделать ее сильней, и на ней вырастали мускулы. Поняв это, я поняла, что создать себе десять рук и три головы — отнюдь не большее чудо.

Древний. Эти чудеса постиг и я. Я просидел пятьдесят лет, созерцая эту свою силу и напрягая волю.

Древняя. Я тоже. Еще пять лет я превращала себя в самые разные фантастические чудовища: ходила на дюжине ног, работала двадцатью руками и сотней пальцев, смотрела на все четыре стороны сразу восемью глазами на четырех головах. Дети в изумлении убегали от меня, мне приходилось прятаться от них, и древние, давно уже отвыкшие смеяться, мрачно улыбались, проходя мимо.

Древний. Мы все прошли через эти глупости. Пройдете и вы.

Новорожденная. Ах, сделайте, пожалуйста, чтобы у вас выросло побольше рук, ног и голов. Вот будет забавно!

Древний. Мне хорошо и в моем нынешнем облике, дитя. Теперь я пальцем не шевельну даже ради того, чтобы отрастить себе тысячу голов.

Древняя. А я отдала бы все на свете, чтобы у меня совсем не было головы.

Вся молодежь. Что? Совсем не было головы? Как? Почему?

Древняя. Неужели не понимаете?

Вся молодежь (качая головами). Нет.

Древняя. В один прекрасный день, когда мне надоело учиться ходить одними ногами вперед, другими назад и всеми сразу вбок, я присела на скалу, оперлась четырьмя подбородками на четыре ладони, четырьмя локтями на четыре колена, и мне внезапно пришло в голову, что эта чудовищная машина из голов и конечностей имеет к моему «я» ничуть не большее отношение, чем мои былые статуи, что она — всего лишь порабощенный мною автомат.

Марцелл. Что значит «порабощенный»?

Древняя. Тот, кто делает, что ему приказано, — раб; тот, кто приказывает, — господин. Ты, в свой черед, тоже усвоишь эти слова.

Древний. Ты усвоишь и другое: привыкнув к тому, что за него все делает раб, господин уже не может жить без него и сам попадает к нему в рабство.

Древняя. Вот так я догадалась, что стала рабыней раба.

Древний. Открыв это, мы принялись избавляться от лишних голов и конечностей, пока наконец не приняли прежний облик и не перестали пугать детей.

Древняя. Но я по-прежнему в рабстве у своего раба — собственного тела. Как мне избавиться от него?

Древний. Вот это, дети, и заботит древних. До тех пор пока не разорваны узы, связывающие нас с нашим тираном-телом, мы не выполнили своего предназначения.

Новорожденная. В чем же оно?

Древний. В том, чтобы достичь бессмертия.

Древняя. Наступит день, когда люди исчезнут и останется только мысль.

Древний. Это и будет вечная жизнь.

Экрасия. Надеюсь, раньше, чем такой день наступит, со мной уже произойдет роковой несчастный случай.

Архелай. Вот тут я впервые согласен с тобой, Экрасия. Жалок был бы мир, где нет ничего пластичного!

Экрасия. Ни конечностей, ни контуров, ни изящных форм, ни упоительных линий, ни поклонения телесной красоте, ни поэтичных объятий, когда утонченным любовникам кажется, будто руки, которыми они ласкают друг друга, блуждают по небесным холмам и очарованным долинам, ни…

Акис (перебивая ее, с отвращением). Что за противоестественные мысли, Экрасия!

Экрасия. Противоестественные?

Акис. Да, противоестественные. Почему ты никого не любишь?

Экрасия. Я? Да я всю жизнь любила. Еще в яйце сгорала от любви.

Акис. Неправда. Вы с Архелаем оба как каменные.

Экрасия. Ты не всегда так думал, Акис.

Акис. Не спорю. Было время, когда я предлагал тебе свою любовь и домогался твоей.

Экрасия. Разве я отказала тебе, Акис?

Акис. Ты даже не знала, что такое любовь.

Экрасия. Что? Да я обожала тебя, глупец, пока не поняла, что ты всего лишь животное.

Акис. А я сходил по тебе с ума, пока не понял, что ты всего лишь художница. Тебе нравились мои контуры: я ведь пластичен, как выражается Архелай. Я был для тебя не мужчиной, а произведением искусства, которое отвечало твоему вкусу и щекотало твои нервы. Вкус и нервы — вот что подавляло в тебе непосредственный импульс жизни. Меня же влекла только она, я шел прямо к ней, мне скучно было слушать, как ты даешь всякие выдуманные названия различным частям моего тела, превращая его в какую-то географическую карту с горами, долинами и прочей чепухой, — и за это ты объявила, что я животное. Ну что ж, если живого мужчину можно назвать животным, я действительно животное.

Экрасия. Объяснения излишни. Ты не пожелал стать утонченным. Я изо всех сил старалась поднять тебя с твоими первобытными инстинктами до красоты, фантазии, романтики, поэзии, искусства, до…

Акис. Все это хорошо в свое время и на своем месте. Но это не любовь. Это противоестественное искажение ее. Любовь — вещь простая и глубокая, жизненный акт, а не иллюзия. Искусство же — иллюзия.

Архелай. Ложь! Рано или поздно изваяние оживает. Сегодняшние статуи — это мужчины и женщины следующей инкубации. Я показываю будущей матери мраморную статую и говорю: «Копируй эту модель». Мы воспроизводим то, что видим. Никто не смеет вносить в искусство то, на что не хочет смотреть в жизни.

Марцелл. Да, я прошел через все это. Однако ты сам ваяешь древних вместо прекрасных нимф и пастухов. А ведь Экрасия права, уверяя, что древние антихудожественны. Они действительно чертовски антихудожественны.

Экрасия (с торжеством). Ага! Наш великий мастер оправдывает меня. Благодарю, Марцелл.

Марцелл. Тело в конце концов всегда надоедает. Неизменно интересна и прекрасна только мысль, потому что мысль — это жизнь. По-моему, того же мнения и наши древние.

Древняя. Совершенно верно.

Древний. Без сомнения.

Новорожденная (древнему). Но стать ничем нельзя. Чем же ты хочешь быть?

Древний. Вихрем.{232}

Новорожденная. Чем? Чем?

Древняя. Вихрем. Я начала с того, что была им. Почему бы не кончить тем же?

Экрасия. А, вот кто такие вы, старики! Вы — сторонники вихревой теории.

Акис. Но если жизнь — это мысль, можете ли вы жить без головы?

Древний. Теперь, вероятно, уже не мог бы. Однако доисторические люди полагали, что нельзя жить без хвоста, а я живу без него. Почему бы не жить и без головы?

Новорожденная. Что такое хвост?

Древний. Привычка, от которой твои предки постарались избавиться.

Древняя. Теперь мы больше не верим, что наше тело, этот механизм из плоти и крови, так уж нам необходимо. Оно отмирает.

Древний. Оно держит нас в плену у нашей ничтожной планеты и не дает нам подняться к звездам.

Акис. Но даже вихрь мыслим лишь в чем-то. Нет водоворота без воды, нет вихря без газа, молекул, атомов, ионов, электронов и прочего. Где нет ничего, там нет и вихря.

Древний. Неверно. Вихрь — не вода, не газ, не атомы, а власть над всем этим.

Древняя. Тело было рабом вихря, но раб стал господином, и мы должны освободиться от его тирании. Все это (указывает на себя) — плоть, кровь, кости и прочее — невыносимая обуза. Даже первобытный человек мечтал о том, что именовал астральным телом, и задавался вопросом, кто же освободит его от смертной оболочки.

Акис (он явно ничего не понял). На вашем месте я бы поменьше думал о таких вещах. Этак и с ума сойти недолго.

Древние переглядываются, пожимают плечами и собираются уходить.

Древний. Нам пора, дети. Мы с вами слишком засиделись.

Вся молодежь, заметно оживившись, встает.

Архелай. Ничего, ничего.

Древняя. Нам это тоже скучно, дети. Видите ли, для того, чтобы вы поняли нашу мысль, нам пришлось облекать ее в чересчур грубую форму.

Древний. Боюсь, что это не помогло.

Стрефон. Вы, право, были очень любезны, что вообще пришли поговорить с нами.

Экрасия. Почему остальные древние никогда не заглядывают сюда, чтобы потолковать с нами?

Древняя. Им это очень тяжело. Они разучились говорить, читать, даже думать на ваш манер. Мы и общаемся друг с другом, и воспринимаем мир не так, как вы.

Древний. Мне все трудней изъясняться на вашем языке. Лет через сто-двести это станет совсем невозможно, и мне придется подыскать себе на замену пастыря помоложе.

Акис. Нам, разумеется, всегда приятно видеть вас, но если уж вам невмоготу с нами, мы преспокойно обойдемся без вас.

Древняя. Скажи, Акис, ты никогда не задумывался о том, что проживешь, может быть, тысячи лет?

Акис. Ах, не надо про это! Я отлично знаю: на то, что разумный человек может назвать жизнью, мне отпущено всего четыре года и три с половиной из них уже прошли.

Экрасия. Не сердитесь, древние, но, честное слово, ваше существование трудно назвать жизнью.

Новорожденная (чуть не плача). Ох, как ужасно, что она у нас такая короткая! Нет, я этого не вынесу.

Стрефон. А вот у меня все уже решено. Как только мне исполнится три года пятьдесят недель, со мной произойдет несчастный случай. Только произойдет он не случайно.

Древний. Мы очень устали от разговоров. Мне нужно идти.

Новорожденная. Что значит «уставать»?

Древняя. Это значит расплачиваться за то, что присматриваешь за детьми. Прощайте!

Древние уходят в разные стороны: она — в рощу, он — на холм позади храма.

Все (с глубоким вздохом облегчения). Уф!

Экрасия. Ужасные люди!

Стрефон. Вот надоеды!

Марцелл. А все-таки до чего хочется пойти за ними, заглянуть в их жизнь, проникнуть в их мысли, понять вселенную, как они ее понимают!

Архелай. Стареешь, Марцелл?

Марцелл. Что ж, я действительно покончил с куклами и больше не завидую тебе. Похоже, это конец. Мне уже достаточно двух часов сна. И боюсь, что начинаю считать вас довольно глупыми.

Стрефон. Мне это знакомо. Сегодня утром моя возлюбленная покинула меня. Последние недели она совсем не спала. И нашла, что математика интересней, чем я.

Марцелл. До нас дошло доисторическое изречение, принадлежащее одной из знаменитых наставниц. Оно гласит: «Брось женщин и займись математикой». Это единственный уцелевший фрагмент утерянного сочинения, которое называлось «Исповедь блаженного Августина, англичанина-опиомана». Эта первобытная дикарка была, видимо, великим человеком, коль скоро сумела сказать слова, пережившие триста веков.{233} Я тоже брошу женщин и займусь математикой, которою слишком долго пренебрегал. Прощайте, дети, сотоварищи мои по играм. Расставаясь с вами, мне следовало бы расчувствоваться, но правда всегда холодна и состоит она в том, что вы мне надоели. Не сердитесь: ваш черед тоже не за горами. (Торжественной поступью удаляется в рощу.)

Архелай. От нас уходит человек великого духа. Каким он был ваятелем! А теперь станет ничем. Это все равно как если бы он отрубил себе руки.

Новорожденная. Неужели вы все покинете меня так же, как он — вас?

Экрасия. Никогда! Мы же дали клятву.

Стрефон. А что толку? Она поклялась. Он поклялся. Мы поклялись. Они поклялись.

Экрасия. У тебя получается, как в грамматике.

Стрефон. А разве не так положено говорить? Все мы будем клятвопреступниками.

Новорожденная. Не надо так. Ты огорчаешь нас и прогоняешь свет. Смотри, как стало темно.

Акис. Это спускается ночь. Завтра опять будет светло.

Новорожденная. Что такое «завтра»?

Акис. День, который никогда не наступает. (Поворачивается и направляется в храм.)

Все стягиваются к храму.

Новорожденная (удерживая Акиса). Это не ответ. Что…

Архелай. Замолчи. Не годится, чтоб ребенка слышали, — его должны только видеть.

Новорожденная показывает ему язык.

Экрасия. Это некрасиво. Никогда так не делай.

Новорожденная. Я буду делать, что захочу… Но со мной что-то происходит. Мне хочется прилечь. У меня слипаются глаза.

Экрасия. Ты засыпаешь. А потом проснешься.

Новорожденная (сонно). Что значит «засыпать»?

Акис. Не спрашивай — и тебе не будут лгать в ответ. (Берет ее за ухо и ведет к храму.)

Новорожденная. Ай-яй-яй! Не надо. Я хочу, чтобы меня несли. (Падает на руки Акису, и тот уносит ее в храм.)

Экрасия. Довольно дуться, Архелай. Ты, по крайней мере, остался художником. Я обожаю тебя.

Архелай. Вот как? К сожалению, я больше не ребенок. Я слишком стар для нежностей. Могу только любоваться твоей фигурой. Этого с тебя довольно?

Экрасия. Любоваться? На каком расстоянии?

Архелай. Не ближе вытянутой руки.

Экрасия. Благодарю. Это не для меня. (Отворачивается.)

Архелай. Ха-ха-ха! (Входит в храм.)

Экрасия (Стрефону, стоящему уже на пороге храма). Стрефон!

Стрефон. Нет. Мое сердце разбито. (Входит в храм.)

Экрасия. Неужели мне предстоит провести ночь одной? (Озирается, ища глазами другого партнера, но все уже ушли.) Что ж! В конце концов, я всегда могу помечтать о любовнике поблагородней вас. (Входит в храм.)

Окончательно стемнело. Возле храма возникает бледное сияние, превращающееся в призрак Адама.

Женский голос (в роще). Кто здесь?

Адам. Призрак Адама, праотца человечества. А ты кто?

Голос. Призрак Евы, праматери человечества.

Адам. Подойди, жена, и покажись мне.

Ева (выходя из рощи). Вот и я, супруг. Какой же ты старый!

Голос (с холмов). Ха-ха-ха!

Адам. Кто это? Кто дерзает смеяться над Адамом?

Ева. Кто отважился смеяться над Евой?

Каин. Призрак Каина, первого ребенка и первого убийцы. (Появляется между ними.)

Одновременно с этим раздается протяжное шипение.

Кто смеет шипеть на Каина, властелина смерти?

Голос. Призрак змеи, которая жила еще до Адама и Евы и научила их, как произвести на свет Каина.

Змея, обвившаяся вокруг дерева, становится видимой.

Новый голос. Но кое-кто пришел в мир раньше, чем змея.

Змея. Это голос Лилит, той, что была и отцом и матерью сразу. Привет тебе, Лилит!

Между Каином и Адамом возникает Лилит.

Лилит. Я невыразимо страдала, разрывалась на части, утратила жизнь, но создала из своей плоти два эти существа — мужчину и женщину. И вот что из этого вышло. Как ты понимаешь это, сын мой Адам?

Адам. Я обрабатывал землю и заставил ее плодоносить; я любил женщину, и она родила. И вот что из этого вышло. Как ты понимаешь это, жена моя Ева?

Ева. Я вскормила яйцо в своем теле и напитала его своей кровью. А теперь женщины кладут яйца, как птицы, и не ведают страданий. Как ты понимаешь это, первенец мой Каин?

Каин. Я изобрел убийство, победу, торжество и господство сильного над слабым. Ныне же сильные истребили друг друга, а слабые живут вечно, и от дел их никому нет пользы. Как ты понимаешь это, змея?

Змея. Я доказала свою правоту, ибо избрала мудрость и познание добра и зла. Ныне же зла нет, а мудрость и добро нераздельны. Этого с меня довольно. (Исчезает.)

Каин. Для меня на земле не осталось места. Я прожил свое, и никто не скажет, что я прожил плохо. Но теперь!.. Угасни, слабый огонек! (Исчезает.)

Ева. Умники всегда были моими любимцами. Землекопы и воины зарыли себя в землю, к червям. А мир достался умникам. Все хорошо. (Исчезает.)

Адам. Ничего не понимаю, ну вовсе ничего. К чему все это? Отчего? Откуда? Куда идет? Нам было совсем неплохо в саду. А эти дураки перебили всех животных и недовольны, потому что им надоедает возиться с собственным телом. Вот уж глупость-то! (Исчезает.)

Лилит. Люди приняли на себя бремя вечной жизни. Они научились рождать без мук, и жизнь не прекращается для них даже в миг распада плоти. В груди у них нет молока, чрево их пусто, а тело стало просто красивой оболочкой, которою любуются и которую ласкают их дети в неразумии своем. Довольно ли этого? Или мне опять приняться за труд и произвести на свет нечто такое, что истребит и уничтожит людей, как истребили они зверей в своем саду, уничтожили и тех, кто ползал, и тех, кто летал, — всех, кто отверг вечную жизнь? Я терпела много веков, и люди жестоко испытывали мое терпение. Они творили страшное — бросались в объятия смерти и объявляли вечную жизнь выдумкой. Я смотрела на порождения свои и удивлялась, как много в них злобы и страсти к разрушению. Марс — и тот покраснел, глядя на позор своей сестры — их планеты. Жестокость и лицемерие стали настолько гнусными, что лицо земли усеялось детскими могилами, меж которых ползали живые скелеты в поисках мерзостной пищи. Я уже чуяла приближение новых родовых мук, когда один человек раскаялся и прожил триста лет. Тогда я решила подождать и посмотреть, что из всего этого выйдет. А вышло так много, что ужасы былых времен кажутся теперь дурным сном. Люди искупили свои беззакония и отвернулись от своих прегрешений. Лучше же всего то, что они все еще не знают удовлетворения. Толчок, который я дала им в день, когда, разорвавшись надвое, создала на земле мужчину и женщину, движет ими и поныне. Пройдя миллионы рубежей, они идут к новому — к освобождению от плоти, к превращению в нематериальный вихрь, к водовороту чистого разума, который в начале времен был водоворотом чистой энергии. И хотя все сделанное ими — лишь первое усилие в бесконечном труде творения, я не уничтожу их, пока они не преодолеют последнюю преграду, отделяющую плоть от духа, и не сорвут с жизни путы всегда насмехавшейся над ней материи. Я могу ждать — что такое терпеливое ожидание в сравнении с вечностью? Я дала женщине величайший дар — любопытство. Этот дар спас ее потомство от моего гнева, ибо я сама любопытна и потому выжидала, желая посмотреть, что же люди будут делать завтра. Пусть они и впредь питают во мне это чувство. Я хочу сказать: пусть они больше всего страшатся остановиться, ибо как только я, Лилит, утрачу надежду на них и веру в них, они будут осуждены. Движимая этой надеждой и верой, я на миг сохраняла жизнь, и такие миги повторялись много-много раз. Были существа, более могучие, чем они; но эти существа убили во мне надежду и веру и исчезли с лица земли. Людей я тоже не могу щадить вечно. Я — Лилит, я привнесла жизнь в водоворот энергии, я заставила врага моего, материю, покориться живой душе. Но, превратив врага жизни в ее раба, я сделала его господином жизни, потому что этим кончается всякое рабство, и теперь я увижу, как раб получит свободу, враг примирится, водоворот станет жизнью и материя исчезнет. А так как младенцы, именующие себя древними, уже подходят к этому рубежу, я потерплю их еще, хотя знаю, что, достигнув его, они станут наравне со мной и вместо меня, и Лилит превратится лишь в легенду, в предание, утратившее всякий смысл. Бесконечна только жизнь, и хотя мириады ее звездных дворцов покамест необитаемы, а другие мириады и вовсе не построены, хотя необозримые ее владения все еще безотрадно пустынны, будет день, и семя мое утвердится в них, подчинив себе материю до последнего предела. А что за этим пределом — этого не различает даже взор Лилит. Довольно и того, что за ним что-то есть. (Исчезает.)

Комментарии и примечания

Авторы послесловий к пьесам — Н. Я. Дьяконова («Назад к Мафусаилу», «Святая Иоанна») и А. А. Долинин («Назад к Мафусаилу», «Тележка с яблоками», «Горько, но правда»). Автор примечаний ко всем предисловиям Шоу и к пьесе «Назад к Мафусаилу» — С. Л. Сухарев, примечаний к пьесам «Святая Иоанна», «Тележка с яблоками» и «Горько, но правда» — А. Н. Николюкин.

Назад к Мафусаилу

После первой мировой войны заметно меняется общее направление творчества Шоу. Если ранее драматург, ниспровергая привычные условности и расширяя тематический диапазон современного театра, обычно пользовался его жанровыми стереотипами («камерная» бытовая комедия, мелодрама, историческая пьеса) как объектами для пародирования и иронического переосмысления, то теперь он начинает разрабатывать принципиально новые жанры — «фантазии» («Дом, где разбиваются сердца»), «политические экстраваганцы» («Тележка с яблоками», «Горько, но правда»), драматические памфлеты («Женева», «На мели»).

Особое место в этом ряду, да и особое место во всем творческом развитии Шоу, занимает грандиозная философская пенталогия «Назад к Мафусаилу». Ее общий замысел начал складываться у писателя еще в начале 1918 г., когда он приступил к работе над пьесой-утопией, действие которой должно было охватить многие десятки веков. К лету 1918 г., по свидетельству самого Шоу, пьеса была закончена, но драматург остался недоволен ею и решил «превратить каждый акт в отдельную пьесу»[10]. Работа над пенталогией растянулась на три года. Первоначально задуманная и написанная Шоу пьеса составила ее вторую и третью части, затем он начал работать над четвертой, бросил ее, написал первую часть, завершил четвертую и, наконец, весной 1920 г. закончил последнюю.[11] Дополненная огромным, как никогда, предисловием[12], в котором Шоу изложил целую систему философских, экономических и социальных воззрений, пенталогия с одинаковой силой выразила его гнев, презрение, разочарование в человеке, каков он есть, и надежды на человека, каким он может стать. Это одновременно и обвинительный акт, и программа, обличение реальности и утопия фантастического будущего.

Никогда еще не было задумано и осуществлено произведение большего масштаба. Время и пространство здесь предельно раздвинуты. Перед нами весь земной шар, и его история развивается на протяжении десятков тысячелетий, переходя от простейших отношений первых людей к сложным, невиданным формам грядущего.

Как почти всегда у Шоу, в «Мафусаиле» синтезируются разнородные течения умственной жизни Европы за последнее столетие, с одной стороны, и не менее разнородные художественные влияния, испытанные им на протяжении долгой жизни, — с другой. По общему мнению критиков, Шоу-художник оказывается прежде всего учеником пуританина XVII в. Джона Беньяна, автора знаменитой аллегорической повести «Путь паломника», в которой жизнь человеческая описана как странствие, ведущее от греха и страдания через благодать в город вечной радости; но не менее обязан он оперной трилогии Вагнера «Кольцо нибелунга», которой увлекался с юности и о которой написал трактат «Совершенный вагнерианец», где предпринял попытку соединить вагнерианское мифотворчество с марксистским анализом истории.[13]

Еще более сложно переплетение идейных источников пенталогии Шоу. Исследователи называют среди них книгу Шопенгауэра «Мир как воля и представление», «Симпозиум» и «Республику» Платона, «Капитал» Карла Маркса, утопический роман Булвера Литтона «Грядущее племя людей», «Творческую эволюцию» Анри Бергсона, а также многочисленные биологические сочинения последнего столетия, и в первую очередь работы Ламарка и Сэмюэля Батлера — английского писателя и биолога-дилетанта, который подверг ожесточенной критике Дарвина и дарвинизм. Сочетание, бесспорно, очень пестрое. Если же прибавить к этому, что писатель явно ориентировался на традиции свифтовской сатиры и что в пенталогии ведется открытая и скрытая полемика с десятками мыслителей, поэтов, ученых и социологов, то станет ясно, какой огромный интеллектуальный материал синтезировал Шоу в «Мафусаиле».

Главным стимулом к созданию пенталогии послужило убеждение Шоу в том, что первая мировая война обнаружила перед лицом всего мира полное банкротство политической и религиозной мысли целой эпохи. Как вспоминал сам Шоу впоследствии, «если бы мне сказали, что в один прекрасный день я напишу цикл пьес, столь же невероятный по всем канонам нашей профессии, как вагнеровское „Кольцо“ в 1866 г. в Германии […] я бы поднял на смех этого пророка и счел бы его самым экстравагантным безумцем в мире. Но […] когда младенческое безрассудство наших государственных деятелей достигло своей высшей точки в оргии кровавой резни и разрушения, смерти и проклятий, которая именовала себя войной ради прекращения всех войн […] я написал не одну пьесу, а целых пять»[14].

Убежденный противник войны, Шоу в своих статьях и речах гневно выступал против тупого шовинизма официальной британской пропаганды, разоблачал ее псевдопатриотические мифы, с негодованием писал о лицемерии тех, кто объявляет грызню обезумевших от алчности империалистов священной битвой за спасение цивилизации от варваров-гуннов. Как объяснял Шоу десять лет спустя в статье «Что я на самом деле написал о войне», он, в сущности, протестовал против «отравления человеческой души ненавистью, против затемнения человеческого ума — ложью, против ожесточения человеческого сердца — резней, разрушением и голодом»[15]. Бессмысленная бойня, обнажившая все самое дурное в человеке и показавшая полный крах западной цивилизации, убедила Шоу в том, что «мир нуждается в новой редакции»[16]. Вопреки всеобщей ненависти, вопреки всеобщему помрачению разума, он считает себя обязанным утвердить новую систему ценностей и выдвинуть программу совершенствования рода человеческого, его облагораживания и возвышения. Воплощением этой программы и стала пенталогия. Хотя многие, во всяком случае основные ее идеи высказывались драматургом и ранее, еще на грани, разделяющей столетия, хотя даже начатки новых форм, в ней разработанных, можно найти и в более ранних пьесах, но только в «Мафусаиле» они находят полное, завершенное выражение.

Вопросы, которые Шоу ставит и пытается разрешить в пенталогии, носят поистине глобальный характер — что есть человек? что есть прогресс? неизбежна ли смерть? В чем причина зла и страданий? — причем рассматриваются все они с точки зрения биологической эволюции. Такой подход к проблеме был для Шоу уже не новым. За много лет до «Мафусаила», в 1887 г., в неопубликованной лекции, рукопись которой сохранилась в архивах Британского музея, Шоу говорил о том, что социальный прогресс невозможен без прогресса биологического[17], а в «Человеке и сверхчеловеке» впервые прославил ту Жизненную силу, которая, как считал драматург, является причиной и двигателем биологической эволюции. В этом смысле «Интермедия в аду», один из героев которой, Дон Жуан, провозглашает неизбежную победу жизни и разума над силами зла и разрушения, может считаться прямой предшественницей «Мафусаила». Творческое, разумное начало, по убеждению Шоу, восторжествует в человеке, изменит его и превратит в «сверхчеловека», то есть выведет на новый этап эволюции. Ницшеанская терминология прилагается здесь к идее, в корне отличной от антисоциальной концепции немецкого философа: у Шоу речь идет не о преобладании одной личности над другими, но об образовании целой породы «сверхлюдей».[18]

Однако лишь в пенталогии эволюционные идеи Шоу были развиты в единую стройную систему — все, что в «Человеке и сверхчеловеке» было едва намечено, высказано бегло, в вызывающе парадоксальной, фарсовой форме, приобрело здесь пророческий характер. Проблема эволюции из периферийной превратилась в центральную; она стала тем идейно-смысловым стержнем пенталогии, который скрепил воедино все ее разрозненные части; к ней протянулись нити лейтмотивов, при помощи которых Шоу строит многомерную и многослойную картину бытия человека в истории. Как писал сам драматург, его главная мысль на этот раз состояла не в том, «чтобы дать героев в комическом освещении… а в том, чтобы показать развитие церкви, брака, семьи, парламента… в широком жизненном охвате»[19].

В предисловии к пенталогии Шоу с особенной детальностью и тщательностью объясняет свои цели и намерения.[20] Чудовищное злодеяние мировой войны показало иллюзорность излюбленного представления буржуазных социологов о непрерывности общественного прогресса. Если государства, почитающие себя демократическими и культурными, допустили превращение половины Европы в развалины и обрекли вторую половину на муки голода, это значит, что средствами политическими, экономическими, административными, общественными, которыми так гордятся современные люди, не только нельзя добиться успеха, но нельзя и предотвратить катастрофу. Следовательно, рассуждает Шоу, необходимо подумать о способе усовершенствовать не общество, не государственную машину, не методы управления, как делалось до сих пор, а самого человека.

Рассуждения, очень близкие этим, звучали в статьях, письмах и стихах писателей гораздо более ранних времен. Звучали они, например, в сочинениях английских романтиков, отчаявшихся в эффективности политических преобразований. Но у Шоу эти рассуждения принимают иное направление. Почитатель великих естественников XIX в., наследник философов-просветителей и материалистов XVIII столетия, Шоу думает о совершенствовании человека не в отвлеченно идеальных, но в научных, прежде всего биологических категориях. Для того чтобы возвыситься над своим нынешним состоянием, человек должен получить в распоряжение больше времени для развития своих природных данных. По словам самого Шоу, его пенталогия дает драматическое воплощение тезису о том, что наше поведение определяется не только прошлым, но и ожидаемым опытом и жизнь наша в настоящее время недостаточно длинна для того, чтобы мы могли принимать ее всерьез.

Если бы человек мог в течение ста лет учиться, сто лет управлять и сто лет играть роль оракула и пророка, он имел бы возможность в полной мере проявить свои способности и участвовать в организации разумного и достойного существования. Триста лет жизни, с точки зрения Шоу, и есть минимальный срок, необходимый для улучшения рода человеческого[21]. Добиться такого долголетия можно, только если, осознав необходимость его, люди страстно пожелают продлить свою жизнь. Осознанная потребность порождает напряженное желание, и оно, будучи биологически целесообразно, постепенно осуществляется.

Вслед за своим учителем Батлером, который обрушился на Дарвина за то, что тот изгнал из вселенной сознание[22], Шоу в своем предисловии резко и в целом неосновательно критикует «механистичность» и «бездушие» дарвиновского учения о борьбе за существование и выживание наиболее приспособленных особей, ибо по этому учению развитие совершается со слепой необходимостью, между тем как все организмы обладают известной степенью сознательности, памяти, воли, и, если они пытаются развить какой-нибудь орган или какое-нибудь свойство, они в этом непременно через некоторое время преуспевают и таким образом способствуют образованию нового и более высокого качества.[23]

Для разработки нового органа или новых его функций Шоу, как и Батлер, придает значение наследственности — та или иная функция, то или другое умение «вспоминаются», поскольку они уже до рождения данного индивида были усвоены его предками и потому передаются ему в виде неосознанного воспоминания. Как и Батлер, Шоу в своей борьбе против Дарвина ссылается на авторитет опровергнутого Дарвином Ламарка и объявляет его создателем истинно плодотворного эволюционного учения. Характерно, что из всего наследия Ламарка Батлер ухватился только за идею о наследовании приобретенных признаков. Если под влиянием необходимости родители развивают какие-либо свойства (например, особенную силу или ловкость), ее наследуют и дети. В этом Ламарк видел указатель целесообразности процессов развития, его телеологической оправданности, — то есть как раз то, что полностью отрицал Дарвин, показавший на огромном материале отсутствие сознательной цели в эволюционном процессе.

В споре с Дарвином Шоу следует именно ламарковской телеологической концепции эволюции и видит в ней постепенное осуществление воли развивающегося индивида и заключенной в нем Жизненной силы. Этот термин принял Батлер, а за ним и Шоу, восхищенный тем, что, вопреки железным и слепым законам, которыми оперировал Дарвин и его последователи, в учение о развитии вводятся субъективные факторы — стремление, вера, энергия осознанного желания. Он убежден в том, что в ходе творческой эволюции «ты воображаешь то, чего желаешь, ты хочешь то, что воображаешь, и наконец, ты создаешь то, что хочешь». Жизнь мыслится Шоу как «неутомимая сила, которая неизменно влечется вперед и вперед… перерастая изнутри под давлением собственной неизъяснимой энергии во все более высокоорганизованные формы»[24]. Шоу наивно полагал, что теории Дарвина и более поздних естествоиспытателей — такие же умозрительные построения, как те, что возводились старыми натуралистами, и так же могут быть опровергнуты с помощью других умозрительных построений, вроде Жизненной силы и Отбора Силою Обстоятельств.

В отличие от Батлера, Шоу сближает Жизненную силу с интеллектом. Просветительская «влюбленность в мысль»[25], страстный интеллектуализм заставляют его искать главный двигатель сущего в разуме[26]. Однако вместе с Батлером Шоу нападает на дарвинистов, особенно на так называемых неодарвинистов. Как и Батлер, он недостаточно ясно отделяет Дарвина и его последователей — сторонников эволюции в биологии — от буржуазных социологов (социал-дарвинистов), прилагавших естественнонаучные понятия к социальной действительности и считавших общественные явления — неравенство, эксплуатацию, угнетение, несправедливость — такими же фатально неотвратимыми, как установленные Дарвином законы природы Не понимая, что в общественных отношениях господствуют гораздо более сложные — и просто другие — закономерности, социал-дарвинисты подменяли классовую борьбу «всеобщей борьбой за существование», якобы оправдывающей капиталистический строй в его самых неприглядных формах. Шоу утверждал поэтому, что именно неодарвинисты повинны в ужасах войны: объявляя борьбу за существование важнейшей закономерностью любого общества, они тем самым оправдывали своекорыстие, хищничество и захватническую политику правящих классов, которые и были конечной причиной кровопролитных сражений 1914 – 1918 гг.

Силам хаоса и нравственного распада Шоу стремится противопоставить новую религию, свободную от догматизма христианства и мрачных пророчеств Ветхого завета. Этой новой религией должна, по его мнению, стать «творческая эволюция» — термин, выдвинутый в одноименной работе французского философа Анри Бергсона, но переосмысленный Шоу для обозначения его концепции рационального преобразования природы человека.[27]

«Назад к Мафусаилу» состоит из пьес, связанных между собой только единством общей организуюшей мысли, единством идеи о необходимости и условиях биологического прогресса. Шоу задумал написать историю мира от сотворения его до того далекого будущего, которое теряется за пределами, доступными мысли. Разумеется, «Мафусаил» представляет собой очень специфическую историю, которая уходит одним концом в миф, а другим в утопию. В этом смысле пенталогия Шоу становится одним из первых в западной литературе XX в. мифотворческих построений, граничащих с расширенной философской притчей. Художественные приемы такого произведения по необходимости должны быть совершенно новыми, в корне отличными от традиционно реалистических, и в соответствии с огромными масштабами как бы укрупненными, сверхнаглядными, броскими, ярко эффектными. Вместе с тем, сохраняя разработанные у Шоу принципы интеллектуальной, дискуссионной драмы, «Мафусаил» в большой мере публицистичен, наполнен до явного излишества теоретическими, отвлеченными беседами, сводящими драматическое действие почти к нулю.

В первой части пенталогии изображаются первые люди в раю. В согласии с библейской легендой, они внимают поучению змеи и совершают первое грехопадение. Но легенда преображается. От змеи Ева узнает великую тайну бытия, тайну Жизненной силы — воображения, воли, претворяющейся в действие и в целесообразные трансформации.

В духе интеллектуальной драмы Шоу строит свою на скрытой и явной литературной и философской полемике. Переосмысляется не только библейская легенда, не только христианское толкование греха — оно всегда претило Шоу, — но и концепция «Потерянного рая» в поэме Мильтона: вместо прекрасной идиллии в райском саду Шоу изображает Адама, который с одинаковым ужасом взирает на смерть и на перспективу вечной жизни, и Еву, которая ворчит на мужа как самая обыкновенная из земных жен. В свою очередь, сын Адама и Евы — Каин представляет любопытную пародию на знаменитого героя одноименной мистерии Байрона: вместо величественного мрачного образа первого бунтаря против миропорядка, убившего брата во внезапной вспышке справедливого гнева и сразу осознавшего неумолимую трагедию бытия, в силу которой всякая борьба, даже в защиту добра, оборачивается злом, появляется веселый наглый убийца, влюбленный в себя и уничтожение и подвергающий опасности основы существования на земле. Шоу видит в нем воплощение определенного типа поведения и мышления, возникшего на заре существования человечества, воспринятого цивилизацией и опасного для творческой эволюции. Для драматурга воинская доблесть Каина — это внешнее проявление «стремления к смерти», которое, как проклятье, тяготеет над человечеством, не позволяя ему сделать «эволюционный скачок». Для замысла Шоу важно, что Каина отвергает родная мать, ибо она — символ животворящей силы, побеждающей смерть.

В указаниях для театров Шоу всячески подчеркивал связь образа Каина с современностью. Каин, писал он, должен напоминать кавалерийского офицера, но отнюдь не дикаря: «В отличие от Адама, он цивилизован, он джентльмен»[28]. Так уже в «райском эпизоде» вводится тема современной цивилизации, для которой война и воинственность столь же типичны, как и для Каина. Уже здесь намечен основной конфликт всей пенталогии — конфликт между Жизненной силой и «стремлением к смерти»; уже здесь вырисовывается общая картина эволюции человечества: от примитивного, природного бытия Адама к мнимой цивилизации Каина и дальше, в пока еще слабо различимое грядущее. И поэтому закономерно, что вторая часть пенталогии — «Евангелие братьев Барнабас» — переносит читателя или зрителя в двадцатый век — к следующему порогу, за которым начинается новый этап эволюции.

Мотив преодоления смерти, центральный в первой части, сохраняет организующее значение и здесь, но конкретизируется, облекается в религиозную форму и освящается авторитетом науки. «Благая весть» — буквальный перевод слова «Евангелие» — о даровании людям трехсотлетней жизни в целях совершенствования их природы — исходит от двух братьев — бывшего священника и политика Франклина и ученого-биолога Конрада. Сочетание это символизирует союз науки и новой религии и одновременно отказ от прежней. Братья опираются, с одной стороны, на данные науки, которая устами Вейсмана предположила возможность для человека продлить свою жизнь, и с другой стороны — на острую необходимость новой веры взамен подорванной злодеяниями прошлых лет старой веры.

Новая вера, в отличие от прежней, должна быть не источником бесплодных ограничений, зачастую лицемерных или продиктованных корыстолюбием власть имущих, но, напротив, стимулом невиданных порывов и дерзаний. Эти дерзания порождаются потребностью, в свою очередь рожденной дискредитацией и обесцениванием всего политического механизма, который регулирует современную действительность.

«Евангелие», возвещенное братьями Барнабас, органично вырастает из сатиры, которая по остроте и безжалостности приближается к театру Шоу во времена его расцвета. Страдания и преступления войны остаются здесь за сценой, но они кажутся тем менее простительными, что их ценою покупается благополучие бессовестных и бесстыдных политиканов. Министры Генри Гопкинс Лубин и Джойс Бердж являются откровенными карикатурами на двух крупных деятелей времен первой мировой войны Асквита и Ллойд Джорджа.

По давно испытанному методу сатирической характеристики Шоу придает обоим противникам ровно столько индивидуализирующих их облик черточек, сколько необходимо для того, чтобы ясно увидеть, как ничтожно различие между ними: если Лубин, бывший премьер, любезен, изыскан в обращении, полон светских талантов и классической образованности, то Бердж резок, грубоват, неотесан; если Лубин ленив, пассивен и предпочитает карточную игру исполнению своих прямых обязанностей, то Бердж деятелен, энергичен, всегда готов пуститься в любую интригу и борьбу. Один оттеняет и как бы комментирует свойства другого, они составляют комический дуэт, хорошо понятный осведомленным в политике современникам. Но чем более подчеркивается различие, чем более оно усилено взаимными обличениями, тем более очевидна единая внутренняя основа столь различных внешних проявлений: каждый со всей силой праведного гнева критикует в другом собственные недостатки.

Единство этой основы определяется общей для них обоих беспринципностью, леностью мысли, моральной и политической безответственностью. Во время войны они, равнодушные к переживаемым миллионами мучениям и утратам, думают только о том, чтобы усидеть в удобных правительственных креслах и использовать повороты в исторических судьбах Европы для хитроумной парламентской комбинации. Полный цинизм обоих ни в чем так не ясен, как в проницательной тождественности их взаимных обвинений: они показывают, что каждый видит в другом зеркальное отражение собственной низости.

Прожженный хитрец Лубин негодует по поводу иллюзий, которые Бердж использует как пучок морковки, чтобы заставить «тупого британского осла» голосовать за него, а Бердж возмущен бесчестной парламентской игрой Лубина, его праздностью и дешевым красноречием. Ни один из них не изображен у Шоу как человек злой или желающий зла. Ужас заключается в полной интеллектуальной и нравственной незрелости лиц, облеченных властью; она-то и ведет возглавляемое ими государство прямым путем к катастрофе, которую они, даже если бы желали, не могли бы предотвратить. В понимании Шоу их личные качества — демагогов, актеров на политической сцене, баловней привилегированного воспитания, так до старости не повзрослевших и не возвысившихся до государственного мышления, — совершенно соответствуют выдвинувшей их негодной и лживой общественной системе.

Весь механизм современной демократии подвергается у Шоу убийственной критике: парламент в руках ловких политиков превращается в средство не делать ровно ничего: всякий, кто хочет прийти к власти, должен прежде всего отказаться от принципов и мириться с тем, что станет во главе «шайки, где социалисты смешаются с несоциалистами, джингоисты и империалисты со сторонниками Англии без колоний, железобетонные материалисты с восторженными квакерами… синдикалисты с бюрократами, где, короче говоря, люди будут свирепо и неисправимо расходиться во всех принципах, определяющих общество и судьбы человеческие».

В качестве противодействия братья Барнабас могут предложить только один рецепт: продлить жизнь жалким существам, которые умирают как раз в тот момент, когда они только начинают кое-что смыслить. Для того, чтобы справиться с угрозой войны — «с предшествующими ей гигантскими вооружениями и жуткими орудиями уничтожения, с сопутствующей ей системой принуждения и неодолимой силой полиции», для того чтобы предотвратить нищету и голодную смерть несметного множества детей, — для этого нужна мудрость, недоступная нынешнему человеку.

Доказательство правоты биологических прогнозов братьев Барнабас мы находим в III части — «Свершилось!», где действие отнесено на 250 лет вперед, к 2170 г. Такая временная дистанция нужна для того, чтобы показать, как мало в пределах существующего биологического вида разрешимы стоящие перед человеком социальные проблемы. Хотя, по-видимому (Шоу воздерживается от уточнений и конкретизации), новое общество основано на социалистических началах, в нем господствуют те же безответственные и беззастенчивые политики. Мнимая антитеза Берджа и Лубина здесь привела к комическому сочетанию: премьер-министр 2170 г. носит двойную фамилию Бердж-Лубин, подчеркивающую отсутствие принципиального разногласия между политическими деятелями, казалось бы, противоположной ориентации.

Циничное равнодушие британских политиков к судьбам отечества зашло так далеко, что они передали бразды правления иностранцам, неграм и китайцам. Парламент по-прежнему пополняется хорошими ораторами, «недостаточно безумными для какой бы то ни было деятельности, кроме парламентской». Зато появились первые долгожители из числа наименее, казалось бы, интересных персонажей II части. Прожитые ими столетия расширили их опыт, углубили знания, придали мудрость и значительность их словам. Ненависть и страх, которые они внушают окружающим, приводят их к решению удалиться от света и положить начало племени долгожителей; новые люди будут неспособны питать столь слепые и злобные чувства. Эта часть связана с общим замыслом очень формально и существует только для того, чтобы подготовить великое чудо IV части («Трагедия пожилого джентльмена»), где долгожителей, как показывает Шоу, стало уже так много, что они ведут обособленное существование и оторваны от людей, обреченных на жалкие три четверти века.

Хотя действие происходит в 3000 г., через 800 лет, все политические злоупотребления и несовершенства, свойственные миру «краткожителей», цветут ярким цветом. Обман, фарисейство, пошлый снобизм, напыщенная фразеология, прикрывающая уродливо разросшееся корыстолюбие, — все осталось прежним. Отдаленный потомок Каина — Каин Адамсон Карл Наполеон, император Турании, — олицетворяет бедствия и преступления войны, которая так же обрекает миллионы на страх и смерть, как тысячу лет назад; наследник политического авантюризма Лубина и Берджа, посланник из Багдада, так же лжив, угодлив, низок и ограничен, как его предшественники. Шоу считает важным довести до сознания своих читателей, с какой неизбежностью и спустя две тысячи лет повторяются у людей, не поддавшихся биологическому «скачку», старые безумства и старые заблуждения. Напротив, долгожители ведут осмысленное и рациональное существование. Материальные основы его не ясны, но Шоу позволяет уловить очень высокую степень развития техники и человеческих отношений.

Немногие комические эпизоды пьесы обусловлены полным отсутствием взаимопонимания между теми, кто осужден на разные сроки жизни. Долгожители лишены юмора, не видят никакого смысла в метафорах, не знают толка в поэзии, традиции, в оттенках чувств и переживаний; они деловиты, практичны, уверены в себе и в непоколебимой разумности своего мира. «Краткожители» между тем суетны, тщеславны, склонны к фразе и всяческой пышности словоупотребления. Смехотворные недоразумения между ними говорят о полной разобщенности их внутренних миров. Долгожители у Шоу занимают по отношению к своим менее удачливым современникам позицию двусмысленную: устраивая для людей старого типа великолепные, поражающие ужасом зрелища, чтобы внушить им доверие к своим пророчествам, высокоорганизованные новые люди спокойно обдумывают возможность ликвидации «краткожителей».

Безусловные неудачи этой части заключены в ее непомерных длиннотах и в удивительной непривлекательности и бесчеловечности созданных драматургом образов долгожителей. В число приписанных им совершенств Шоу «забыл» включить гуманность, терпимость, снисхождение к ближним. Они невозмутимо обсуждают убийство неудачных экземпляров из себе подобных и с плохо скрываемым отвращением общаются с пришельцами из старого мира. Когда пожилой джентльмен умирает под безжалостным взглядом оракула — умирает потому, что не хочет и не может больше вернуться к своим и жить ложью, которой они опутаны, — читателю остается неясным, какие духовные ценности долгожителей вызвали восхищение гостя.

Недоумение не только не рассеивается, но и углубляется в последней части пенталогии, озаглавленной «За пределами, доступными мысли». Забавна истинно свифтовская точность, которой обозначено время действия: 31920 год! Долгожители уже давно завладели всей планетой; жизнью правит наука, не допускающая такого варварства, как деторождение; новое потомство появляется на свет уже взрослым и проводит четыре безоблачно бездумных года в любовных и музыкальных играх, танцах и увеселениях, пока не наступает пора зрелости и возрастающего интеллектуализма. Эмоции вытесняются, чувственность преодолевается, «древние» предаются высоким радостям чистой мысли и мечтают об освобождении от бренной оболочки и слиянии с бесплотным миром разума.

Таким образом, идеалом оказывается отвлечение от всякой субстанции, отождествление личности с раскрепощенным от материи духом, то есть фактически переход человека в нечеловеческое состояние и тем самым отрешение от обычного земного счастья; вместе с тем в конкретном художественном воплощении «древние» настолько отталкивают своим внешним безобразием и холодной умственностью, не допускающей ни одного естественного, спонтанного движения души, что они воспринимаются скорее как предупреждение, чем вожделенная цель не то длительной эволюции, не то мгновенного «скачка». Хотел Шоу того или не хотел, но у его «древних» есть заметное семейное сходство со свифтовскими струльдбругами, хотя Шоу, в отличие от своего предшественника, награждает их ясным и не затемненным годами умом, устремленным к познанию бесконечности.

В отождествлении совершенства с отрешенностью от земного, в нетерпеливом ожидании того счастливого дня, когда «людей не будет и будет только мысль» и тем самым «жизнь вечная», Шоу, вольно или невольно, отвергает не только социального человека, но и человека как известную нам биологическую особь. Если идеал Шоу оказывается настолько удаленным от реальных возможностей человеческой природы, если он означает разрыв с реально воображаемыми формами ее существования, то вполне очевидно, будущее связывается для писателя с появлением породы людей настолько новых, что их соблазнительно назвать антилюдьми.

Эти «антилюди» (в пьесе они «древние») и представляются самой большой неудачей пенталогии. Хотя она одушевлена верой в возможность возрождения, в создание нового и подлинно высокого строя жизни, однако этот строй и те, кто представляет его, настолько отрицают самую сущность человеческую, какой воспринимается она нашим сознанием, что нельзя не увидеть в ней полного неприятия того биологического вида, который мы привыкли называть Homo sapiens. Остается только утешаться тем, что Шоу уповает на безграничные силы духа, мысли, на энергию вечного стремления и неудовлетворенности, которым, по законам чистого идеализма, суждено породить новую материальную действительность «В конце концов воображение само создает реальность»[29].

Мир, встающий на страницах пьесы Шоу, свободен от проклятия войны и угнетения человека человеком, но он удивительно безрадостен и механически регламентирован. Вслед за Платоном Шоу изгоняет из него поэтов и творцов; в 31920 г. они, правда, еще существуют, но играют жалкую роль. Музыка звучит только как аккомпанемент юношеских игр будущих долгожителей, скульптура нужна для изготовления красивых игрушек («кукол»), а попытки мастера запечатлеть уродливые черты мыслящих «древних» вызывают отвращение молодых.

По правильному замечанию Кромптона, изображение прекрасных безмозглых существ в изысканных одеждах, которые на фоне стилизованного античного пейзажа предаются пению и пляскам, пародирует романтический эллинизм, модный в английской литературе XIX в.[30] Эстетские тенденции этой литературы, искусство, посвященное красоте и стремящееся к восполнению утраченной красоты жизни, осмеиваются Шоу. «Ради искусства для искусства я не написал бы ни единой строчки», — вызывающе заявлял он еще в 1903 г.[31]

В «Мафусаиле» преклоняющаяся перед прекрасным Экрасия — фигура безусловно комическая: Шоу потешается над нею за то, что она с глубокой серьезностью относится к картинам, статуям, театру с его «преображенными куклами», за то, что объявляет их священными, а слова, вложенные в их уста, самыми высокими и благородными. В ответ на ее декламацию о счастье, недоступном жизни и обретаемом в искусстве, в его волшебных тайнах, «древняя» отвечает: «Да, дитя, искусство есть волшебное зеркало… Но мы, те, что старше, не пользуемся ни зеркалами, ни творениями искусства. У нас непосредственное ощущение жизни. Когда вы овладеете им, вы отбросите свои статуи, игрушки и куклы». С точки зрения Шоу, искусство может быть потребностью испорченного, безнравственного или обездоленного общества, но оно вредно или в лучшем случае бесполезно для общества будущего совершенства.

«Назад к Мафусаилу» начинается во времена седой древности и устремляется в невидимую даль веков. Кольцо сюжета замыкается, словно кольца змеи, поучения которой открывают историю первых людей. В эпилоге они вновь возникают, и итоги подводит праматерь Адама и Евы — Лилит. Ее монолог представляет собой один из самых блестящих образцов публицистического дара Шоу: в нем концентрированы и философски обобщены все мотивы пьесы в целом.

Лилит выносит окончательный приговор XX в. и предсказывает грядущую победу света над мраком. Она говорит о «младенцах, которые мнят себя древними» и которые покончили с общественным злом, и в заключение называет главный двигатель и залог непрерывного обновления: это неудовлетворенность, ибо она толкает древних к освобождению от плоти, к водовороту, очищенному от материи, к «вихрю чистого интеллекта». Формулируется и главная опасность, подстерегающая обитателей земли: это стагнация, омертвение. Только неподвижность страшна и непоправима, только власть материи над душой гибельна.

Как бы смутны ни были пути будущего, — а Шоу не мог не сознавать, что его утопия страдает неясностью и неопределенностью, — самым главным ему представляется вечное движение к далекой цели, к туманным и вечно удаляющимся очертаниям того, что пребывает по ту сторону доступного воображению — beyond (за пределами).

Этим словом в оригинале завершается пенталогия.

Подведем итоги. Нет сомнения, что «Назад к Мафусаилу» отражает судорожные искания Шоу в переломный, кризисный период его длительного, никогда не останавливавшегося духовного развития. Отражает пьеса горькие размышления стареющего драматурга об участи и природе человека, осуждение не только нынешнего состояния его, но и предвидимых в ближайшем будущем видоизменений. Шоу приходит к печальному выводу, что все задачи человечества могут быть решены и все противоречия, его раздирающие, устранены, только если человек превратится в призрак самого себя, в чистую мысль. «Рано или поздно тело всегда становится обузой, — говорит скульптор Марцелл, — ничто не пребывает в красоте и значительности, кроме мысли, ибо мысль есть жизнь».

Таким образом, приобщение к царству разума невозможно, пока человек не обратился в чистый разум, то есть в нечто уже не человеческое. Отвлеченность мысли драматурга уничтожает самое плоть искусства. Совершается это с завидной последовательностью: повторно и четко сформулированное теоретическое осуждение «игры в куклы» сопровождается и практическим ее устранением: Шоу доводит свою драму до той грани, когда она как факт искусства едва ли не перестает существовать. Если древний мудрец, рупор автора, презрительно называет театр сборищем переодетых кукол, то отсюда уже совсем недалеко до пуританской злобы против всякого театрального зрелища и требования разрушить его живое грешное очарование.

За свою иконоборческую расправу с театром Шоу заплатил дорого: его пенталогия оказалась самым непопулярным его произведением, хотя он считал ее значительнейшим из всего им написанного. Пенталогию почти не ставили: впервые она шла в 1922 г. в Нью-Йорке на сцене театра «Гилд», где зрителям приходилось посещать три вечерних и два утренних представления; затем в октябре 1923 г. ее показал Бирмингамский репертуарный театр, причем постановкой вместе с Барри Джексоном руководил сам Шоу. Здесь спектакль игрался пять вечеров кряду и выдержал лишь четыре представления. В феврале 1924 г. спектакль Бирмингамского театра был показан в Лондоне — премьера состоялась на сцене театра «Корт».[32] Эти спектакли пользовались известным, хотя и не кассовым успехом, но успех этот был скорее данью восхищения гражданскому мужеству автора, чем восторгом благодарных зрителей. Что же касается критиков, то они писали в основном о предельной несценичности пьесы и осуждали драматурга за грубые личные выпады против английских политических деятелей.[33] В дальнейшем пьесу решились исполнить лишь однажды, на Малвернском фестивале 1929 г.: технические трудности казались чрезмерными и преодоление их сулило слишком мало радостей.

Нет ничего легче, чем критиковать «Мафусаила». Недостатки его очевидны, нарочиты, возведены в принцип и даже в программу. Пьеса немилосердно растянута, перегружена длинными, явно несценическими философскими монологами, лишена действия и драматизма. Она страдает абстрактностью и холодно отстраняет все, что может вызвать у публики сопереживание, ощущение соучастия и вовлеченности. Драматургу, который убеждает зрителей, что они даже не приблизились к человеческому облику, что они в лучшем случае стоят на уровне отвратительных кукол-автоматов, вызванных к жизни союзом науки и искусства и тут же по общему приговору уничтоженных при температуре миллион градусов, — трудно рассчитывать на благодарность и популярность.

Шоу не раз признавался, что любую, самую неприятную правду он говорит в шутку, — поэтому ему все сходит с рук. Этому правилу он хочет следовать в «Мафусаиле» и, развивая старую мысль, замечает: «Если что-то тебе смешно, ищи в нем скрытую истину». Но, по точному слову Ирвина, Шоу был слишком рассержен для того, чтобы шутить весело и остроумно[34]. Отдельные смешные словечки, реплики, даже сценки не спасают положения. Не спасают его и мелкие удачи, вроде забавного упоминания ученого джентльмена 3000 г. об «отце исторической науки Фукидиродоте Маколебокле», хорошо передающего, как сливаются в памяти потомков даже великие и крайне несхожие имена прошлых веков. Не помогают и полные злой иронии выпады китайского бюрократа Конфуция против английской политической системы. Крупицы прежнего остроумия тонут в океане слов и теоретических выкладок.

Тем не менее, оценивая пенталогию, надо помнить, что к ней не приложимы обычные мерки и критерии, ибо ставит она не обычные, а сверхобычные цели: найти путеводную нить смысла в мировой бессмыслице, дать общий взгляд на историю вселенной и перспективы ее эволюции, указать на заложенные в мироздании силы творческой энергии, которым суждено раскрепостить человека.

И если не удовлетворяют обрисованные в пенталогии Шоу пути мирового развития, то надежду внушает самая бесконечность открываемой им перспективы, ее противостояние безотрадным социальным предсказаниям и антиутопиям, а также концепциям «вечного круговорота» в истории, утомительно повторяющей одни и те же безумства и ошибки.

Подсказанные мужеством отчаяния драматургические эксперименты Шоу выразили в крайне острой гипертрофированной форме одну из господствующих тенденций литературы XX в. — стремление к интеллектуализму и неустанным поискам.

1. Мафусаил — согласно Ветхому завету, один из патриархов — правнук Адама, внук Каина, сын Еноха. Правнук Мафусаила — Ной. Имя Мафусаила стало нарицательным для обозначения долгожителя: «Всех же дней Мафусаила было девятьсот шестьдесят девять лет», — Бытие, 5, 27.

2. Буффон — неправильное написание и произношение фамилии Бюффон и в то же время игра на созвучии ее со словом буффон — шут. Бюффон, Жорж Луи Леклерк (1707 – 1788) — французский естествоиспытатель. Основной труд — «Естественная история» в 36 томах (1749 – 1788), в котором Бюффон описал множество животных и высказал идею о единстве растительного и животного мира. Отстаивал концепцию изменяемости видов под влиянием условий внешней среды (климата, питания и т. п.).

3. «Человек и сверхчеловек» — пьеса Б. Шоу (1901 – 1903). Шоу намекает на элемент буффонады в этой пьесе.

4. Закон об образовании — имеется в виду так называемый закон Форстера (по имени члена парламента У. Форстера) — закон, принятый в 1870 г. и положивший начало государственной системе обязательного обучения детей от 5 до 12 лет в общеобразовательной школе.

5. Эзоп (VI в. до н. э.) — легендарный древнегреческий баснописец.

6. Дарвин, Чарлз Роберт (1809 – 1882) — английский естествоиспытатель, основоположник эволюционного учения. В своем фундаментальном труде «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятствующих пород в борьбе за жизнь» (1859) вскрыл движущие силы развития и становления биологических видов. По Дарвину, эволюция живых организмов осуществляется в результате сложного и длительного взаимодействия трех главных факторов изменчивости, наследственности и естественного отбора.

7. Неодарвинисты — последователи эволюционной концепции, выдвинутой в 80 – 90-х гг. XIX в. немецким зоологом Августом Вейсманом (1834 – 1914). Неодарвинисты, развивая теорию эволюции, защищали гипотезу о зачатковом отборе, подчеркивали роль хромосом («зародышевой плазмы») в наследственности и отрицали наследование приобретенных признаков.

8. Аллен, Грант (1848 – 1899) — английский философ, психолог и писатель.

9. …Галилеево доказательство оброненного Леонардо да Винчи замечания… — Галилей, Галилео (1564 – 1642) — итальянский ученый, один из основателей точного естествознания. Обвиненный судом инквизиции в ереси, был вынужден отречься от учения Николая Коперника, утверждавшего гелиоцентрическую систему мира. Леонардо да Винчи (1452 – 1519) — итальянский художник, архитектор, ученый. Один из наиболее широко одаренных деятелей эпохи Возрождения. Проводил экспериментальные исследования в области математики, естественных наук и механики.

10. Ньютоновский закон всемирного тяготения… — Ньютон, Исаак (1643 – 1727) — английский математик, механик и астроном, основоположник классической физики.

11. Дэви, Хамфри (1778 – 1829) — английский химик и физик, один из основателей электрохимии.

12. Ницше, Фридрих (1844 – 1900) — немецкий философ, филолог и писатель. Резкая критика буржуазной мещанской морали сочетается у Ницше с культом «сверхчеловека», прославлением стихийно иррациональной «жизненной мощи» и проповедью «имморализма».

13. Беньян, Джон (1628 – 1688) — английский пуританский проповедник, писатель. В книге «Жизнь и смерть мистера Бэдмена» (1680) сатирически изображен изворотливый и лицемерный стяжатель-буржуа. Наиболее известен аллегорический роман Беньяна «Путь паломника» (1684).

14. Шопенгауэр, Артур (1788 – 1860) — немецкий философ-идеалист. В основной работе Шопенгауэра «Мир как воля и представление» (1819) сущностью мира провозглашается слепая неразумная воля, исключающая закономерность развития природы и общества.

15. Кромвел, Оливер (1599 – 1658) — видный деятель Английской буржуазной революции XVII в., выступавшей под знаменем религиозной идеологии пуританства.

16. Вагнер, Рихард (1813 – 1883) — немецкий композитор, преобразователь оперного искусства, создатель «музыкальной драмы».

17. Уистлер, Джеймс (1834 – 1903) — американский живописец, в творчестве которого заметно влияние французского импрессионизма.

18. Мольер (псевдоним Жана Батиста Поклена; 1622 – 1673) — французский комедиограф, реформатор сценического искусства.

19. Диккенс, Чарлз (1812 – 1870) — английский писатель-романист.

20. Фабианское общество — английская буржуазно-интеллигентская организация, названная по имени Фабия Максима Кунктатора (cunctator — лат. «медлитель»), римского полководца (275 – 203 до н. э.). Пропагандировало идеи постепенного и целенаправленного преобразования капиталистического общества в социалистическое путем реформ. Шоу вступил в Фабианское общество осенью 1884 г.

21. Уэбб, Сидней (1859 – 1947) и Беатриса (1858 – 1943) — супруги с 1892 г., английские экономисты, историки рабочего движения, идеологи тред-юнионизма и так называемого фабианского социализма.

22. Смит, Адам (1723 – 1790) — шотландский экономист и философ, автор книги «Исследования о природе и причинах богатства народов» (1776), представляющей собой значительный вклад в развитие классической политической экономики как науки.

23. Генрих VII (1457 – 1509) — английский король с 1485 г., первый из династии Тюдоров. Вступил на престол, одержав победу над Ричардом III.

24. Ричард III (1452 – 1485) — английский король с 1483 г., последний из династии Йорков, узурпатор престола, отличавшийся жестокостью и коварством.

25. Вольтер (псевдоним Франсуа Мари Аруэ; 1694 – 1778) — французский писатель, философ, историк. Готовился к профессии юриста, окончил иезуитский колледж Людовика Великого.

26. Батлер, Сэмюэл (1835 – 1902) — английский писатель-романист. Сын сельского священника. Учился в Кембридже, однако оставил университет и отказался от духовной карьеры. Отрицательно относился к учению Дарвина, считая его теорию эволюции чрезмерно механистичной.

27. …Байрону и Шелли пришлось бежать в Италию… — Травля со стороны реакционных кругов и ханжески настроенного светского общества заставила великих английских поэтов-романтиков Джорджа Гордона Байрона (1788 – 1824) и Перси Биш Шелли (1792 – 1822) навсегда покинуть родину. Байрон оставил Англию в апреле 1816 г. после тяжелой семейной драмы и жил сначала в Швейцарии, а в октябре 1817 г. уехал в Италию, где провел шесть лет. Шелли подвергся преследованиям за безнравственность после вступления в гражданский брак с Мэри Годвин, поселился в Италии в 1818 г.

28. Каслрей, Роберт Стюарт (1769 – 1822) — министр иностранных дел Великобритании в 1812 – 1822 гг., сторонник реакции, приверженец Священного союза.

29. Элдон, Джон Скотт (1751 – 1832) — английский государственный деятель, лорд-канцлер Великобритании.

30. Руссо, Жан Жак (1712 – 1778) — французский философ, писатель, деятель Просвещения. «Вольнодумство» и неортодоксальность воззрений Руссо навлекали на него гонения со стороны властей и духовенства многих стран Европы.

31. Сохо — район в Лондоне, где в прошлом веке обитала беднейшая часть городского населения, включая иммигрантов.

32. Раскин, Джон (1819 – 1900) — английский писатель, историк, социолог, теоретик искусства.

33. «Изыди от меня, сатана!» — подразумевается евангельский эпизод искушения Иисуса Христа в пустыне: «Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана; ибо написано: „Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи“» — Евангелие от Матфея, 4, 10.

34. Петри, Уильям Мэтью Флиндерс (1853 – 1942) — английский археолог и египтолог.

35. «Будем есть и пить, пока живы» — Ср. Исайя, 22, 13.

36. «Доколе, о Господи, доколе?» — Ср. псалом 81.

37. Вейсман — см. примечание 7.

38. Пятикнижие — первые пять книг Ветхого завета, составляющие его основную часть (в иудаизме так называемая Тора): Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие (IX – VII вв. до н. э.).

39. Ламарк, Жан Батист Пьер Антуан де Моне (1744 – 1829) — французский естествоиспытатель, провозгласивший принцип эволюции всеобщим законом живой природы. Согласно концепции Ламарка, виды животных и растений постоянно изменяются в результате как влияния условий внешней среды, так и некоего внутреннего стремления всех организмов к усовершенствованию.

40. Рекапитуляция (от лат. recapitulatio — повторение) — под этим термином понимается повторение признаков далеких предков в индивидуальном развитии современных организмов.

41. Рафаэль Санти (1483 – 1520) — итальянский живописец и архитектор Высокого Возрождения.

42. Платон (ок. 427 – ок. 347 до н. э.) — древнегреческий философ, основоположник объективного идеализма.

43. Лейбниц, Готфрид Вильгельм (1646 – 1716) — немецкий философ-идеалист, математик, физик.

44. Виктория (1819 – 1901) — королева Великобритании с 1837 г.

45. Карл X (1757 – 1836) — французский король с 1824 г., свергнут Июльской революцией 1830 г.

46. Гете, Иоганн Вольфганг (1749 – 1832) — немецкий поэт и романист, выдающийся представитель Просвещения в Германии, натуралист и мыслитель. В своих работах по естествознанию явился, по словам Фридриха Энгельса, «предтечей новейшей теории развития».

47. Кювье, Жорж (1769 – 1832) — французский зоолог, один из реформаторов сравнительной анатомии, палеонтологии и систематики животных. Не признавал изменяемости видов, выдвинув для объяснения смены ископаемых фаун теорию катастроф.

48. Сент Илэр, Огюст де (1799 – 1853) — французский естествоиспытатель и путешественник.

49. Эдуард VI (1537 – 1553) — английский король с 1547 г., из династии Тюдоров. Ввиду малолетия короля во время его правления у власти стояли регенты.

50. Эдуард VII (1841 – 1910) — английский король с 1901 г.

51. Деизм — философское учение, признающее существование бога в качестве безличной первопричины мира.

52. Агностицизм — философское учение, отрицающее полностью или частично возможность познания мира.

53. Витализм — идеалистическое течение в биологии, объясняющее жизнедеятельность организмов наличием особых нематериальных факторов, якобы управляющих жизненными процессами.

54. Кенсингтон — фешенебельный район на юго-западе центральной части Лондона.

55. …миссионерскую деятельность господ Муди и Сэнки… — Американский евангелист Дуайт Лиман Муди (1837 – 1899) в сотрудничестве с Айрой Давидом Сэнки (1840 – 1908) выступал с многочисленными проповедями в Англии и США в 1870 – 1880 гг.

56. Брэдло, Чарлз (1833 – 1891) — английский общественный деятель, оратор и публицист. В 1880 г. был избран в парламент, но исключен из числа его членов за отказ принести традиционную присягу, религиозную по форме. Добился восстановления в своих правах только спустя шесть лет, в 1886 г.

57. Секуляризм — движение за освобождение от церковного влияния в общественной и духовной жизни.

58. Магомет (Мухаммед, ок. 570 – 632) — основатель ислама, почитается как пророк.

59. Бромптонская часовня — римско-католическая церковь в итальянском стиле в Лондоне, построена в 1884 г.

60. Пэйли, Уильям (1743 – 1805) — английский философ и богослов, автор книги «Естественная теология, или Свидетельства существования и признаков божества, основанные на явлениях природы» (1802). Рассматривал неизменность природы и человеческого организма как главное доказательство существования бога.

61. Гельмгольц, Герман Людвиг Фердинанд (1821 – 1894) — немецкий ученый, автор фундаментальных трудов по физике, биофизике, физиологии и психологии.

62. Мальтус, Томас Роберт (1766 – 1834) — английский экономист. Сформулировал так называемый «естественный закон народонаселения», согласно которому несоответствие между ростом населения и ростом средств существования обусловлено законами природы.

63. Слово каждодневно облекается плотью… — Ср.: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины». — Евангелие от Иоанна, I, 14.

64. …воспоминания мистера Фестинга Джонса о Сэмюэле Батлере… — Книга Х. Ф. Джонса «Сэмюэл Батлер» в двух томах вышла в Лондоне в 1919 г.

65. Плимутское братство — религиозная секта протестантского тодка, образовалась в английском городе Плимуте около 1830 г.

66. Оселок — шут, персонаж комедии Шекспира «Как вам это понравится» (1599). Приведенные слова Оселка см. акт III, сц. 1.

67. Унитаризм — левое рационалистическое течение в протестантизме, отрицающее вместе с догматом о Троице учение о грехопадении и церковные таинства.

68. Оксфорд-стрит — одна из главных торговых улиц в центре Лондона.

69. Остров Мэн — расположен в Ирландском море, входит в состав Великобритании.

70. Нерон (37 – 68 н. э.) — римский император с 54 г. Отличался изощренной жестокостью.

71. …теологические взгляды Бланко Поснета… — Свою пьесу «Разоблачение Бланко Поснета» (1909) Шоу называл «религиозным трактатом». Экземпляр пьесы Шоу послал Льву Толстому, который в своем ответе упрекал драматурга за «несерьезность» в трактовке религиозных проблем (см. т. 3 наст. издания, с. 644 – 646).

72. Святой Антоний (251 – 356) — основатель христианского монашества, отшельник. Канонизирован католической церковью.

73. Святой Франциск (Франциск Ассизский, 1181 или 1182 – 1226) — итальянский проповедник, основатель ордена францисканцев.

74. Оуэн, Роберт (1771 – 1858) — английский социалист-утопист. Придавал решающее значение влиянию на человека социальной среды; построение «нового нравственного мира» связывал с моральным перевоспитанием, устранением невежества и образованием идеальных промышленных общин, а также опытных коммунистических колоний.

75. …в книге Льюиса «Жизнь Гете»… — Перу английского писателя Джорджа Х. Льюиса (1817 – 1878) принадлежит ряд биографий, среди которых наибольшей популярностью пользовалась «Жизнь Гете» (1855).

76. Итон — одна из девяти привилегированных мужских средних школ, основана в 1440 г.

77. Харроу — одна из девяти привилегированных мужских средних школ, находится в пригороде Лондона. Основана в 1571 г.

78. Питт — очевидно, имеется в виду Уильям Питт Младший (1759 – 1806), премьер-министр Великобритании в 1783 – 1801 гг., лидер так называемых новых тори, проводивший реакционную и экспансионистскую политику.

79. Фокс, Чарлз Джеймс (1749 – 1806) — лидер радикального крыла вигов в английском парламенте, непримиримый противник Питта.

80. Рассел, Джон (1792 – 1878) — премьер-министр Великобритании в 1846 – 1852 и 1865 – 1866 гг., лидер вигов.

81. Керзон, Джордж Натаниэл (1859 – 1925) — министр иностранных дел Великобритании в 1919 – 1924 гг., консерватор, один из организаторов антисоветской интервенции.

82. Черчилль, Уинстон (1874 – 1965) — английский политический деятель, премьер-министр Великобритании в годы второй мировой войны.

83. Сесил, Роберт (1864 – 1958) — английский политический деятель. Поддерживал план интервенции против Советской России, участвовал в создании Лиги Наций.

84. Лайель, Чарлз (1797 – 1875) — английский естествоиспытатель, геолог, автор книги «Принципы геологии» (1833), которая подорвала авторитет библейского учения о происхождении мира.

85. Архиепископ Ашер (Ушер) — ирландский архиепископ, который в 1654 г. на основе изучения Священного писания «установил» дату сотворения мира — 4004 г. до н. э.

86. Laisser-faire (франц. — более обычно laissez faire) — безучастность, равнодушие к окружающему.

87. Бастиа, Фредерик (1801 – 1850) — французский экономист. В своей книге «Экономические гармонии» (1846) выдвинул концепцию примирения интересов труда и капитала.

88. Deus ex machina (лат.) — неожиданная развязка, наступающая по воле внешних сил.

89. Тиндаль, Джон (1820 – 1893) — английский физик, ирландец по происхождению.

90. Блейк, Уильям (1757 – 1827) — английский поэт и художник.

91. Бог поругаем не бывает… — «Не обманывайтесь; Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». — Послание к Галатам, 6, 7.

92. Робеспьер, Максимилиан (1758 – 1794) — деятель Великой французской революции, один из руководителей якобинцев, установивших культ Верховного Существа.

93. …если Бог не существует, его следовало бы выдумать («Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer») — строка из вольтеровского «Послания к автору новой книги о трех самозванцах» (1769), ставшая крылатым выражением. Вольтер писал, что испытывает к этому стиху «отцовскую нежность».

94. «…никнет честь, коль деньги верх берут…» — строка из поэмы английского писателя О. Голдсмита (1728 – 1774) «Путешественник» (1765).

95. Великая хартия вольностей — грамота, подписанная в 1215 г. английским королем Иоанном Безземельным; она ограничивала власть монарха.

96. Петиция о правах — была представлена палатой общин королю Карлу I; программный документ буржуазии во время английской буржуазной революции XVII в.

97. Уолпол, Роберт, граф Орфорд (1676 – 1745) — премьер-министр Великобритании в 1721 – 1742 гг., лидер вигов.

98. Кэмпбл-Боннерман, Генри (1836 – 1908) — премьер-министр Великобритании в 1905 – 1908 гг., лидер либеральной партии.

99. Георг III (1738 – 1820) — третий английский король Ганноверской династии (с 1760 г.).

100. Тимур (Тамерлан, 1336 – 1405) — полководец, завоеватель, создал государство со столицей в Самарканде, эмир с 1370 г. Совершал грабительские походы в Индию, Закавказье, страны Малой Азии и др.

101. «Ad majorem Dei gloriam» — девиз Ордена иезуитов, основанного в 1560 г.

102. Мысль, впервые высказанная Миллями… — Милль, Джон Стюарт (1806 – 1873) — английский философ, экономист и публицист. Его отец Джеймс Милль (1773 – 1836) — английский философ, историк и экономист.

103. Христос партеногенетически произведен на свет девственницей… — Партеногенез (биол.) — вид полового размножения, при котором женская половая клетка развивается без оплодотворения.

104. Парс — член религиозной общины зороастрийцев (огнепоклонников) в Западной Индии.

105. …позор, возглашаемый петухами со всех сторон христианского мира… — Ср.: «И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. И, вышед вон, плакал горько». — Евангелие от Матфея, 26, 75.

106. …хроники о царе Давиде. — Имеются в виду Книги царств — раздел Библии, повествующий о правлении создателей израильского царства, одним из которых являлся Давид (1012 – 972 до н. э.).

107. Афанасий Александрийский (ок. 295 – 373) — церковный деятель и богослов.

108. Агиология — свод знаний о жизнеописаниях святых.

109. Архимед (ок. 287 – 212 до н. э.) — древнегреческий ученый — математик и механик.

110. Дженнер, Эдуард (1749 – 1823) — английский врач, впервые ввел оспопрививание.

111. Сократ (ок. 469 – 399 до н. э.) — древнегреческий философ. В юности отбывал воинскую повинность в качестве гоплита (тяжеловооруженного пехотинца).

112. Колридж, Сэмюэл Тейлор (1772 – 1834) — английский поэт-романтик, критик. Будучи студентом Кембриджского университета, завербовался рядовым в драгунский кавалерийский полк, откуда был выкуплен старшим братом.

113. Милль, Джон Стюарт — см. примечание 102.

114. Джотто ди Бондоне (1266 или 1267 – 1337) — итальянский живописец.

115. Карпаччо, Витторе (ок. 1455 – ок. 1526) — итальянский живописец.

116. Хилтон, Уильям (1786 – 1839) — английский художник.

117. Хейдон, Бенджамин Роберт (1786 – 1846) — английский художник, тяготевший к монументальности. Писал картины на исторические и мифологические сюжеты.

118. Лессировка — тонкие прозрачные слои красок, наносимые на просохший слой масляной живописи для обогащения колорита.

119.

Ужели слава всех побед, триумфов

Здесь уместилась? —

Шекспир, «Юлий Цезарь» (акт III, сц. 1), пер. Мих. Зенкевича.

120. Уайлд, Оскар (1854 – 1900) — английский писатель, автор комедий «Веер леди Уиндермир» (1892), «Идеальный муж» (1895), «Как важно быть серьезным» (1895) и др.

121. Джонсон, Сэмюэл (1709 – 1784) — английский писатель и лексикограф. Цитируемые слова приводятся в биографической книге Джеймса Босуэла «Жизнь Сэмюэла Джонсона» (1791) — запись 1783 г.

122. Холиншед, Рафаэль (ум. 1580) — один из авторов «Хроник Англии, Шотландии и Ирландии», известных как «Хроники».

123. Плутарх (ок. 45 — ок. 127) — древнегреческий писатель и историк. Из «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха Шекспир заимствовал сюжеты трагедий «Кориолан», «Юлий Цезарь», «Антоний и Клеопатра».

124. …монолог о Семи Возрастах человека или монолог о Самоубийстве… — Имеются в виду монолог Жака в комедии «Как вам это понравится» (акт II, сц. 7) и монолог Гамлета «Быть или не быть» в трагедии «Гамлет» (акт III, сц. 1).

125. Микеланджело Буонарроти (1475 – 1564) — итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт эпохи Возрождения.

126. Бетховен, Людвиг ван (1770 – 1827) — немецкий композитор.

127. …афинские трагические поэты… — Имеются в виду три великих драматурга Древней Греции — Эсхил (ок. 525 – 456 до н. э.), Софокл (ок. 496 – 406 до н. э.) и Еврипид (ок. 480 — 406 до н. э.).

128. «Как мухам дети в шутку…» — Шекспир, «Король Лир» (акт IV, сц. 1), пер. Б. Пастернака.

129. Конгрив, Уильям (1670 – 1729) — английский драматург, автор блестящих, остроумных, нередко циничных комедий.

130. Шеридан, Ричард Бринсли (1751 – 1816) — английский драматург, автор комедии «Школа злословия» (1780).

131. Стриндберг, Август Юхан (1849 – 1912) — шведский драматург, оказавший заметное влияние на европейский театр.

132. Эвмениды (Эриннии) — в греческой мифологии богини мщения, хранительницы связей материнского рода, неотступно преследующие преступника и доводящие его до безумия (см. трилогию Эсхила «Орестея», 456 до н. э.).

133. «Кесарь и галилеянин» — пьеса Генрика Ибсена на сюжет из римской истории об Юлиане Отступнике (1873).

134. Юм, Давид (1711 – 1776) — английский философ, психолог, историк. Основной труд — «Исследования о человеческом разуме» (1748).

135. …в 1901 году я обратился к легенде о Дон Жуане… — Шоу говорит о своей пьесе «Человек и сверхчеловек» (1901 – 1903), которую сам называл «комедией с философией».

136. …вопиет от земли… — Ср.: «Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли». — Бытие, 4, 10.

137. Все четыре реки красны от крови. — Согласно Библии, по саду Эдема протекала река, которая за пределами рая разделялась на четыре главные реки мира — Фисон, Тихон, Хиддекель (древнее название реки Тигр) и Евфрат.

138. Голос думал, что я всего лишь сторож брату моему. — На вопрос бога: «Где Авель, брат твой?» — Каин отвечал: «Разве я сторож брату моему?» — Бытие, 4, 9.

139. Каинова печать. — По Библии, бог после убийства Авеля сделал Каину «знамение», отметив его печатью как первого убийцу на земле. — Бытие, 4, 15.

140. «Где был дворянин, когда Ева пряла и Адам пахал?» —

When Adam delv'd, and Eve span,

Who was then the gentleman? —

двустишие, приписываемое английскому народному проповеднику Джону Боллу (казнен в 1381 г.), одному из вождей крестьянского восстания, возглавленного Уотом Тайлером.

141. «Человек жив не хлебом единым». — Второзаконие, 8, 3.

142. Первые послевоенные годы — то есть после первой мировой войны 1914 – 1918 гг.

143. Хемстед Хис — лесопарк на северной окраине Лондона.

144. Чипендейловские стулья — мебель в стиле рококо с обилием тонкой резьбы, по имени известного английского краснодеревщика Томаса Чипендейла (1718 – 1779).

145. …ходить пред Богом, как Енох… — «И ходил Енох пред Богом». — Бытие, 5, 22.

146. Гоццоли, Беноццо (1420 – 1497) — флорентийский живописец, представитель раннего Возрождения.

147. Джойс Бердж. — Под этим именем Шоу изображает в карикатурном виде одного из лидеров либеральной партии Дэвида Ллойд Джорджа (1869 – 1945), который в 1916 – 1922 гг. являлся премьером коалиционного (в союзе с консерваторами) кабинета министров.

148. …нет пророка в своем семействе… — ироническая парафраза Нового завета: «Ибо Сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве». — Евангелие от Иоанна, 4, 44.

149. Мидлсборо — город в Великобритании, в устье реки Тис (графство Йоркшир).

150. «Когда-нибудь растают, словно дым…» — Шекспир, «Буря» (акт IV, сц. 1), пер. Мих. Донского.

151. Стрэнд — одна из фешенебельных улиц в центре Лондона, на которой расположены многие театры и магазины.

152. Я хочу возделывать свой сад… — ставшие крылатыми слова из философской повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759): «Надо возделывать свой сад» (гл. 30).

153. Лорд Данрин (ниже он назван Мими) — предположительно Эндру Бонар Лоу (1858 – 1923), лидер консерваторов в 1911 – 1922 гг., в конце 1922 и начале 1923 г. премьер-министр, преемник Ллойд Джорджа на этом посту.

154. Гунны — кочевой народ, сложившийся в Приуралье и возглавивший захватническое нашествие азиатских племен на Европу в IV – V вв. н. э. Во время первой мировой войны оскорбительное прозвище гуннов английская националистическая пропаганда давала немцам.

155. С 1885 г. они ничего не забыли и ничему не научились… — В 1885 г. консерваторы вынудили уйти в отставку второй кабинет лидера либеральной партии У. Гладстона (1809 – 1898). В том же году английские войска потерпели тяжелое поражение в Восточном Судане, где был убит генерал Гордон.

156. Плимутские братья, «огненные столпы» — пуританские нонконформистские (т. е. отвергающие государственную англиканскую церковь с ее обрядностью и епископством) секты.

157. Котерия (франц. coterie) — узкий круг людей, объединенных общими склонностями.

158. Лубин — очевидно, под этим именем Шоу изобразил в карикатурном виде лидера либеральной партии премьер-министра Великобритании в 1908 – 1916 гг. Герберта Генри Асквита (1852 – 1928).

159. Мэншен Хаус — официальная резиденция лондонского лорд-мэра.

160. …сотой годовщины мира с Америкой… — Имеется в виду Гентский договор от 24 декабря 1814 г., положивший конец англо-американской войне 1812 – 1814 гг.

161. …митинг по венесуэльскому вопросу… — В 1902 – 1903 гг. имел место международный конфликт, известный под названием венесуэльского кризиса. Англия, Германия, Италия и США потребовали от Венесуэлы уплаты долгов и возмещения ущерба, причиненного иностранцам в ходе гражданской войны в Венесуэле в 1899 – 1902 гг. После отказа правительства выполнить эти требования Германия и Англия объявили Венесуэле морскую блокаду, однако встретили резкое противодействие со стороны США, которые усмотрели во вмешательстве европейцев нарушение доктрины Монро.

162. Шодди (англ. shoddy) — дешевая подделка; дешевка с претензией.

163. …танцы в тунике… — танец, введенный американской танцовщицей Айседорой Дункан (1878 – 1927). Отрицая условности классического балета, Дункан использовала древнегреческую пластику, выступала на сцене в хитоне и без обуви.

164. Тридцать девять статей — свод догматов англиканской церкви, составленный в 1571 г. по указанию Елизаветы I.

165. Квинт Гораций Флакк (65 – 8 до н. э.) — древнеримский поэт.

166. Морли, Джон (1838 – 1923) — английский историк, публицист и политический деятель.

167. Чеширский кот — персонаж книги Льюиса Кэррола «Алиса в стране чудес» (1865): Кот исчезал постепенно, «начиная с хвоста», последней исчезала его улыбка.

168. Константин I Великий (ок. 285 – 337) — римский император. Всемерно поддерживал христианскую церковь.

169. Безденежье и прохудившиеся подметки — это атрибуты младших сыновей. — В соответствии с принятой в Англии системой майората (передача собственности, особенно недвижимой, по наследству старшему из сыновей), младшим сыновьям приходилось самим заботиться о карьере.

170. Голландцы его не выдадут… — Вильгельм II Гогенцоллерн (1859 – 1941), германский император в 1888 – 1918 гг.; после ноябрьской революции 1918 г. бежал в Нидерланды.

171. Чемберлен, Джозеф (1836 – 1914) — английский политический деятель, сначала либерал, затем консерватор. Министр колоний Великобритании в 1895 – 1903 гг., идеолог и вождь британской колониальной экспансии.

172. Мечников, Илья Ильич (1845 – 1916) — русский биолог и патолог, один из основоположников эволюционной эмбриологии. Выдвинул теорию преждевременного старения человеческого организма, согласно которой укорочение продолжительности жизни обусловлено вредным действием бактерий в толстой кишке.

173. «Его есть сила и слава во веки веков» — слегка измененные слова христианской молитвы «Отче наш». — Евангелие от Матфея, 6, 13.

174. Лестница Иакова. — Библейскому патриарху Иакову привиделась во сне лестница, достигающая верхушки неба, по которой всходили и нисходили ангелы. — Бытие, 28, 11 – 13.

175. Сноуден — самая высокая вершина Уэльса (1085 м).

176. Филогенезис бластодермы (биол.) — историческое развитие зародыша человека как представителя биологического рода в целом, а не как индивидуального организма.

177. Армия спасения — влиятельная филантропическая организация, построенная по военному образцу. Основана в 1865 г.

178. Поправка Каупер-Темпла — Имеется в виду § 14 Закона о начальном образовании 1870 г., согласно которому учитель обязан был осуществлять в школе религиозное воспитание, читая детям Библию, а священнослужитель — преподавать религиозные догматы в часы, свободные от классных занятий.

179. Пилтдаунец — так называемый эоантроп, ископаемый человек, останки которого будто бы были найдены близ города Пилтдауна на юге Англии в 1911 г. Впоследствии оказался подделкой.

180. Оуэнз-колледж — естественно-исторический музей в Лондоне (часть Британского музея), основанный известным зоологом Ричардом Оуэном (1804 – 1892).

181. «Путь паломника» — см. примечание 13.

182. …природа не делает скачков (Natura non facit saltus — лат.) — изречение, обычно приписываемое немецкому философу Готфриду Вильгельму Лейбницу (1646 – 1716) или же шведскому естествоиспытателю Карлу Линнею (1707 – 1778), однако сама мысль восходит еще к Аристотелю (384 – 322 до н. э.).

183. Даунинг-стрит — улица в центральной части Лондона, на которой находится резиденция премьер-министра.

184. Мастодонты — вымершие млекопитающие отряда хоботных, предки слонов.

185. Мегатерии — род ископаемых млекопитающих отряда неполнозубых, гигантские наземные ленивцы.

186. Унция — мера веса, в аптекарской системе равная 31,1 г.; в торговой — 28,35 г.

187. Передняя скамья — места в палате общин английского парламента, справа от спикера — для членов правительства, слева от него — для членов «теневого кабинета» (лидеров оппозиции).

188. О. М. — кавалер ордена «За заслуги» (Order of Merit), учрежденного английским королем Эдуардом VII в 1902 г. Число награжденных, не считая иностранцев, не должно превышать 24 человек.

189. Серпентайн (букв. змеевидное) — узкое искусственное озеро в лондонском Гайд-парке.

190. Монфор, Симон де, граф Лестер (ок. 1208 – 1265) — английский политический деятель, уроженец Франции, возглавлял баронскую оппозицию королю Генриху III. Созвал первый английский парламент. Погиб в сражении с королевскими войсками.

191. Habeas Corpus Act — Закон о неприкосновенности личности, принятый в 1679 г. Наряду с другими актами, составляет основу английской конституционной практики.

192. Звездная палата — высшее судебное учреждение в Англии в 1487 – 1641 гг., выступавшее орудием абсолютизма. Заседало в зале с потолком, украшенным звездами.

193. …не чуждым логике шотландцем… — Имеется в виду казненный по приговору парламента Карл I Стюарт (1600 – 1649), английский король с 1625 г., по происхождению шотландец.

194. Метемпсихоз или метампсихоз (от греч. metempsychosis — переселение душ) — религиозно-мифологическое представление о перевоплощении души после смерти тела в новое тело, в растения, животных и т. д.

195. Собор св. Павла — главный собор англиканской церкви, находится в Лондоне; построен архитектором Кристофером Реном в 1675 – 1710 гг. Место погребения многих великих людей Англии.

196. Беннет, Арнолд (1867 – 1931) — английский писатель. Имеется в виду его роман «Заживо погребенный» (1908).

197. В числе сочинений классика двадцатого столетия Уэллса… — Подразумеваются роман Герберта Джорджа Уэллса (1866 – 1946) «Пища богов» (1904) и его рассказ «Страна слепых».

198. «Альманах старого Мура» — ежегодный астрологический журнал, публикующий предсказания о различных событиях. Издание его по типу календаря начато в 1700 г. английским астрологом Фрэнсисом Муром (1657 – 1715).

199. Я пришел призвать не грешников… — ироническая парафраза слов Иисуса: «Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». — Евангелие от Матфея, 9, 13.

200.

Не презирай меня за черноту:

Ливреей темной я обязан солнцу —

Шекспир, «Венецианский купец» (акт II, сц. 1), пер. Т. Щепкиной-Куперник.

201. Восточный остров — то есть Англия.

202. Бэджер Блубин — комическое обыгрывание фамилий Бэрдж и Лубин. To badger (англ.) — изводить.

203. …они потомки аборигенов здешнего побережья, называвших себя О'Маллигенами. — О'Маллиген — типичная ирландская фамилия.

204. …напоминает о старинном предании про некоего Иосифа… — Согласно библейскому преданию, Иосиф, сын Иакова, был продан братьями в рабство в Египет. Жена его господина — военачальника Потифара (Пентефрия) безуспешно пыталась соблазнить юношу. — Бытие, 39.

205. Блопс Буби — booby (англ.) — болван, олух.

206. Хенгист Хорза Блубин — Хенгист и Хорза — легендарные предводители датского племени ютов, высадившихся около 449 г. в Британии, что положило начало завоеванию ее англосаксами.

207. «Прах еси, и во прах отыдеши». — Бытие, 3, 19.

208. Бэкон, Роджер (ок. 1214 – 1292) — английский философ и естествоиспытатель, монах-францисканец.

209. …фраза о том, как жутко потрясает естество мечта… —

Так жутко потрясаешь естество

Мечтой, для наших душ недостижимой. —

Шекспир, «Гамлет» (акт I, сц. 4), пер. М. Лозинского.

210. Образы, образы, образы! — ироническая парафраза известного восклицания шекспировского героя «Слова, слова, слова!» — «Гамлет» (акт II, сц. 2), пер. М. Лозинского.

211. Блисеринджем, Тош, Спифкинз — по-английски эти фамилии обозначают: blitherinjam — пустомеля, болтун; tosh — вздор, ерунда; spiffkins (сленг.) — франтик, пижон.

212. Киплинг, Джозеф Редьярд (1865 – 1936) — английский поэт и писатель, прославлявший «цивилизаторскую миссию» белого человека. Здесь Шоу иронизирует над мыслью Киплинга о невозможности сближения Запада и Востока. Эта идея неоднократно подчеркивается в творчестве Киплинга, например в его «Балладе о Востоке и Западе»:

Запад есть Запад, Восток есть Восток,

и с места они не сойдут.

(пер. Е. Полонской).

213. …изречение китайского мудреца Ди Нина — аллюзия на слова Кандида (см. примечание 152.

214. Памятник Фальстафу — подразумевается сэр Джон Фальстаф, действующее лицо в пьесах Шекспира «Генрих IV» (1597 – 1598), «Генрих V» (1598) и «Виндзорские проказницы» (1602) — толстый обжора, бездельник и кутила, известный своей трусостью и бахвальством, но вместе с тем блеском и остротой ума.

215. …война, получившая название войны за прекращение войн — то есть первая мировая война, которую империалистическая пропаганда воюющих сторон лживо изображала последней войной человечества.

216. Салют из ста одного орудия — согласно дипломатическому протоколу, такой салют дается только в честь прибытия главы другого государства.

217. Фукидиродот Маколебокль — ироническая контаминация имен древнегреческих историков Фукидида (ок. 460 – 400 до н. э.) и Геродота (между 490 и 480 — ок. 425 до н. э.), прозванного «отцом истории», а также английских историков Томаса Бабингтона Маколея (1800 – 1859) и Генри Томаса Бокля (1821 – 1862).

218. Град божий — идея теократического государства, «царства божьего на земле», выдвинутая одним из «отцов церкви» Аврелием Августином Блаженным (354 – 430) в его сочинении «О граде божием» (ок. 426).

219. Джонгоббснокс — ироническая контаминация имен английского философа-материалиста Томаса Гоббса (1588 – 1679), который в своем сочинении «Левиафан» (1651) уподоблял государство библейскому морскому чудовищу Левиафану, и Джона Нокса (1505 или ок. 1514 – 1572), шотландского церковного реформатора, сторонника кальвинизма, основателя пресвитерианской церкви в Шотландии.

220. «Вот, Ты дал мне…» — Псалтырь, 38, 6.

221. Пифия? Значит, она — змея? — Непереводимая игра слов. Англ. pythoness (пифия) может быть истолковано и как самка питона (python).

222. Полпинты — 0,28 литра.

223. «Волшебная флейта» (1791) — опера немецкого композитора Вольфганга Амадея Моцарта (1756 – 1791).

224. Восточный ветер — по-английски эти слова созвучны фамилии Истуинд (Eastwind).

225. Это легенда о сверхъестественном существе, которое именовалось архангелом Михаилом… — ироническая контаминация христианского мифа с реальной биографией знаменитого итальянского скульптора Микеланджело Буонарроти, который был назван в честь этого архангела.

226. Он отыскал в самом центре земли храм, сооруженный в честь Медитерранеи… — Центр земли — Рим, где находится Сикстинская капелла, плафон которой украшен фресками Микеланджело на библейские темы. Медитерранея (англ. Mediterranean Sea) — Средиземное море, название которого превращается у Шоу в имя богини.

227. Пиг — фамильярное сокращение имени Пигмалион (Pygmalion): Pyg созвучно английскому слову pig (поросенок).

228. …«вдохнул в лице его дыхание жизни»… — Бытие, 2, 7.

229. …гуляет по саду и учит его возделывать… — пародийно-ироническое смешение мифов и реальных исторических фактов. Сказание об Эдеме контаминируется у Шоу со знаменитой фразой из вольтеровского «Кандида» — «Надо возделывать свой сад» (см. примечание 152), а христианский бог предстает в обличье языческого Юпитера и Вольтера, известного своей непримиримой борьбой против религиозного фанатизма.

230. Я — Озимандия… — цитата из сонета английского поэта-романтика Перси Биш Шелли «Озимандия» (1817), перевод К. Бальмонта.

231. Гомункул (лат. homunculus — человечек) — по представлениям средневековых алхимиков, существо, подобное человеку, которое якобы можно получить искусственным образом (в пробирке).

232. Чем же ты хочешь быть? — Вихрем. — Здесь и далее Шоу излагает идеалистически перетолкованную им натурфилософию французского философа Рене Декарта (1596 – 1650). Декарт обосновал космогоническую теорию, согласно которой основной формой движения космической материи является вихревое движение ее частиц. Вращательное движение вихря материи привело к образованию солнца, звезд и планет.

233. Брось женщин и займись математикой. — Здесь Шоу сливает воедино три «исповеди»: «Исповедь» (ок. 400) Августина Блаженного (см. также примечание 218), «Исповедь англичанина-опиомана» (1822) английского писателя-романтика Томаса де Квинси (1785 – 1859) и «Исповедь» (1766 – 1770) французского писателя-моралиста и философа-просветителя Жан Жака Руссо (1712 – 1778). В части II своей книги Руссо рассказывает о том, как в 1743 г., будучи секретарем французского посла в Венеции, он повздорил со своей любовницей Джульеттой, девицей не слишком строгих нравов, которую попрекнул ее физическим недостатком — сосками разных размеров, — на что она в сердцах ответила: «Zanetto, lascia le donne e studia la matematica» (итал.) — «Дзанетто, брось женщин и займись математикой».

Сноски

1

Мост для ослов (лат.) — то есть нечто достаточно простое, но представляющее затруднение для непосвященных.

2

Существующее положение вещей (лат.).

3

Верую или не верую (лат.).

4

В зените (лат.).

5

К вящей славе божьей (лат.).

6

Обязательны (франц.).

7

Прекрасная дикарка (франц.).

8

Так проходит слава мира сего (лат.).

9

Конец века (франц.).

10

См.: Пирсон Х. Бернард Шоу. М., 1972, с. 341.

11

По свидетельству Л. Кромптона, рукописи пенталогии, хранящиеся в Британском музее, датированы следующим образом: II часть — начата 19 марта 1918 г., закончена 9 апреля 1918 г., III часть — закончена 16 мая 1918 г.; IV часть — начата 21 мая 1918 г., закончена 15 марта 1920 г.; I часть — закончена 14 февраля 1919 г.; V часть — начата 16 марта 1920 г., закончена 27 мая 1920 г. См.: Crompton L. Shaw the dramatist. Univ. of Nebraska Press, 1969, p. 252, n. 2.

12

В наст. издании публикуется в сокращенном виде.

13

Сам Шоу неоднократно сопоставлял «Мафусаила» с «Нибелунгами», считая, что ему приходится преодолевать те же препятствия, что и Вагнеру. См., например, его замечание о том, что, подобно Вагнеру, он во имя своего замысла может «не обращать внимания на то, что зрителю, который не улавливает всего комплекса тем, скучно» (Шоу Дж. Б. Письма. М., 1971, с. 166).

14

Цит. по: Shaw. An autobiography. 1898 – 1950. The playwright years. Selected from his writings by S. Weintraub. N. Y. 1970, p. 138.

15

Цит. по: Crompton L. Op. cit., p. 175.

16

Shaw B. The complete prefaces. London, 1965, p. 846.

17

См.: Crompton L. Op. cit. p. 175.

18

Roppen G. Evolution and poetic belief. Oslo Univ. Press, 1956, p. 363.

19

Шоу Дж. Б. Письма, с. 166.

20

Одним из первых читателей этого предисловия был В. И. Ленин, которому Шоу послал свою пенталогию с почтительной надписью. Многочисленные пометки Ленина на полях рукописи показывают, как живо он оценил обличительный антибуржуазный пафос драматурга и вместе с тем уловил уязвимость его теоретических построений (см.: Иностранная литература, 1957, № 4, с. 27 – 32).

21

Эта идея, вероятно, заимствована из «Грядущего племени людей» Булвера Литтона (1871), где столетние герои пребывают в расцвете сил и здоровья.

22

Идеи Батлера изложены в его нашумевших в свое время трактатах: «Жизнь и привычка» (1878), «Эволюция старая и новая» (1879), «Бессознательная память» (1889), «Удача или умение» (1887).

23

Irvine W. The universe of George Bernard Shaw. N. Y., 1949, p. 313.

24

Shaw B. The perfect Wagnerite. — Цит. по: Roppen G. Op. cit., p. 354.

25

Ромм А. С. Шоу-теоретик. Л., 1972, с. 39.

26

Roppen G. Op. cit., p. 355.

27

Несмотря на свои принципиальные расхождения с Бергсоном по вопросу о соотношении интуиции и разума, Шоу, очевидно, сочувственно отнесся к некоторым идеям, высказанным французским философом в «Творческой эволюции». Во всяком случае, в пенталогии ощутимо воздействие бергсонианской критики дарвинизма, основанной на положении, что «жизнь есть изобретение, подобно сознательной деятельности, что, подобно последней, она есть непрерывное творчество» (Бергсон А. Творческая эволюция. М. – Спб., 1914, с. 21). Ср. также: «Нет сомнения, что жизнь, в своем целом, есть эволюция, т. е. непрестанное преображение […]. Наследственность передает не только признаки; она передает также порыв, в силу которого признаки изменяются, а этот порыв и есть сама жизненность» (там же, с. 207).

28

Цит. по: Crompton L. Op. cit., p. 175.

29

Roppen G. Op. cit., p. 390.

30

Crompton L. Op. cit., p. 186.

31

Shaw B. Epistle dedicatory to «Man and Superman». Complete prefaces, p. 165.

32

Побывавший на премьере английский писатель А. Беннет записал в своем дневнике 19 февраля 1924 г.: «Вчера в театре „Корт“ первый вечер премьеры „Назад к Мафусаилу“. Перед входом — аншлаг. Все очень торжественно, но премьера не совсем обычная. Каменные стены ложи выкрашены в черный цвет. Видны пустая оркестровая яма и нагота Адама и Евы. О подъеме занавеса оповещает что-то вроде звука цимбала. Мне пьеса показалась очень скучной. Я в ней не обнаружил ничего — ни действия, ни характеров, ни пафоса, ни остроумия… Во втором акте заснул; меня разбудили, потому что боялись, что храп услышат на сцене» (Bennett A. The Journals. Selected and edited by Frank Swinnerton. Harmondsworth (Penguin Books), 1971, p. 474).

33

См. полемику по этому поводу: The Times, 1924, 25 Febr., p. 13.

34

Irvine W. Op. cit., p. 310.

\*

Здесь и далее, из-за особенностей формата (невозможно изобразить фигурные скобки, охватывающие несколько строк), одновременно произносимые разными персонажами реплики собраны в одну, отмечены ремаркой «(одновременно)» и отделены друг от друга наклонной чертой. (Прим. верст.)